

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

2009
«Национальный бестселлер»

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



30000010946089



Андрей Геласимов

СТЕПНЫЕ БОГИ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Автор выражает глубокую признательность

Костромитину Ивану Александровичу за его устные воспоминания,
с которых началась работа над этим романом

Павлу Быстрову за его познания и глубочайший интерес
к истории Второй мировой войны

Своей маме Геласимовой Ларисе Ивановне
за ее удивительные устные рассказы

Своему деду Геласимову Антону Афанасьевичу за смешную частушку,
за переход через Хинган в августе 1945-го,
за то, что выжил и победил, и за то,
что много рассказывал внуку

Андрей Геласимов

СТЕПНЫЕ БОГИ

Title : Stepnye bogi

Author: Gelasimov, Andrei.



ЭКСМО

Москва

2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г 31

Оформление серии *А. Саукова*

Иллюстрация на переплете *Ф. Барбышева*

Геласимов А. В.

Г 31 **Степные боги** : роман / Андрей Геласимов. — М. : Эксмо, 2010. — 384 с. — (Лауреаты литературных премий).

ISBN 978-5-699-38718-2

...Забайкалье накануне Хиросимы и Нагасаки. Маленькая деревня, форпост на восточных рубежах России. Десятилетние голодные нахалята играют в войнушку и мечтают стать героями.

Военнопленные японцы добывают руду и умирают без видимых причин. Врач Хиротаро день за днем наблюдает за мутациями степных трав, он один знает тайну этих рудников. Ему никто не верит. Настало время призвать Степных богов, которые видят все и которые древнее войн.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Геласимов А., текст, 2009

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-38718-2

СТЕПНЫЕ БОГИ

ГЛАВА 1

Жаворонки висели над степью так высоко, что им было видно всю Разгуляевку. От края до края — до самых последних огородов. И даже намного дальше. Им было видно, как подъезжает в клубах пыли к деревне почтальон дядя Игнат; и как пацаны цепляются за жердь, которую ему лень снять с телеги, и она торчит сзади, как развернутый танковый ствол, потому что все равно скоро покос, и тогда опять придется ее ставить; и как он сбивает пацанов на дорогу кнутом — иногда метко, иногда не очень. С высоты было видно, как тянутся узкой цепочкой на шахты совсем уже немногочисленные японцы, погибающие здесь в плену с осени тридцать девятого, с Халхин-Гола, но теперь вот расконвоированные — из-за того, что два месяца уже как победа, и еще из-за того что степь, и все равно волки сожрут, если что. С высоты жаворонкам было видно, как дед Артем выезжает на Звездочке с другого конца Разгуляевки, оглядываясь, чтобы никто за ним не увязался, потому что его сильно беспокоит спрятанный в степи спирт, и ночь он почти не спал, все лежал и думал — украдут, заразы, или не найдут?

С высоты было видно, как дед Артем торопил кнутом свою Звездочку, удаляясь в сторону сопек все быстрее и быстрее, а прямо под жаворонками

бабка Дарья бегала по двору за Петькой, расталкивая одуревших от пыльной жары коз, и пыталась достать внука своей толстой палкой.

— Танки маршала Рокоссовского обходят противника с фланга! — кричал Петька, забегая ближе к поленнице и стараясь не оказаться на фронтальном направлении удара.

Прямо перед собой бабка Дарья видела хорошо. Даже почти засыпая в своем углу рядом с печкой, могла так приветить мелькнувшего перед ней Петьку, что перехватывало дыхание. Зависело от того — куда попадет.

Но сбоку обзор у нее был плохой. Дед Артем однажды, выпив весь контрабандный спирт, побежал за ней по огороду, и потом по полю, и потом уже там, где собирают для коз каменную соль, а когда она устала, догнал и врезал ей со словами: «Эх, бля, всю жизнь ты мою заела!» После этого прибежали их сыновья — дядька Витька и дядька Юрка. Сначала они вдвоем дубасили деда Артема, а потом дед Артем с дядькой Юркой бегали за дядькой Витькой, запинаясь об огромные куски соли, стучаясь друг об друга, ругаясь, падая и хохоча. Через полгода дядька Витька и дядька Юрка уехали на фронт, дед Артем стал снова беспрекословно слушаться бабку Дарью, но правый глаз у нее закрылся уже навсегда.

— Артиллерия! — кричал Петька. — Бронейными заряжай!

Подхватывая с земли куски засохших коровьих лепешек, он швырял ими в бабкину сторону, однако старался целиться мимо, чтобы не разозлить ее до конца.

— Иди сюда, паршивец! — кричала бабка Дарья, вращаясь вокруг своей палки, как глобус в разгуля-

евской школе вокруг оси. — Вечером все равно прибежишь — жрать захочешь. Захлестну гаденыша!

— Дед! — вопила она. — Иди, лови своего засранца! Стайку опять не закрыл — козы в огород убежали!

— Он спирт поехал перепрятывать! — кричал ей Петька в ответ. — Батарея! Осколочными по противнику!

Сражение развернулось из-за коз. Петька, как обычно, не запер дверь в сарай на щеколду, и теперь, пробегая мимо этой распахнутой двери, каждый раз пинал ее изо всех сил, чтобы бабке Дарье было еще обидней. Когда на пути у него возникала коза, Петька пинал и козу, а потом летел дальше.

Чувствуя, что бабка Дарья уже устает и скоро прекратит наступление, Петька стал бегать поближе к ней, увертываясь от ударов, притворно охая и прихрамывая, чтобы противник не потерял интерес. Дождавшись, когда бабка клюнула на его приманку и снова бросилась за ним, Петька вскочил на лестницу, растрепанной молнией взлетел на крышу сарая и заорал оттуда что было сил:

— А мне не больно! Курица довольна!

— Чтоб ты сдох, блядский выродок! А ну, слазь оттуда!

— Сама ты! — крикнул Петька и швырнул вниз оставшимся в руке куском коровьей лепешки.

На этот раз он кидал точно. Сухой комок пролетел по короткой дуге и шлепнулся бабке Дарье прямо на голову.

— За нашу советскую Родину!

— Только слезь у меня! Я тебя покормлю!

Она треснула палкой по лестнице, потом еще раз и потом еще.

— Я дома поем! — крикнул Петька. — Меня мамка покормит.

— Она тебя покормит! Сама еще сюда с голоду прибежит.

Петька вскарабкался повыше, уселся верхом на конек и раскинул руки.

— Первая эскадрилья! Бомбометание закончено! Возвращаемся на базу! Поздравляю с выполнением боевого задания!

Бабка Дарья отступила от лестницы, посмотрела на него, подняла с земли небольшой кусок каменной соли, зализанной козами до сверкающей гладкости, неловко замахнулась и бросила его вверх. Камень стукнулся в середину крыши и скатился обратно, треснув бабку Дарью по ноге.

— Слева по курсу — зенитки противника! — крикнул Петька. — Боезапас исчерпан. На вражеский огонь не отвечать!

Бабка зашипела от боли, плюнула на землю и, прихрамывая, пошла в огород — выгонять оттуда жующих картофельную ботву коз.

Петька некоторое время еще смотрел ей вслед, потом заскучал, лизнул тыльную сторону руки, поднял голову к небу. Прямо над ним высоко-высоко трепетали крыльями жаворонки.

«Вот мне бы так, — шурясь от солнца, подумал он. — Когда убьют на войне, стану жаворонком. Обязательно».

* * *

Петька был уверен, что его убьют на войне. Других вариантов собственной смерти он никогда не рассматривал. Как-то раз даже сильно подрался со своим единственным другом Валеркой из-за того,

что тот сказал, будто войн больше не будет. «Как это не будет? — сказал Петька. — А мне тогда что делать?» Но Валерка, сидя на дороге в пыли и размазывая кровь по худым бледным щекам, тихо повторял: «Я-то при чем? У Анны Николаевны спроси. Она говорит, что при коммунизме войн не бывает».

Анна Николаевна уже много лет учила в разгуляевской школе станичных детей всем предметам, подкармливала их и была единственным взрослым, который ни разу не назвал Петьку «блядским выродком». И все-таки даже ее авторитета в этом вопросе для Петьки было недостаточно.

«Война обязательно будет, — сказал он тогда Валерке. — И таких дохлых, как ты, туда не возьмут. Давай поднимайся. Чего сидишь?»

Схватив его за щуплую руку, Петька рывком поднял Валерку с дороги, обхватил за плечи и заорал во все горло: «Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догорала!..»

Так что за себя и за свою смерть Петька был абсолютно спокоен. Кавалерийская атака в разворачивающейся конной лаве или сверкающая пулеметная очередь и брызги стекла в кабине его истребителя — ему было все равно. Главное — успеть набрать скорость и высоту.

Сидя теперь на крыше с трая, он потянул на себя невидимый рычаг и плавно нажал на гашетку.

— Петька! — раздался тихий голос внизу. — А, Петька? Слазь оттуда. Пошли Гитлера искать.

Петька посмотрел вниз и увидел Валерку. Тот грыз морковь — такую же бледную, как он сам.

— Не могу, — сказал Петька. — Я на боевом задании.

Не мог же он признаться дохлому Валерке, что опасается, как бы бабка Дарья не выскочила откуда-нибудь из-за двери. Сверху ему не все было видно. Вдруг она спряталась где-то в снях. Учитывая эффект внезапного нападения, такой ход мог свести на нет все его преимущество в маневренности. Сумели же немцы в сорок первом дойти почти до Москвы. И все потому, что напали без предупреждения. Фашисты — они и есть фашисты.

— Смерть немецким гадам! — крикнул Петька и застрочил во все горло из пулемета.

— Мы еще в овраге рядом с япошками не искали. Вдруг он там прячется? — сказал Валерка.

«Япошками» в Разгуляевке называли вообще всех пленных без разбора. После Халхин-Гола недалеко от деревни обнесли колючей проволокой старый барак, поставили вокруг него вышки и завезли туда несколько недобитых в Монголии самураев. А когда началась война с немцами — лагерь стал увеличиваться. К сорок третьему на угольной шахте вкалывали уже и фрицы, и венгры, но в Разгуляевке их всех по старой памяти продолжали называть «япошки».

— Ты же вчера там с Козырем лазил. И другие еще пацаны.

Петька опустил ствол невидимого пулемета и прицелился в Валерку.

— Я не лазил, — сказал тот и перестал грызть морковь.

— Лазил-лазил. Думаешь, я дурак?

— Я только совсем немного. И меня не Козырь позвал.

— Да хоть бы и Козырь! Плевать я на него хотел!

Чтобы не быть голословным, Петька, цыкнув

слюной, резко сплюнул вниз, и Валерке пришлось немного посторониться.

Среди разгуляевских пацанов Ленька Козырь был сила. Прозвище свое он получил за любовь к игре в карты. И еще за то, что никогда не проигрывал. Если карта ему шла плохая, он просто объявлял козырями другую масть. Ту, которой на руках у него было больше. Возражать никто не пытался.

— Беги к нему, ищи своего Гитлера. По предателям советской Родины! Очередью — огонь!

Петька выстрелил в Валерку целую пулеметную ленту, а тот стоял внизу и, не моргая, смотрел вверх.

— Дуй к своему Леньке! Чего стоишь?

— Я не знаю, где они.

— Дядьку Игната встречают с почты.

— Правда? Ты откуда знаешь? — в глазах у Валерки удивление. — А я их искал-искал. Нигде найти не могу.

— Дурак ты. Они у станции почту ждали с самого утра.

— А ты-то откуда знаешь?

Петька посмотрел на него, усмехнулся, потом задрал голову.

— Видишь, вон там высоко жаворонки?

— Ну?

— От них и узнал. Это моя разведка.

Он выстрелил еще одной короткой очередью в спину убежавшему Валерке и закричал на весь двор:

— Внимание! Внимание! Говорит Германия! Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!

К остальным пацанам ни с Валеркой, ни без него он не ходил. Особенно к Леньке Козырю. Слишком часто пришлось бы драться. Тем более что эти

детские сказки про Гитлера его не волновали. Петька знал, что от наших солдат ни один Гитлер бы не сбежал. Ни с хвостом, ни бесхвостый.

* * *

Скользнув в окошко под самой крышей, Петька оказался в прохладной полутьме сеновала. После яркого солнца он теперь почти ничего не видел. Слышал только, как шуршат под ногами остатки прошлогоднего сена. Впрочем, видеть Петьке было совсем не обязательно. Бабка Дарья не зря бесилась от того, что он не закрывает дверь. На дню он заскакивал в сарай раз двадцать. Из них дверь закрывал раза два.

А кого волнуют ее дурацкие козы?

Так что внутри сарая он ориентировался превосходно. Как настоящий разведчик, изучивший местность по приказу командира полка. Только приказа пока не было. Но будет еще — кто бы сомневался? Фронтная разведка — это не шутки. Это не Гитлера с палками по оврагам искать.

Петька усмехнулся и на ощупь нашел ветхую лещенку, ведущую с сеновала. Надо было успеть, пока бабка Дарья не соберет всех коз в огороде. Если застучает внизу, бой будет коротким. Пленных она не берет.

Спустившись, Петька раскидал в углу лежалое сено и сдвинул доски. Под ними в неглубокой яме, которую он выкопал три дня назад, сидел щенок. Бабка сначала грозилась его захлестнуть, но потом разрешила оставить. «Вырастет, — сказала она, — коз будет от волков охранять».

Волков вокруг Разгуляевки действительно было много. Убежав однажды от Леньки Козыря и его

пацанов, которые гнались за ним через все огороды, Петька простоял потом в степи часа два, потому что боялся повернуться спиной к сидевшему перед ним старому волку. Курил самокрутки, бросал в него табаком — все было бесполезно. Волк поднимался на ноги, как только Петька делал вид, что хочет развернуться и побежать домой. Так и стояли друг против друга, пока совсем не стемнело и не проехали возвращавшиеся с погрузки вагонов бабы. «Перепугался бляденыш, — смеялись они и больно хватали его руками. — Смотрите, девки, тоже скоро мужик будет. Даром что выблядок». Но Петька радовался, что они его спасли, и терпел.

Поэтому бабка Дарья и разрешила оставить щенка. К концу войны волки совсем обнаглели.

Правда, она не знала, что из щенка выйдет плохой пастух. Потому что он тоже был волк. Но Петька об этом рассказывать ей не собирался.

Разгуляевские волки были настолько похожи на обычных собак, что обмануть бабку Дарью было совсем не трудно. Петька наплел ей про мужика, будто бы ехавшего на военной полуторке в райцентр, а в машине у этого самого мужика был щенок, который зассал ему всю кабину. Петька предложил за щенка два куриных яйца, и мужик согласился.

«Мог бы и одним обойтись, — ворчала бабка Дарья. — Сама я, что ли, эти яйца несущ?»

«Он сказал — волкодав будет», — на всякий случай добавил Петька.

«Говнодав он будет», — отрезала бабка Дарья, но щенка разрешила оставить.

«В сарай его посади, — сказала она. — Пусть к козьему запаху привыкает».

С яйцами, кстати, тоже получилось удачно, пото-

му что Петька с голодухи их просто сожрал. А бабка своим яйцам счет знала. Все равно бы пришлось за них отвечать.

Сидя теперь на корточках перед ямой, Петька погладил волчонка по голове, подхватил его на руки и ловко забрался обратно на сеновал. Здесь он был в безопасности. Бабка по лестнице никогда не поднималась.

Волчонка он подобрал недалеко от лагеря военнопленных. Другие пацаны редко ходили туда, потому что родители им запрещали, а у Петьки вместо родителей была бабка Дарья, которая плевать хотела, куда опять исчез этот паразит. Была еще мамка, но в Разгуляевке ее никто в расчет не принимал. В том числе и сам Петька.

Охранники выследили волчицу и бросили ей в логово гранату. Волчицу разорвало на куски, а волчат, как меховые шарики, разбросало вокруг метров на десять. То ли оттого, что они были такие маленькие и круглые, то ли вообще от какой-то особой детской упругости, но все они после взрыва остались в живых и, ударившись об землю, просто отскочили от нее, как мячи, а охранники уже потом ходили и добивали их прикладами винтовок.

Петька пулей помчался на звук взрыва, потому что всегда боялся, как бы настоящая война не началась без него. Он летел от сопок, задыхаясь, запинаясь о куски каменной соли, падая, разбивая в кровь руки, вскакивая с земли и тут же запинаясь опять. В голове у него билось, что это японцы, что Квантунская армия все-таки перешла границу и надо теперь бежать, мчаться туда, где уже начался бой.

Когда он прибежал, в живых оставался только один волчонок. Охранник с густыми усами размах-

нулся своей винтовкой, чтобы прикончить его, но Петька, как молния, еще не успев сообразить — что происходит, бросился на волчонка, закрывая его своим костлявым, трясущимся от страха и быстрого бега телом.

«Не убивайте, дяденька! Не убивайте его!»

«Вот дурной! — отпрянул охранник. — Откуда он взялся?»

«Я спирта вам принесу! У меня дед через границу в Китай ездит! Он бочки там продает! Хорошие бочки!»

Остальные охранники собрались вокруг них и стали закуривать.

«А шо, може, и вправду хлопчик спирта нам принесет? — подумал вслух один из них с украинским акцентом. — А то эти наркомовские сто грамм ну ведь всю душу избередали. И кто только их придумал? Вот поймать бы его да всю жизнь наливать ему ровно по сто грамм, и ни капельки больше».

«Я принесу! Принесу! — заторопился Петька. — Дед скоро опять поедет!»

«Да ты вставай. Чего разлегся?»

Петька поднялся с земли, прижимая к груди волчонка.

«На кой он тебе? — лениво сказал украинец с понами старшины. — Вырастет — всех коз пожрет у вас в Разгуляевке».

«Не пожрет. Я его картошкой кормить буду».

«Картошкой? — протянул охранник с усами и улыбнулся. — Точно, дурной».

Петька почувствовал, что гроза миновала.

«Ну, я пойду?»

«Шагай, — сказал старшина. — Но про спирт не

забуди. Если что, мы сами к тебе в Разгуляевку на-
грянем. Усек?»

«Я понял!» — крикнул Петька уже на бегу.

«Стой!» — закричал усатый охранник.

Петька остановился как вкопанный. Он вдруг услышал сердце волчонка, стучавшее ему прямо в указательный палец.

«Ты Алену, которая у сельсовета живет, знаешь?»

«Знаю. У нее сына Ленькой зовут».

«Во-во, она самая. Ты это, забеги к ней. Скажи, что ефрейтор Соколов просил его навестить. Что-то давно ее у нас не видно».

Он почесал нос, а остальные охранники засмеялись. Петька молча кивнул и сорвался с места.

«Насчет спирта, смотри, не забудь!» — долетело у него из-за спины.

* * *

Разгуляевка получила свое название именно из-за спирта. Местные выменивали его за рекой у китайцев кто на что мог, а потом продавали приезжим. Благо Аргунь в этом месте была неглубокой и к концу лета пересыхала совсем. Те, кто промышлял контрабандой, зимой перебирались на ту сторону по льду, а летом по многочисленным тайным бродам. Народ съезжался сюда со всего Забайкалья. Дешевле и чище спирта, чем в Разгуляевке, было не найти во всей Советской стране.

Однако для Петьки не все было так просто. Дед Артем так искусно укрывал свой драгоценный товар, что Петька, как ни старался, не мог выследить — куда он его увозит. Дед прятал спирт каждый раз в новое место. Чтобы узнать, надо было ехать с ним к контрабандистам, но дед ездил туда

всего три дня назад и теперь раньше чем через месяц в Китай не собирался. Поэтому Петька боялся, что охранники устанут ждать и заявятся в Разгуляевку гораздо раньше. От лагеря на машине было всего десять минут.

Теперь Петька сидел на сеновале, гладил волчонка и думал о том, как бы ему разузнать про этот дурацкий спирт. Устав от размышлений, он начал колупать коросты. На правой коленке была особенно большая — та, которая появилась после того, как он примчался на взрыв. Ковырять ее теперь было одновременно сладко и больно. Точно так же, как издали, из ямы или из-за забора, следить за Ленкой и пацанами, когда они играют в ножички или в «чижа».

Волчонок зашуршал сеном, ткнулся носом в Петькину ногу и начал слизывать выступавшую кровь. Язык у него был мягкий, как влажная теплая тряпка, которой мамка вытирала Петьку, когда он болел. Петька захихикал и оттолкнул волчонка от себя.

— Щекотно, дурак, — сказал он.

Внизу застучали копытами пойманные бабкой козы.

— А ну, пошли, дуры! — сказала она, закрывая дверь на щеколду.

Петька одной рукой зажал морду волчонку, чтобы тот не зевнул, а другой прикрыл себе рот, чтобы не рассмеяться. Он тоже не любил коз.

Бабка Дарья всегда говорила, что коз надо любить и что они, матушки, всю войну нас кормили. Но это не ей, а Петьке приходилось надрываться и таскать из степи огромные куски каменной соли, от которых потом руки разъедало в кровь. К тому

же дурацкие козы слизывали эти валуны так быстро, что Петьке нестерпимо хотелось их всех убить.

Однако последние три дня он лупил коз не только за это. Козам доставалось из-за волчонка. По запаху они, разумеется, знали, что он был никакой не собакой, и поэтому сильно волновались, время от времени начиная метаться по сараю и стучаться головами о стены. Бабка Дарья встревожилась, гадая — почему это козы сходят с ума, и Петька принял решение вызвать огонь противника на себя. Иначе бабка могла догадаться, что со «щенком» не все чисто.

Врываясь в сарайчик, Петька начинал колотить и без того перепуганных коз направо и налево, а бабка Дарья гонялась потом за ним с палкой по всему двору, недоумевая — чего этот паразит вдруг словно с цепи сорвался.

Но зато она не думала на щенка. Ей казалось, что коз надо спасать от «паразита».

— Тихо у меня там! — прикрикнула она теперь со двора, потому что козы, войдя в сарай, тут же сбились в кучу и дружно бросились колотить своими рогатыми башками в дверь.

Петька, уже почти не сдерживаясь, тихо засмеялся и отпустил волчонка, которому все это время закрывал пасть.

Сам он легко переносил, когда его били. Во-первых, не всегда успевали поймать, а во-вторых, он очень быстро научился надувать взрослых. Когда они все-таки до него добирались, Петька так громко орал, охал, стонал и притворялся, что они чаще всего плевались и ограничивались одной-двумя оплеухами. Правда, бабка Дарья иногда могла треснуть так, что на секунду темнело в глазах, но это

удавалось ей не часто. Петька по пальцам мог пересчитать свои поражения. Причем по пальцам одной руки.

Когда козы немного утихли, он улегся на сене, закинул ободранную коленку на другую ногу и стал размышлять о том, почему его вообще бьют. Выходило, что между детьми и взрослыми постоянно шла война. Нормальная война с превосходящим в силах противником. Только диктор дяденька Левитан не говорил красивым голосом в сельсовете из черной тарелки: «От Советского информбюро». И дед Артем потом не бежал в степь проверять — украли у него на радостях спирт или на этот раз хорошо спрятал.

Петька задумчиво лизал палец, легонько касался им саднящей коленки, морщился, еле слышно шипел и вспоминал о том, как дядька Юрка еще перед своим отъездом на фронт смотрел на синяк у него под глазом, смеялся и говорил: «Терпи, паря. Меня, знаешь, как твоя бабка в детстве охаживала? Схватит полено — ба-бах! Кто не спрятался — я не виноват! Первому всегда достается. Витьку вон уже и не трогал почти никто. А мамку твою всей семьей целовали в жопу. Зацеловали, ети ее... Надо было крапивой драть. Куда нам теперь с ней?» Дядька Юрка качал головой, вздыхал и гасил самокрутку. «В общем, паря, плохо быть первым. Первому — все говно. Но ты не сдавайся. Порода в тебе нашенская, хоть и разбавленная чуток. А ебарю этому мы с Витькой все равно башку оторвем. Поедем на фронт и разыщем».

Уже в полудреме Петька вспоминал слова дядьки Юрки и, туманно блуждая мыслями, мечтал о том, чтобы мамка опять с кем-нибудь спуталась, и

тогда у него, может, родится брат, и никто этого брата уже бить не будет, потому что он ведь второй, а лупить его будет только он один — Петька, и это будет настоящее счастье.

Глаза его еще несколько раз открылись, скользнув по сияющим дырам в крыше. Петька зевнул, повернулся на левый бок, потянул волчонка за лапу и, подложив ладонь под чумазую щеку, уснул.

Во сне он увидел, как дядька Юрка и дядька Витька ездят на большом танке, а товарищ Сталин летает в огромном самолете и метко бросает бомбы прямо в фашистский штаб.

ГЛАВА 2

Через полчаса Петька вдруг зашевелился, быстро залопотал что-то несвязное, вытянулся как струна, словно собирался прыгать головой в воду, но не проснулся, а снова затих.

Волчонок, которого он едва не придавил, откатился от него серым лохматым шаром, хлопнул спросонья глазами и тут же вернулся к нему под бок. Зевнув, он потянул зубами Петькину рубашку, фукнул носом и еще раз зевнул. Козы внизу настороженно переступили ногами.

Луч солнца, давно уже подкрадывавшийся к Петькиной голове, наконец добрался до его подбородка. Сначала нагрел ему рот, потом переполз на переносицу, а потом еще выше — туда, где на лбу светился треугольником маленький белый шрам.

Про то, как этот шрам у него появился, Петьке как раз и снился теперь сон.

«Иди сюда, выблядок! — кричал ему во сне Лень-

ка Козырь. — Чего ты там прячешься? Будешь с нами в «чижа» играть?»

Солнечный луч двинулся по Петькиной голове дальше, поднимаясь к темным и жестким коротко стриженным волосам. Если приложить руку — колются, как стерня. Зато всегда можно ладошку об них почесать, если чешется. А по стерне после покоса только дурак босиком ходить станет. Тем более бегать.

«Беги, придурок! — орет на Петьку во сне Козырь. — Беги! Пусть зашьют!»

Но ничего не видно, потому что кровь заливает глаза. И ногам от стерни больно.

Солнечный луч переполз на макушку. Туда, где волосы уже колючие совсем.

Михайлова тетка Наталья во сне оглядывается по сторонам, манит пальцем.

Подбежал.

Говорит: «Дай-ка, я тебя поглажу чуток. Волосы у тебя — как у Митьки маво. Жесткие. А чего на лбу-то?»

Опустил голову.

«Стукнулся, не пойму, ли чо ли?»

Потрогал пальцем набухшую коросту. Мягкая еще. Никому взрослым не говорил, но тут почему-то решил — можно.

«Ребята вчера прут в поле нашли. В землю закопанный. Один конец наружу торчал. Оттянули, а потом позвали меня. Сказали в «чижа» играть. Я подошел, они отпустили».

«Так ты зачем пошел-то?»

«Не звали они меня никогда».

Луч соскользнул с Петькиной головы и уперся в

стену. На стене гвоздем нацарапано: «Гитлер — пизда». Прямо в кружке солнца.

А в Петькином сне бабка Дарья гремит своими горшками в подполье.

«Слышь, дед, Наталья чего учудила. Леньку-то этого Козыря сегодня чуть не захлестнула совсем. Поймала за огородами и вожжами его».

«Сбесилась баба, — говорит дед Артем. — Михайловская порода. Откуда их к нам только черти притащили?»

Петька снова вздрогнул в своем беспокойном сне, зашипел, судорожно потер нос и затих. Снаружи долетел скрип ворот. Глухо стуча копытами, во двор вошла Звездочка.

— Мать! — закричал дед Артем, не успев спрыгнуть с телеги. — Мать! У меня спирт украли! Ети его! Нету спирта!

* * *

— Петька! — шептал Валерка и теребил спящего Петьку за плечо. — Слышь, Петька! А чего это у тебя, а? Кто это?

Петька открыл глаза и посмотрел на склонившего над ним Валерку. Из носа у того черной полоской сочилась кровь. Время от времени он вытирал ее подолом рубахи, но чаще просто швыркал носом и продолжал толкать Петьку в плечо.

— Кто это, Петька? Кто это у тебя?

— Ленька побил? — сонным голосом спросил Петька.

— Нет. Сама опять побежала, — Валерка хлюпнул носом и потянул волчонка за шерсть. — Ты где его взял?

Кровь у него бежала всегда. С самого рождения.

Даже после того, как его мамка перестала работать учетчицей на шахте и перебралась с его отцом в Разгуляевку.

А до этого она записывала тачки с углем. До самых родов. Чумазные рабочие смеялись и говорили: «Ты пузо-то свое посчитала? У тебя там как раз еще на одну тачку». Она в ответ всегда говорила что-нибудь дерзкое и смешное, так что они ухмылялись, и у них в глазах просыпался интерес к ее совсем еще маленькой груди под пыльным сарафаном.

Потом родился Валерка, и его назвали как Чкалова. Надеялись, что будет летать. Но у него из носа шла кровь. Как почти у всех, кто спускался в шахту. Говорили, что это все из-за газа — что там внизу какой-то очень вредный газ. Но Валеркина мамка вниз никогда не спускалась. Она целый день стояла там, где грузили вагоны. Пыль столбом — нечем дышать. И грохот.

В тридцать восьмом Чкалов разбился, и почтальон дядя Игнат как-то по пьяни брякнул Валеркиной мамке: «Ну все, бляха-муха, Валерка твой тоже теперь не жилец. Зря так назвали». Валеркин батя догнал тогда дядю Игната уже на улице и стукнул его головой об завалинку: «Не хер языком трепать, старый пень». Но кровь носом у Валерки бежала все чаще. Особенно после того, как в сорок втором на отца с Волги пришла похоронка.

А самого дядю Игната на фронт не взяли. У него была «бронь». Петька всегда усмехался, когда слышал про это. Для него «бронь» — это танк «Клим Ворошилов». Экипаж пять человек, четыре пулемета, пушка и броня до ста миллиметров. А где у дяди Игната такая броня? Толщиною почти с кирпич. На жопе, что ли? Или на его почтовой телеге?

Но дядя Игнат был живой, а Валеркиного отца убили. И сам Валерка становился все бледней и бледней.

— Ты где его взял? — повторил он, подхватывая волчонка на руки.

— Пограничный пес, — потянувшись всем телом, сказал Петька. — Его отец вчера поймал нарушителя. Чуть не загрыз. А мне от него щенка дали.

— Зачем? — Валерка опять шмыгнул носом. Глаза у него от удивления стали совсем круглые.

— Чтобы я его вырастил и пришел к ним на заставу служить. Им нужны настоящие пограничники.

— А я?

— Такое фуфло они не берут. Бегай со своим Ленькой — лови Гитлера.

— Да мы без Леньки...

— Ага, заливай, — усмехнулся Петька и отнял волчонка. — Ври больше.

Валерка на мгновение загрустил, но тут же опять встрепенулся:

— А мы, правда, сегодня чуть Гитлера не нашли. Ну, то есть... не Гитлера, а там одного... такого...

Петька продолжал небрежно поглаживать своего волчонка, но внутренне все же насторожился. Он сам потратил немало времени, шаря в густых зарослях полыни в поисках Гитлера. Правда, приходилось делать это так, чтобы не наткнуться на других пацанов. Петька знал, что если встретит их, то его как раз и объявят тем самым Гитлером. И все же втихую продолжал искать. А фиг его знает — вдруг в самом деле найдешь. Тут даже не медаль «За отвагу» — сразу Героя Советского Союза получишь. Сами будут бегать потом, упрашивать, чтобы ты с ними в «чижа» поиграл.

Куда-то же он пропал из Берлина. Тварь ползучая. Весь рейхстаг обыскали.

— Ну, и кого вы там нашли? — как будто нехотя спросил Петька.

Валерка, обрадованный тем, что все-таки сумел заинтересовать друга, заторопился рассказывать:

— Представляешь, мы ползем-ползем, а он там шуршит.

— Где? — презрительно спросил Петька.

— В овраге, рядом с япошками.

— Вы же там вчера искали.

— Ну и что? Овраг же большой. Может, он в самом конце прячется. Знаешь, там, где ручей? Ленка сказал — обязательно там надо... это... ну... поискать...

Поняв, что проговорился, Валерка замолчал и испуганно уставился на Петьку. Тот усмехнулся, погладил волчонка и великодушно сделал вид, что не заметил очередного Валеркиного предательства.

— Короче, мы камнем кинули туда, где шуршит, и он там затих. Мы еще камней покидали. А потом он оттуда в нас кинул. Ни в кого не попал. И потом еще.

— Так кто там был-то? — нетерпеливо спросил Петька, не в силах уже прикидываться равнодушным.

— Япошка! Из лагеря сбежал и в этой полыни собирал какие-то травы. Потом охранники за ним пришли. Побили его и сказали, что он всегда убегает. Совсем не боится, что его изобьют. А им достается от командира из-за него.

— Зачем он тогда убегает? — удивился Петька. — Они же все равно его обратно вернут.

— Я тебе говорю — он травы собирает какие-то.

— Зачем?

— А я-то откуда знаю? Дурак, наверное.

В этот момент со двора долетел крик бабки Дарьи, звон бьющегося стекла и матерщина деда Артема.

— Чего это там? — удивился Петька.

— У деда Артема опять спирт украли, — махнул Валерка рукой. — Бабка Дарья теперь его бутылки бьет.

Петька на секунду задумался, а потом, как пружина, вскочил на ноги.

— Слушай сюда! Посылаю тебя на разведку. Подкрадешься поближе и подслушаешь — отправит она его за спиртом сегодня или нет. Понял?

Валерка с готовностью кивнул.

— Повтори задание.

— Отправит за спиртом или нет!

— Сегодня ночью, — добавил Петька.

— Сегодня ночью, — как эхо повторил Валерка, счастливый от того, что может наконец хоть как-то загладить свою вину за поход в овраг с Ленькой и пацанами.

Прильнув к щели между досками, Петька проследил за тем, как Валерка, крадучись, пересек двор, а потом, скрипнув дверью, скользнул в сени. Петькины губы искривились в презрительной усмешке. Кто же так идет на разведку? А если бы у крыльца стоял часовой? Да еще пулеметное гнездо у ворот? Поперся напрямик через двор, придурок. Еще песню бы заорал. Из окон ведь все простреливается. Надо было по стеночкам, по стеночкам. И пригибаться ниже завалинки. Потом часовому за спину — и «финочкой» под лопатку. Тихо, тихо.

Почти не больно. А дверь, чтоб не скрипнула, надо чуть-чуть приподнять.

Петька подхватил волчонка на руки, спустился по лестнице и пнул раза два испуганных коз. Жалобно мекнув, они бросились к дальней стене. Столпились там, как разгуляевские бабы у сельсовета на Первомай, и уставились друг на друга. Петька склонился над ямой, опуская в нее своего волчонка.

— Сегодня отдадим за тебя спирт, — шепнул он в яму. — Не бзди. Своих не бросаем.

Прикрыв яму досками, он снова забрался на сеновал и стал ждать Валерку с развединформацией. На улице уже начинало темнеть. Из дома доносились крики бабки Дарьи и деда Артема. Разобрать, что кричат, было невозможно.

* * *

Японца, про которого Петьке рассказал Валерка, звали Миянага Хиротаро. Во время боев на Халхин-Голе в тридцать девятом году он воевал на высоте под названием «Палец». Японцы по-своему называли ее «высота Фуи», но это не помогло им продержаться там больше четырех дней. Наши раздолбили их укрепленные позиции артиллерией, а потом выбивали уцелевших гранатами из лисьих нор. То же самое произошло две недели спустя на сопке Ирис-Улийн-Обо, куда выживший Хиротаро отступил с остатками своего полка. Японцы не хотели сдаваться и предпочитали разлететься в клочья от советских гранат, но Хиротаро служил в санитарной роте, поэтому, услышав русскую речь, выбросил из укрытия свой карабин.

Кто-то ведь должен был заботиться о раненых солдатах в плену. Мертвый врач лечить не умеет.

Во время обмена пленными Хиротаро отказался возвращаться к своим и с тех пор ютился в том самом японском бараке, с которого когда-то начался разгуляевский лагерь.

В сорок втором году, чтобы получить разрешение на выход за ворота, он одними травами вылечил от триппера тогдашнего коменданта. На радостях тот расщедрился и позволил ему собирать свои травки в окрестном лесу. Когда за очередной дебош коменданта разжаловали и отправили на фронт, эти прогулки прекратились.

Весной сорок третьего после нашей победы под Сталинградом немцев окончательно погнали на запад, а Хиротаро высадил для охранников лагеря целую грядочку табака — в травах он действительно разбирался. К осени всю его ботву раскурили, не дождавшись, пока она просохнет как следует, а японцу предложили высказать свои пожелания. Думали — попросит жратвы, но он сказал, что хочет карандаш и тетрадку.

Тетрадка была нужна ему, чтобы описать всю свою жизнь для оставшихся в Нагасаки сыновей. До сорок третьего года он еще надеялся на возвращение в Японию, но после капитуляции фельдмаршала Паулюса пришел к выводу, что семьи своей ему уже не видать. Русские наступали на всех направлениях.

В принципе, Миянага Хиротаро готов был умереть за своего императора в глухих забайкальских степях, но все же ему хотелось оставить по себе память. В тетрадку он записывал всякую всячину. Писал своего рода историю: воспоминания о годах

учебы в Париже, размышления о любви, предания о самураях, заметки о местной природе. Иногда он зарисовывал листья забайкальских растений, а ниже описывал их лечебные свойства в изложении охранников лагеря. То, что казалось ему невероятным или просто смешным, он обводил двойной линией и рисовал рядом глупую рожицу. Еще он писал про свое детство, про милую девушку Полину, жившую с ним на Монпарнасе, про Халхин-Гол и страшную высоту Фуи, про своего друга Масахи-ро, из-за которого остался в русском плену, про многорукую богиню Каннон и много всего другого, включая пространные рассуждения о японской истории, а также о судьбах Запада и Востока.

Тетрадку он прятал под половицей в бараке рядом со своими нарами. Когда-нибудь, думал он, этот барак снесут, записки его будут найдены, и, если война к тому времени кончится, их переправят домой в Японию, в Нагасаки.

Но все вышло не так.

Кто-то из пленных донес новому коменданту, и Хиротаро на несколько дней попал в карцер. Никто из русских по-японски читать не умел, поэтому начальство решило, что это шпионские донесения. Про что еще мог писать пленный япошка, у которого одно время было разрешение на выход из лагеря?

Сначала хотели на всякий случай шлепнуть его, но потом вспомнили про табак. После роскошного генеральского курева, которым Хиротаро обеспечивал всю охрану, армейскую махорку смолить уже никто не хотел.

Японцу велели больше ничего не писать, а потом тихой сапой вернули его в барак. Толстую тетрадку

в дерматиновом переплете сожгли. Наверх о происшествии докладывать не стали.

Но японец не успокоился. Вторую тетрадку он выпросил у приехавшего специально к нему из областного управления лагерями военврача Потапенко. Высокое начальство прознало о случае исцеления бывшего коменданта и отправило в разгуляевский лагерь гонца. Гонорея не щадила ни слабых, ни сильных. Свиристествовала, как немецкие танки на Курской дуге.

Получив в обмен на рецепт из трав заветную тетрадку, Хиротаро решил вести себя поумнее. На этот раз он не стал показывать ее никому из соседей по бараку, а спрятал в глубоком овраге за воротами лагеря. Отправляясь тайком на поиск трав, он практически каждый день проверял ее сохранность, однако в барак приносить не спешил. Ему хотелось, чтобы все забыли о его странном занятии.

Сегодня, когда Валерка с Ленькой и пацанами застучали его в густых зарослях полыни, он как раз пришел, чтобы забрать оттуда свою тетрадку.

Вернувшись в лагерь, Хиротаро забился на нары и, позабыв о ссадинах и синяках, оставленных злой охраной, вынул из узелка с травами тетрадку в зеленом клеенчатом переплете. Остальные пленные еще не пришли после работы из шахты, поэтому у него было минут двадцать на то, чтобы записать какие-то первые слова.

Затаив дыхание, он раскрыл обложку и погладил заскорузлой ладонью чистый лист. Затем поднес тетрадь к лицу, закрыл глаза и замер на несколько мгновений. Эта советская школьная бумага довольно плохого качества в синеватую прозрачную клетку была единственным звеном, которое связы-

вало бывшего врача санитарной роты 71-го пехотного полка Миянага Хиротаро с его оставшейся в Нагасаки семьей.

И вообще с будущим.

Помедлив еще секунду, он вынул из щели между бревнами сильно обгрызенный химический карандаш и крупными иероглифами вывел посередине первой страницы:

МОИМ СЫНОВЬЯМ
АЗУМИ И СИНТАРО

Чуть ниже он добавил помельче:

ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ ЭТИ ЗАПИСКИ
В ХРАМ КОФУКУДЗИ ГОРОДА НАГАСАКИ
ДЛЯ СЕМЬИ МИЯНАГА

Хиротаро не знал, живут ли еще его близкие в том доме, откуда он уходил на фронт, но был уверен, что они по-прежнему посещают это буддийское святилище.

Перевернув страницу, он послунил во рту карандаш и постарался припомнить, с чего начиналась первая запись в той тетрадке, которую сожгли на кухне для офицеров полгода назад. Наконец лицо его приняло спокойное выражение, он улыбнулся, представил себе своих бесконечно дорогих собеседников и снова начал старый рассказ:

«Весной 19-го года Канъэй, что соответствует 1642 году христианского летосчисления, самурайский род Миянага постигла беда. Одному из потомков доблестного Миянага Митинобу, который

во время обороны замка Осака сражался бок о бок с великим Тоетоми Хидэеси, было отказано в просьбе о совершении сэппуку. Более страшной участи для самурая не существует.

Отказ, разумеется, был связан с тем, что Митинобу в Осаке пог командой легендарного Кониси Юкинага воевал против воцарившегося впоследствии рога Токугава. Впрочем, имелись и другие причины...»

Хиротаро продолжал писать, настороженно прислушиваясь — не подходит ли к бараку колонна пленных, а Петька в это же время ждал на сеновале Валерку и, тоже насторожив уши, пытался разобрать вопли дерущихся бабки Дарьи и деда Артема.

* * *

В Разгуляевке бабы всегда дрались с мужиками. Мужних побоев никто терпеть не хотел. Стоило мужику размахнуться или только еще завертеть головой в поисках чего-нибудь потяжелей, как он тут же мог получить в ответ. Казацкая кровь не разбирала, в чьих жилах ей течь — в мужских или женских. Бурлила себе без разбора.

Пока они были девки и парни, все как-то еще обходилось миром и даже вздохами-поцелуями, но стоило девкам округлиться, а парням от этого сбеситься и пережениться на них, как почему-то тут же наступал мордобой.

Но когда началась война и мужиков увезли на фронт, во дворах стало тихо. Никто больше не выскакивал из дома в одном белье, не орал посреди ночи как резаный, не прятался по сараям. Топоры, вилы, лопаты и грабли скучно использовались

только по назначению. Никто не размахивал ими над головой, не швырял их через забор к соседям. Жизнь остановилась.

Правда, только до тех пор, пока бабки с дедками не вспомнили, что они тоже «муж и жена» и что у любви для всех одни законы.

И вот тогда старички помаленьку задрались. И хоть получалось у них уже не так весело и громко, как раньше, но Разгуляевка вроде опять ожила.

Поэтому, когда полгода назад Петька во время урока увидел вдруг, как интересно падает из окна солнце на косы Таньки Захаровой, у него не возникло даже тени сомнения. Догнав ее после школы, он размахнулся и без разговоров стукнул сумкой по голове. Танька стукнула его в ответ, он ее еще раз, и разгуляевские пацаны, дразня его, к слову «выблядок» теперь стали добавлять еще и «жених». Какое из этих слов было обиднее — Петька так и не решил. «Выблядок», хоть он и привык к нему, звучало противно, однако «жених» было уже совсем. Тем не менее Таньку Захарову сумкой по голове он бить не перестал. Кроме кос у нее оказались еще зеленые глаза, смешной вздернутый нос и теплые ладошки.

Петька зажмурился изо всех сил и попытался представить себе Танькино лицо. Сразу после победы ее семья собралась и уехала из Разгуляевки в Ростов, откуда их эвакуировали в самом начале войны. После их отъезда прошло уже два месяца, и Петька понемногу забывал Танькины веснушки, но пацаны, швыряя в него камнями, по старой памяти все еще кричали «жених».

«Выблядок» они, конечно, кричали тоже.

Петька зажмуривался все сильнее, но перед гла-

зами, кроме цветных кругов, ничего не появлялось. «А как, интересно, слепые? — неожиданно подумал он. — Как у них это все? Они же не видят друг друга. Откуда они знают — на ком жениться? Не видно ведь ни фи́га».

— Эй, ты чего, Петька? — раздался рядом с ним удивленный шепот.

Петька открыл глаза. Сквозь вращающиеся цветные круги он разглядел Валерку.

— Тебе плохо, что ли? — спросил тот. — Жрать хочешь?

— Да пошел ты, — сказал Петька, слегка тряся головой. — Докладывай, что там у них.

От голода башка у него, конечно, кружилась, как у всех остальных, но Валерке он всегда врал, что у него лично не кружится.

— Поедет, — выдохнул Валерка. — Сейчас только Звездочке воды даст...

— Отлично, — Петька вскочил на ноги и стукнулся головой об крышу. — Беги к нам в зимовье, — сказал он, морщась и потирая макушку рукой. — Возьмешь у моей мамки кусок хлеба. Скажешь, что ночевать не приду.

— А она здесь сидит, — перебил его Валерка. — Бабка Дарья ей супу дала. Вкусный — у меня от запаха слюнки побежали. И еще черемши покрошила туда.

Петька на секунду задумался.

— Тогда все равно беги к нам в зимовье. Как пройдешь сени, за дверью нащупаешь дырку в стене. Там плашка должна шевелиться. Отодвинешь ее и возьмешь оттуда мешок. В нем пять сухарей. Выбери два самых больших, остальные положи обратно. Если когда-нибудь залезешь туда без меня, под трибунал пойдешь. Понял?

— Да. Сухари тебе принести?

— Не «да», а «так точно». Сейчас дед будет бочки грузить на телегу. Положишь сухари в одну из них. Потом мне скажешь — в какую.

Валерка кивнул и с готовностью бросился к лестнице, ведущей с сеновала вниз.

— Подожди! — вдруг сказал он, останавливаясь на подороге. — Так ты хочешь с ним на ту сторону?

— Ну да.

— За спиртом?

— Нет, на фиг, за молоком. Давай беги быстрее. Я должен еще в бочку залезть, чтобы он меня не увидел.

Валерка чуть помедлил. Хотел что-то сказать, но промолчал. Через мгновение он уже нырнул под изгородь и бежал вдоль огорода к дальнему зимовью.

«Тоже мне, — опять усмехнулся Петька. — Лазит под забором как баба. Сколько раз ему говорил — надо сверху».

ГЛАВА 3

Петька скользнул в черную утробу бочки, мягко сложившись там, как зародыш. Руки на груди, колени возле ушей. Прямо под задницей сухари — фиг приподнимешься, чтобы их оттуда достать.

— Закрывай, — сказал он.

Сверху надвинулась крышка. Теперь — полная темнота. Сухари пусть внизу лежат. Можно достать потом. Все равно не раскрошатся. Твердые, как каменная соль в степи. Месяца два назад у бабки Дарьи стащил. Ругала потом деда Артема. Но сидеть неудобно.

— Петька, — раздался Валеркин шепот у самой его головы. — Слышь, Петька.

— Ну, чего?

— А вдруг ты уснешь, а он бочку с тобой у китайцев оставит?

— Я не усну.

— А вдруг уснешь?

— Я не усну.

— А вдруг?

— Пошел в жопу.

Валерка еще постоял у телеги, потом обошел ее.

— Слышь, Петька, — Валеркин шепот опять. — А вдруг китайцы...

Петька собрался уже ответить по-настоящему грубо, как вдруг рядом заговорил дед Артем:

— А ты чего крутишься здесь? А ну, беги отсюда.

— Я Петьку ищу, — невинный Валеркин голос. — Не видали его?

— Не, не видал. Давай беги домой. Поздно уже. Мамка небось тебя потеряла.

— Она не ругается, когда я поздно домой прихожу. Говорит — надо больше бегать. Тогда кровь из носа не так сильно идет.

— Ну ладно. Все равно иди.

И через секунду:

— Эй, стой, Валерка! На-ка вот тебе черемши... И хлебушка возьми тоже... Эх, рубаха-то у тебя вся в крови... Заскорузла.

— Спасибо, деда. А рубаху мамка к завтраму стирает.

Петька услышал, как убегают Валеркины ноги, потом почувствовал, как Звездочка шагнула два раза вперед, соседние бочки стукнулись друг об друга, и дед Артем забрался на передок.

— Э-хе-хе, — услышал Петька его вздох. — Дите-то пошто мучается? Говорили буряты — не надо

шахту здесь открывать. Нет, не послушались. Эти ее.

Дед Артем замолчал, и в следующее мгновение Петька уловил запах махорки. Ноздри у него вздрогнули, он глубоко вздохнул и сжал зубы. За весь день он еще ни разу не покурил. С куревом в Разгуляевке тоже было непросто. Втянув в себя воздух, Петька ощутил запах свежего дерева — почти такой же приятный, как запах табака. Прижав лицо к доскам, он высунул язык и начал лизать свежеструганную поверхность. Вкус был сладковатый. Кое-где попадались тягучие капельки смолы. Зубы из-за нее становились горькими и немного прилипали друг к другу.

— Пошла! — крикнул дед Артем на Звездочку, и телега двинулась вперед, унося внутри одной из бочек маленького червячка с высунутым языком и задранными до ушей коленками.

Червячок размышлял о том, как он завтра наконец отнесет охранникам в лагерь давно обещанный спирт, воображал себя то в танке, то в подводной лодке, лизал смолу и негромко стучался головой о бочку.

* * *

Петька шевельнулся в темноте, пытаясь устроиться поудобней. Ему почти нестрашно было сидеть в этой тесной бочке. А чего страшного? Едешь себе и едешь. Анна Николаевна в школе как-то раз вслух читала про то, как вообще двоих в бочку законопатили. Мамку и пацана. И ничего. Даже в море кинули. А тут — какое море? Степь вокруг.

Но в темноте.

И тесновато чуть-чуть. Ноги затекли совсем ско-

ро. И спина стала как деревянная. Где спина, где бочка — фиг отличишь. Стучаются друг об друга как две деревяшки. С таким же звуком. И еще — тяжело дышать. Скрючился и стучаешься спиной об стенки. А потом стенки стучаются об тебя.

Но Петька почти не боялся. Он уже до этого разок сидел в такой темноте.

«Там Козырь с пацанами настоящий дзот нашел, — сказал ему тогда Валерка. — Меня один раз пустили. Страшно там. Темно. Я убежал, а они смеялись. Хотели меня там закрыть».

«Дзот? — переспросил Петька. — Да откуда тут дзот?»

Теперь, чтобы перестало тошнить, он ухитрился приподнять задницу и выдернуть из-под себя сухари со дна бочки. Пока возился, два раза сильно треснул башкой. Но захрустел, и тошнить вроде чуть-чуть перестало.

Дед Артем щелкнул кнутом, а потом негромко затанул свою любимую частушку:

— Зять на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжке водил!

«Вот он, — сказал тогда Валерка, подводя его действительно к дзоту. — Видал? А ты не верил. Настоящий. Козырь говорит — его против квантунцев построили, но япошки забоялись, и наши отсюда ушли».

«Погоди ты, — отмахнулся от него Петька. — Хватит трещать».

Если бы в бочке не было так темно, наверное, он бы сейчас совсем не боялся. Но Петька всегда помнил, что в случае чего можно поднять руку и столкнуть крышку. Тогда можно будет легко дышать. И это чувство исчезнет — что ты внутри.

«А чем это здесь воняет? — спросил он тогда Валерку, забравшись в дзот. — Насрали, что ли, придурки?»

«Нет, это Ленька крыс казнил. Он уже вторую неделю в «Смерш» играет».

После второго сухаря тошнота вернулась. Петька боролся с ней, потому что вылезать из бочки было еще нельзя. Отсюда дед Артем наверняка повернул бы обратно. И тогда никакого спирта. А бабка Дарья просто убьет.

«Я здесь не могу долго сидеть, — пожаловался ему тогда Валерка. — В прошлый раз кровь из носа сразу пошла. Я тебя наверху подожду. Ладно?»

Петька вспомнил Валеркины слова и подумал о том, сколько еще надо ждать. От этих мыслей его затошнило сильнее. Звездочка перешла на рысь, и на ухабах бочки стали подпрыгивать.

«А-а-а! — закричал тогда Ленька. — Я — Александр Матросов!» И прыгнул неизвестно откуда на амбразуру. Как будто с неба упал. Или как будто заранее прятался где-то рядом. Ждал, пока Валерка Петьку сюда приведет. А может, и правда ждал. Кто его знает? Этого Валерку.

«А-а-а! Как мне больно!» — орал Ленька, лежа на бруствере и дергаясь всем телом прямо перед окаменевшим Петькиным лицом, стреляя губами из пулемета и наконец затихая, а Петька смотрел на него через амбразуру и понимал, что тот сейчас оживет. Не за тем прыгнул, чтобы погибнуть. Должно быть продолжение.

Звездочка неожиданно остановилась, и Петька снова стукнулся лбом. На этот раз больно. Дед Артем начал возиться среди бочек, громко постукивая по дереву чем-то тяжелым. Через секунду

Петька понял, зачем он стучит. Дед плотно вбивал крышки, чтобы они не дребезжали и не вылетели, когда он поедет быстрее. Значит, граница совсем рядом. Дед готовился к броску. Два коротких удара — и крышка у Петьки над головой больно вдавила его лицо в тощие коленки.

А Ленька тогда на бруствере открыл глаза, посмотрел на Петьку и ухмыльнулся.

«У нас тут крысы», — тихо сказал он.

Потом встал на коленки, продолжая заглядывать через амбразуру в дзот, и уже в полный голос кому-то крикнул: «У нас тут крысы, ребзя! Заваливай вход! Не давай крысам сбежать!»

Петька нащупал тогда на бруствере камень и без замаха бросил его вперед.

«Сука, — сказал Ленька, сплевывая кровь прямо внутрь дзота. — Тут и подохнешь».

Теперь, не в силах пошевелить даже головой, Петька вдруг снова почувствовал себя как в могиле.

Громкий удар кнута, и Звездочка почти с места перешла в галоп. Бочки начали гулко стучаться друг об друга.

— Давай, родная! — свистящим шепотом попросил у лошади дед Артем. — Выноси, милая!

Тогда в дзоте Петька бросился к выходу, но дверь ему было уже не открыть. Снаружи на нее навалили огромные глыбы каменной соли. Через амбразуру выскочить тоже не удалось — в лицо летели тучи песка и щебня. Задыхаясь и кашляя, Петька без сил опустился на землю. Выхода не было. Еще минута — и амбразуру тоже завалили чем-то тяжелым. Наступила полная темнота.

Сейчас сидящему в бочке Петьке вдруг снова показалось, что он задыхается. В ужасе он судорожно

напряг ноги, упираясь в дно из последних сил. Крышка у него над головой поддалась. В это мгновение телегу, мчавшуюся на полном ходу, сильно трянуло; бочки повалились на бок; и Петька вылетел наружу, цепляясь скрюченными пальцами за спину деда Артема.

В следующее мгновение его вырвало, а дед Артем с криком «Ох, еб!» как ошпаренный соскочил с телеги.

* * *

Петька передернул плечами, как от озноба, и натянул штаны.

— Деда, — тихим голосом позвал он. — А, деда?

— Ну, чего? — отозвался с телеги дед Артем. — Ты все там? Давай садись.

— А вот эти звезды дядьке Витьке с дядькой Юркой видно сейчас?

Дед Артем помолчал немного, вздохнул и наконец сказал:

— А кто их знает? Может, и видно. Садись давай. Надо границу обратно потемну переехать.

Петька помедлил еще секунду, задрал голову и всматриваясь в бездонную пустоту.

— Ты где там? — недовольно проворчал дед Артем. — Садись быстрее, а то китаезы проснутся.

Петька запрыгнул на телегу, дед Артем еле слышно чмокнул губами, и Звездочка пошла вперед.

— Деда, — опять позвал Петька, прижимаясь боком к огромной бутылки. — А как ты ночью в степи дорогу найдешь?

— Поживи тут с мое — еще и не то найдешь. Не только дорогу. Вон видишь тот холм? На нем две

макушки. Вон там — как две сиськи торчат. Да не туда смотришь. От него сейчас возьмем влево, и дальше будет Аргунь. Хайлар по-китайскому, ети их. Там бродом пойдем — прижимай голову. На реке им далеко видать. Стрелять будут.

У Петьки сладко похолодело в животе.

— А когда туда ехали — не стреляли.

— Туда кто едет — им все равно. Главное, чтобы оттуда не выскочили.

— А почему?

— Почему да почему! Приказ у них, ети его.

Слово «приказ» Петька понимал, поэтому спрашивать больше ни о чем не решился. Но ненадолго.

— А когда переедем — наши тоже будут стрелять?

— И наши будут. Куды они денутся? С этим у них — будь здоров.

— Но мы же свои.

— Какие же мы свои? — усмехнулся дед. — Мы, Петька, контрабандисты. Самые что ни на есть диверсанты.

Петька удивился и замолчал. Когда он забирался в бочку в Разгуляевке, он об этом как-то даже не думал.

Выходило, что он будет быстро ехать в телеге и прятать голову, а наши советские пограничники будут стрелять в него из пистолетов системы «ТТ» и автоматов «пистолет-пулемет Шпагина», потому что он диверсант, Петька Чижов — контрабандист, диверсант и выблядок. А над головой у него будут светить звезды, которые, возможно, видят дядька Юрка и дядька Витька. Два советских танкиста — одна медаль «За отвагу», два ордена Красной Звезды, орден Славы и три ранения на двоих.

Петька озадаченно почесал голову, откинулся на спину и стал смотреть в темное небо, которое качалось прямо над ним. Оттого, что небо раскачивалось, а вокруг было совершенно темно, Петьке скоро стало казаться, что он плывет по реке. Потом у него появилось ощущение, что это не небо вверху, а он — Петька. А небо плывет под ним, и он смотрит на него сверху, и неизвестно почему не падает вниз, хотя давно уже должен был свалиться с телеги и улететь в пропасть, откуда подмигивают звезды.

— Деда, — снова позвал он, поднимая голову и возвращая небо туда, где оно должно быть. — А спирт мы с тобой где спрячем?

— Найдем, — голос у деда Артема изменился. — Речку бы живьем проскочить. А где спрятать — поищем. Нет, ну кой хер ты за мной увязался?

— Может, у шахты? Там не ходит почти никто. Везде колючая проволока.

— Там нельзя.

Петька подождал, когда дед объяснит — почему, но не дождался.

— А почему? — наконец спросил он.

— Что почему?

— Почему у шахты нельзя?

— Вот, ети его! Говорю — нельзя, значит, нельзя! Место плохое.

— Почему плохое?

— Сейчас скину с телеги — узнашь почему!

— А я там играю всегда.

— Ну и дурак.

Дед Артем помолчал немного.

— Не играй там. И особенно Валерке своему скажи, чтобы там не бегал. Плохо там. Нечисто.

— Как это — нечисто? — Петька поднялся на четвереньки и перебрался поближе к деду.

— Прятал я там уже.

— И чего?

— Ничего. Пол-Разгуляевки чуть не передохло. Остаток весь вылить пришлось.

— Когда это?

— Когда, когда! Прошлым летом. Когда тебя два дня по всей степи искали, а ты в этот, ети его, дзот залез. Еле откопали.

Петька нахмурился и ничего не сказал. Но дед Артем уже сам разговорился.

— Нельзя было там шахту открывать. Буряты раньше на нашем месте жили, так туда из них почти никто не ходил. А может, и не буряты. Поди их всех разбери. Шаманы были у их. И которая жена шаманская забеременеет — сразу ее туда. Зимовье ей там отдельное, пока не разродится. И рожали уродов одних — то по семь пальцев, то без глаз.

— Как это — без глаз?

У Петьки по спине побежали мурашки.

— Вот так! Нету глаз, как будто тряпкой с лица стерли. Гладко.

— Ты сам видел?

— Видал одного. Когда такой же, как ты, был.

— А зачем?

— Чего зачем?

— Зачем они там рожали?

— Ну, паря! У их, у шаманов, свои дела. Погоду предсказывать, с мертвыми разговаривать. Для такого дела как раз нужен был такой урод. Нормальному буряту с мертвыми разговаривать было никак невозможно. А может, и не буряты были они.

Может, тунгусы какие-нибудь. Давно отсюда ушли. Разгуляевку уже после них построили.

— А куда ушли?

— Так я-то откуда знаю! Ушли.

Дед Артем помолчал немного, как будто вспоминал что-то, и потом заговорил опять:

— Кладбище после их осталось.

— Где?

— Так там же. Рядом с шахтой. Они туда своих покойников сносили. Но могилочек не делали. Просто так оставляли. Сейчас, паря, уже, наверно, ничего не найти.

— Какое же это кладбище?

— Вот и я говорю — не ходи туда играть. Плохое место.

После того как они без единого выстрела перешли Аргунь, на русской стороне их встретил шквал огня. По звуку Петька определил, что били даже из пулемета. Дед Артем стащил с телеги свою бутылку и привычно улегся, закрывая ее телом, прямо на землю, а Петька упал рядом с ним и слушал, как, пролетая высоко в небе, жужжат пули.

— Не прицельно, — кричал он деду. — По воздуху бьют. Не прицельно!

Но дед Артем его не слушал. Прижимаясь к бутылке и закрыв глаза, он самозабвенно пел во все горло:

— Зять на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжке водил!

ГЛАВА 4

Отзвуки стрельбы, которая поднялась на реке из-за деда Артема с Петькой, долетели и до лагеря

военнопленных. Миянага Хиротаро оторвал взгляд от своей тетради и прислушался к перестрелке.

Сощутив глаза на крохотное пламя свечи, он несколько секунд сидел неподвижно, а затем едва заметно покачал головой. Для наступления императорской армии огонь был слишком незначительный. Да и какое теперь наступление?

— Перископ, перископ... — забормотал у него над головой спавший на верхних нарах Ивая Масахиро. — Я не хочу, отец... Не надо... Пожалуйста...

Хиротаро поднял голову и застыл в таком положении. Он все еще не показал никому в бараке свою новую тетрадь. Сейчас он был готов спрятать ее под тюфяк, но Масахиро не проснулся.

Хиротаро вздохнул, еще раз прислушался к затихающим отголоскам стрельбы и задумчиво полюбил карандаш. До утреннего построения оставалось часа полтора — значит, он мог рассказать сыновьям еще что-нибудь об истории своего рода. Ночная перестрелка навела его на мысль об оружии. Помедлив секунду, он снова начал писать:

«Наш предок Миянага Митинобу всю свою жизнь был правой рукой генерала Кониси, и хотя сам не стал христианином, тем не менее продолжал преданно служить своему господину даже после того, как тот принял от португальских миссионеров католическое крещение и христианское имя дона Антонио.

Неожиданный переход Кониси Юкинага в христианство дал его самурайскому войску значительные преимущества. Высадившиеся на острове Танэгасима португальцы привезли из Европы фитильные мушкеты. Жители острова Кюсю, по-

ловиной которого владел Кониси Юкинага, быстро освоили новое оружие, а для удобства произношения так его и прозвали — «танэгасима».

Остальные князья из южных провинций тоже поняли преимущество «танэгасима» перед луками, и вскоре рыбацкая деревушка Нагасаки превратилась в настоящий торговый порт. К началу семнадцатого века у нас в Японии насчитывалось уже более ста тысяч христиан.

Князья-дайме, отказавшиеся от древних верований синто и от пришедшего из Китая буддизма, сказочно богатели, торгуя с новыми единоверцами. Обеспечив своих стрелков португальскими мушкетами, южные владыки уже не спешили в Осаку на поклон к великому Тоетоми. Налоги в казну из христианских провинций стали поступать крайне нерегулярно.

Однако Тоетоми это терпел. Больше того, он разрешил возвести христианскую церковь рядом со своим замком и ни словом не упрекнул Кониси Юкинага, узнав, что португальцы устроили у него в Нагасаки невольничий рынок. Случись такое в северных княжествах, он тут же поднял бы свои полки, и буквально через неделю мятежный дайме завидовал бы участи самого ничтожного из своих слуг. Но к южным провинциям Тоетоми Хидзэси относился совсем по-другому.

Причиной этому долготерпению были, конечно, «танэгасима». Огонь из португальского оружия велся на таком большом расстоянии и с такой страшной силой, что двум-трем десяткам фитильных мушкетов, спрятанных за хорошим укрытием, не могли противостоять целые сотни самурайских луков.

Кони противника пугались грохота выстрелов, и кавалерия теряла все свои преимущества в считанные секунды. Обезумевшие животные носились по полю боя, волоча за собой застреленных всадников, а те, кто еще оставался в седле, не могли удерживать строй. Конная лава, которая, как река, должна была сметать все на своем пути, превращалась в неуправляемую кипящую массу — лошади испуганно ржали, хрипели, взвивались на дыбы, брызгали пеной из разорванных черных губ, валялись на спину, топтали собственных всадников, натыкались на окровавленные мечи, а «танэгасима» продолжали бить из своего укрытия, заволакивая кусты порохом дымом, с легкостью пробивая самые крепкие самурайские доспехи и оставляя в сердцах гибнущих воинов чувство такого благоговейного ужаса, как будто сама богиня Аматэрасу разгневалась на них и вступила в бой на стороне великого и непредсказуемого Тоетоми Хидэеси...»

Хиротаро на мгновение остановился, размышляя — не слишком ли он увлекся художественными деталями, но тут же решил не терять драгоценного времени на сомнения и продолжил:

«Вот поэтому он терпел. В конце концов, на тех кусках расплавленного свинца, которые так быстро вылетали из стволов «танэгасима», не было написано, какую смерть они несут — христианскую или буддистскую. Главное, что они несли смерть врагам Тоетоми. Куда попадет после этого гуша самурая, было уже неважно. Лишь бы она не осталась тут.»

Впрочем, терпеть становилось все труднее.

В отличие от всех остальных, Тоетоми знал, что вовсе не Аматаэрасу воюет на его стороне. И что он оскорбляет ее, позволяя Кониси Юкинага привечать европейцев. Но выбора у него уже не было. Армия христиан-самураев, побеждавших в это время в Корее, воевала значительно лучше армии фанатичного и преданного буддиста Като Киемаса, который назло «дону Антонио» приказал написать на своем штандарте большими красными буквами «Слава Лотосу Божественного Закона».

Третью армию вторжения в Корее вел в бой сын знаменитого полководца Курода Еситака молодой генерал Курода Нагамаса. Его войска легко было распознать по черному кругу на знаменах, потому что «куро-да» означает «черное поле». Для двадцатичетырехлетнего Нагамаса эти знамена оставались единственным способом сохранить свое родовое самурайское имя. В крещении он был теперь Дамиан.

Пока Кониси Юкинага сражался во славу Иисуса Христа и своего повелителя Тоетоми Хигзэси в Корее, его ближайший помощник и наш госточтимый предок Миянага Митинобу вел все дела в Нагасаки. Время от времени он приезжал для отчета в корейский лагерь к своему господину и даже принимал участие в сражениях, однако по большей части все-таки вел переговоры от его имени с европейскими миссионерами и негодьями. Он также крестил его подданных, наказывал не желавших принять крещение, а главное — покупал у португальцев все больше и больше «танэгасима».

Эти ружья стреляли и в первую корейскую кампанию, и во вторую. Неизвестно — решился бы вообще Тоетоми на ту войну, если бы у него не было

огнестрельного оружия. Во время осады китайской армией форта Урусан, когда самураи генерала Като в муках голода уже начали поедать трупы убитых врагов, именно «танэгасима» позволили им продержаться до подхода пятидесятитысячной армии под командованием Курога, которая огнем своих ружей обратила в бегство восемьдесят тысяч китайцев.

Тем не менее война в Корее закончилась ничем. План завоевать Китай и создать огромную империю провалился. Великий Тоетоми умер, самураи вернулись домой, к власти пришел род Токугава, и для японских христиан наступили мрачные времена. Всех сподвижников Кониси Юкинага перегушили одного за другим, как собак, не позволив им совершить сэппуку, и только наш предок Миянага Митинобу избежал страшной участи, поскольку, во-первых, сам так и не принял христианства, а во-вторых, успел достойно разрезать себе живот, пока весть о смерти Тоетоми была государственной тайной.

В секрете ее держали для того, чтобы среди самураев, которые все еще сражались в Корее, не начались волнения. Благодаря полному соблюдению этой тайны войска благополучно вернулись в Японию, а верный Миянага сумел сохранить свою честь. Поэтому никто из последующих дайме, правивших в Нагасаки, не мог притеснять оставшуюся после него большую семью...»

Хиротаро отложил тетрадь, потер ладонью затекшую поясницу и несколько раз моргнул, стараясь прогнать с глаз мутную пелену. То место, где он описывал гибнущих самураев, по-прежнему каза-

лось ему излишне эмоциональным, но он решил пока оставить его.

В соседнем бараке уже начиналась побудка.

* * *

— А ну, стой! Куда прешь? — заорал часовой у ворот лагеря, опуская перед Петькой винтовку с трехгранным штыком. — Ослеп, что ли? Не видишь, написано: «Охраняемая территория»?

— Дяинька! — заторопился Петька. — Мне к ефрейтору Соколову надо. Я ему спирт принес...

Часовой внимательно посмотрел на Петьку и на холщовый мешок у него за спиной.

— Стой здесь, — наконец сказал он строго.

Петька опустил на землю. После бессонной ночи, стрельбы на границе, кражи спирта из нового тайника деда Артема и еще, наверное, от голода у него немного кружилась голова. Он хотел поскорее отделаться от своей ноши, вернуться к себе на сеновал и залечь там до вечера.

Вечером ему надо было оказаться на станции, потому что к ночи по «железке» пойдут поезда. Эшелоны специально гнали по темноте, чтобы японская разведка ничего не заметила. Их самолеты кружили над степью целыми днями. Месяца два назад один сбили, а летчика отвезли в лагерь.

«Тоже, наверное, сейчас на шахте, — устало подумал Петька. — А, может, помер уже. Не могут они у нас. Дохнут».

— Эй, шкет! — крикнул часовой, появляясь из за ворот. — Сиди пока тут. Ефрейтор сейчас занят.

Занят так занят. Хотя Петьке надо было скорее домой. Он все-таки хотел поспать до вечера. Хотя бы чуть-чуть.

Эшелоны к границе гнали уже две недели, и Петька почти каждый вечер стоял на платформе, задыхаясь от счастья, глотая ветер, размазывая по щекам и по лбу сажу, летевшую из паровозной трубы, вглядываясь в очертания пролетающих мимо него под брезентом танков и гаубиц, вслушиваясь в обрывки «Яблочка», которое летело в сгущавшийся воздух из распахнутых настежь вагонов.

«Наши, — тихо шептал он. — Наши».

И уже в следующую секунду кричал изо всех сил: «Наши едут! Ура!»

Поезда неслись мимо него, окутанные клубами дыма. Везли и везли к границе тяжелую, страшную мощь. Победившая армия стремительно перемещалась с Запада на Восток, готовясь обрушиться всей своей массой на хрупкую затаившуюся Японию. Ждали только приказа, который почему-то задерживался, как будто должно было случиться что-то еще. Что-то другое, не связанное ни с этими эшелонами, ни с Петькой, бегущим по платформе за ними вслед, ни с теми солдатами, которые бросали ему и другим пацанам свои сухпайки. Это было связано с чем-то другим.

С тем, что таилось в породе, которую пленные поднимали из разгуляевской шахты наверх. С тем, от чего они умирали один за другим и от чего у Валерки из носа шла кровь, а дед Артем говорил, что бурятские бабы рожали на этом месте одних уродов. А может, и не бурятские — дед не помнил наверняка.

— Что же ты, ефрейтор, блядство у меня тут производишь? — злым голосом сказал высокий офицер со шрамом на лбу, выходя из ворот лагеря. — На секунду отвернуться нельзя.

Петька вскочил на ноги. Часовой у ворот испуганно прижался к забору. Вслед за офицером показался ефрейтор Соколов и мать Леньки Козыря, тетка Алена. Усатый ефрейтор шел, опустив голову. На ходу он застегивал верхнюю пуговицу гимнастерки.

Узнав Ленькину мать, Петька отпрянул в сторону. Ему совсем не хотелось, чтобы в Разгуляевке знали о его появлении в лагере. Вряд ли, конечно, бабка Дарья сумела бы догадаться, зачем он сюда ходил, но осторожность не помешает.

— Товарищ старший лейтенант, — начал говорить Соколов, но офицер тут же его прервал.

— Жируете, — сказал он. — Пригрелись у бабских жоп. На фронте я бы тебя, знаешь что? Я бы тебя...

Соколов ничего не ответил, но посмотрел на офицера уже совсем другими глазами. Как будто прицелился.

— Под Кенигсберг бы вас всех, — сказал старший лейтенант. — Когда морская пехота на берег пошла.

— Но ты-то, старшой, тоже в конце концов с нами здесь оказался, — вдруг нагло усмехнулся Соколов. — А не под Кенигсбергом.

Старший лейтенант резко повернулся к нему. Его правая рука рванулась за спину к кобуре, но потом застыла. Розовый шрам на побелевшем лбу выделялся, как толстый дождевой червяк, слегка изогнутый посередине.

— Хорошо, — наконец сказал он. — Потом договорим.

Он посмотрел на тетку Алену.

— А ты-то чего? Со всей охраной уже переспала. Муж ведь, наверное, есть.

— Имеется, — протянула она, улыбаясь. — Вскороности ждем с войны.

— Воевал, значит, — покачал головой старший лейтенант. — Эх, ты...

— Да знаем, как он там воевал. До войны-то ни одной бабы в Разгуляевке нераспробованной не оставил. А на фронте этих немок-венгерок пруд пруди. И всем поди тоже мужик нужен. Война, товарищ старший лейтенант... Она, стерва, всем нам жизнь покалечила.

— Да нет, — офицер опять покачал головой. — Война тут ни при чем.

Он отвернулся от тетки Алены и вдруг заметил Петьку:

— А ты что здесь делаешь? Что у тебя в мешке?

Петька на мгновение растерялся, но через секунду нашел, что сказать.

— Я... соль собираю... для коз. Меня бабка отправила.

— Это наш, разгуляевский, — протянула тетка Алена. — Чижовский выблядок, безотцовщина.

Старший лейтенант быстро взглянул на нее, но ничего не сказал и снова повернулся к Петьке:

— Что, отца у тебя нет?

— Нет.

— А с кем живешь?

— С мамкой.

Офицер подумал о чем-то своем и нахмурил брови.

— Ладно, беги отсюда. Здесь тебе нельзя. У нас охраняемая территория.

Петька стянул мешок с бутылкой со спины, при-

жал его к животу и, опустив голову, пошел вдоль забора. Через пять минут он сидел на земле, приклонившись к горячим от солнца доскам, и думал о том, куда ему теперь девать этот спирт.

— Слышь, пацан, — раздался вдруг прямо у него за спиной голос ефрейтора Соколова. — Ты спирта принес?

Петька крутнулся на месте и увидел в щель между досок забора веселый зеленый глаз.

Глаз моргал и блестел на солнце.

— Принес, — Петька показал глазу мешок.

— Вот молодца! Ну, давай сюда. Вот сюда толкай. Здесь, кажись, дырка. Давай-давай.

Петька просунул мешок с бутылкой под забор и поднялся на ноги.

— Слышь, пацан, — в щели снова появился глаз. — А может, ты жрать хочешь? У нас тушенка американская есть.

У Петьки закружилась голова. Он хотел что-то сказать, но у него засипело в горле. Немного прокашлявшись, он со свистом втянул воздух и наконец ответил:

— Хочу.

* * *

Тушенки было много. Возле табурета, на который ефрейтор усадил Петьку, стояло банок десять или пятнадцать. Столько сразу Петька не видел еще никогда. Впрочем, и не сразу он столько не видел. Вообще не видел тушенки. Слишком мало прожил.

Ефрейтор подхватил одну банку и подбросил ее в воздух. Банка закрутилась у Петьки над головой, сверкая серебристым доньшком. Петька смотрел, как она вертится, а солнце, светившее в окно, мель-

кало на поверхности банки, и от этого по потолку бежали блики. Ефрейтор Соколов протянул руку, и банка послушно опустилась в его большую ладонь.

— Ты как будешь? — сказал он. — Кусками на хлеб или в тарелку? Я лично кусками на хлеб.

— И я, — сказал Петька, не отрывая глаз от банки с красными буквами, которых он не мог прочитать.

— Одобряю.

Ефрейтор вынул из чехла на поясе финский нож, одним круглым движением взрезал банку, большими ломтями накромсал черный хлеб, разложил на него кусками тушенку, облизнул лезвие ножа, подмигнул Петьке, аккуратно вытер нож о половину буханки хлеба, снова подмигнул Петьке, убрал нож в чехол, вынул из Петькиного мешка бутылку со спиртом, зубами вытащил пробку, понюхал, опять подмигнул, налил себе полстакана, поставил бутылку на стол, улыбнулся, поправил ремень и провел рукой над столом, приглашая:

— Ну́ чего? Давай за победу.

Пять минут в каптерке не раздавалось ни звука. Потом ефрейтор вставил пробку в бутылку и посмотрел на Петьку.

— Ну как?

— Ага, — сказал Петька.

Больше он пока сказать ничего не мог. Нужно было время, чтобы понять. Дня через два он бы, наверное, сумел ответить точнее, но сейчас, когда все только что произошло, он еще не мог разобраться в своих чувствах. Просто смел со стола крошки в ладонь, проглотил их и снова сказал:

— Ага.

— Ну так давай еще одну банку прикончим, — сказал ефрейтор. — Спирт вроде еще есть.

И в комнате снова стало тихо на десять минут. А может, на дольше. Или на меньше. Петьке было трудно сказать. Время из этой комнаты ускользнуло.

Но потом все же вернулось.

— Как там волчонок твой? Не подох?

— Не-а, — сказал Петька. — Я его с козами в сарай посадил.

— С козами? Ну, ты даешь! Они, наверное, того... С ума сходят.

— Я его молоком ихним пою. Пусть привыкает.

— Ну да, — усмехнулся ефрейтор. — Он привыкнет.

В этот момент дверь в каптерку открылась, и через порог резко шагнул старший лейтенант со шрамом. Входя, он стукнулся головой о притолоку.

Ефрейтор, почти не меняя положения тела, одним неуловимым движением убрал Петькину бутылку в карман галифе, а сам Петька сжался в комок и начал сползать с табурета.

Старший лейтенант машинально потер голову, скользнул взглядом по остаткам пиршества на столе и резко опустил вниз рубильник в железном ящике на стене около двери. Снаружи завывала сирена.

Повернувшись к Петьке, старший лейтенант на секунду задумался, а потом махнул ему рукой:

— Хорошо, что остался. Иди за мной. Быстро!

Петька вскочил из-за стола и бросился догонять вышедшего уже из каптерки старшего лейтенанта.

* * *

Снаружи его оглушила лагерная сирена. Со всех сторон к воротам бежали охранники. Выскочив за офицером из лагеря, Петька догадался, что все бегут в сторону шахты. Через пять минут они были уже там.

Народ толпился в том месте, где стояла какая-то огромная, как дом, шахтная машина. Старший лейтенант схватил Петьку за руку и начал пробиваться с ним через толпу.

— Дорогу! — повторял он. — Дайте дорогу!

Когда они оказались возле машины, лейтенант присел на корточки и потянул Петьку за руку вниз.

— Можешь туда пролезть? — показал он на узкую щель между землей и днищем машины.

Петька лег на землю и заглянул туда, куда показывал лейтенант. Из-под машины на Петьку дохнуло жаром.

— Могу, — сказал он. — А чего делать-то?

Лейтенант вскочил на ноги и завертел головой.

— Механик! Где механик? Давайте его сюда!

Через толпу протиснулся человек в заляпанном маслом комбинезоне.

— Объясни пацану, — сказал лейтенант. — Только быстро! Время уйдет!

— Значит, так, — заторопился механик. — Проползешь немного прямо, потом перевернешься на спину. Над тобой будет отверстие — лезь в него. Поднимешься почти до самого верха и увидишь рычаг. Просто потяни за него, а потом возвращайся.

— Все понял? — быстро спросил лейтенант.

— Ага, — сказал Петька и снова опустился на землю.

— Только поосторожней там.

— Я осторожно! — крикнул Петька уже из-под машины.

Ползти пришлось по теплым лужицам машинного масла. Сверху за спину цеплялись какие-то железяки. От духоты и угольной пыли невозможно было дышать. Машину, видимо, только что остановили, и где-то внутри нее, у Петьки над головой, еще раздавалось тяжелое гудение.

Когда Петька дополз до отверстия и повернулся на спину, чтобы залезть в него, ему вдруг показалось, что он слышит какой-то странный звук, совсем не связанный с этим горячим железом. Петька услышал человеческий плач. Сначала едва слышно, потом — все громче и громче. У Петьки по спине побежали мурашки, но он продолжал двигаться вверх. Карабкаясь по железной трубе, он цеплялся за скользкие от масла головки болтов, но в середине трубы вдруг сорвался и полетел вниз. Пытаясь удержаться, он упирался в стенки ладонями и сильно ободрал их об эти болты.

Чтобы унять боль, Петька на секунду зажал ладони под мышками, а потом снова полез вверх. Снаружи кто-то стукнул по машине чем-то тяжелым. «Дураки, что ли? — мелькнуло у него в голове. — А вдруг она заведется. Меня же тут на фиг раздавит». Петька вдруг вспомнил, как весной, перед самой победой, он сел на минутку рядом с Танькой Захаровой, и как у него от этого захватило дух, а Анна Николаевна стояла у доски и громко читала из книжки: «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Летят самолеты — привет Мальчишу!» Тогда Петьке показалось, что пароходы — какому-то пацану, это она загнула, но Анна Николаевна у доски вытирала слезы.

Теперь он лез по узкой трубе внутри огромной горной машины и цедил сквозь сжатые зубы: «Плывут пароходы — кабздец Мальчишу! Летят самолеты — кабздец Мальчишу!»

Добравшись до рычага, о котором говорил механик, он изо всех сил потянул за него, а потом расслабил ноги. Удара о землю он почти не почувствовал — тело затекло, как деревянное.

Когда Петька выбрался из-под машины, его ослепило яркое солнце. Глаза уже успели привыкнуть к полутьме.

— Вон там он! — кричали вокруг. — Вытащили! Давайте его сюда! Где доктор?

Проморгавшись, Петька увидел, что вся толпа переместилась на другую сторону камнедробилки. Рядом с ним не было никого. Старший лейтенант тоже куда-то исчез.

— Врача давайте! — крикнул кто-то опять с той стороны.

Петька поднялся с земли, посмотрел на ободранные в кровь руки, на перепачканную в машинном масле рубаху и на штаны.

«Бабка Дарья убьет», — подумал он.

Плюнув на левую ладонь, Петька потер ее, зашипел от боли и тоже пошел туда, где толпились все остальные.

На земле рядом с машиной лежал охранник. Его правая рука ниже локтя была так измочалена, что невозможно было понять, сколько на ней осталось пальцев и остались ли они вообще. Кровь из руки бежала прямо на землю, смешиваясь с лужицами машинного масла.

— Ой, мамочки, — повторял охранник, пытаясь

другой рукой потрогать кровавое месиво. — Ой, мамочки.

— Да приведите же доктора! — закричал старший лейтенант, который стоял прямо напротив Петьки.

— Нет его, — ответили откуда-то сзади. — В райцентр уехал. Сказал, раньше чем через неделю не ждать.

Все замолчали и, как зачарованные, продолжали стоять и смотреть на лежавшего на земле охранника. Тот перестал трогать изуродованную руку, всхлипнул и вдруг попытался встать.

Из толпы к нему бросился пожилой японец. Кто-то из солдат схватил его за плечо, но старший лейтенант быстро сказал:

— Отставить!

Японец присел на корточки перед раненым, что-то забормотал и силой уложил его обратно на землю. Склонившись над раной, он зачем-то понюхал ее, потом быстро выпрямился и отрывисто сказал:

— Вода! Бинты! Спирт!

— Быстро за спиртом! — скомандовал старший лейтенант. — Воды несите!

В этот момент подал голос ефрейтор Соколов:

— Товарищ старший лейтенант... У меня тут... Есть немного...

Он вынул из кармана галифе Петькину бутылку и протянул ее японцу, который продолжал сидеть на корточках и смотреть снизу вверх на русских солдат.

Старший лейтенант задержал взгляд на ефрейторе, потом кивнул:

— Хорошо.

Через пятнадцать минут охранника унесли в ла-

герь. Рука его была аккуратно перетянута бинтами, под которые японец положил много каких-то трав. Глядя на то, как он поливает их из бутылки, Петька подумал, что дед Артем, наверное, сильно бы удивился, узнав, на что пошел его спирт. Вряд ли он мог представить себе такое, когда лежал под утро в степи и орал свои частушки, чтобы не слышать стрельбу пограничников.

— Ну и вывозился же ты, — сказал старший лейтенант, глядя на Петьку, после того как все разошлись. — Дома-то попадет?

— Наверное, — Петька пожал плечами. — Только мне по фигу. Я привык.

— Пошли в казарму. Придумаем что-нибудь. Тебя как зовут?

— Петька.

— А меня — старший лейтенант Одинцов. — Он протянул руку. — Ты молодец, Петька. Если бы не ты, мы бы его из этой камнедробилки не вытащили.

* * *

После переполоха у шахтной машины всех пленных построили в колонну. Хиротаро привычно встал рядом с хромым от рождения Масахиро, чтобы поддерживать его во время ходьбы, но тот вдруг оттолкнул его.

— Помогай своим русским, — пробормотал он сиплым от злости голосом и отвернулся.

— Разговорчики! — закричал стоявший рядом охранник. — Чего встали, голуби? А ну, пошли! Шире шаг, захватнички, вашу мать!

Колонна шелохнулась на месте и, поднимая пыль, нестройно двинулась к лагерю. Хиротаро посмотрел на свои испачканные в чужой крови руки

и вспомнил неизвестно откуда взявшегося на шахте мальчишку. На вид тот был двумя-тремя годами младше его второго сына Синтаро.

Хиротаро поскреб пальцем ладонь, оттирая засохшую кровь, и попытался представить своих подросших без него сыновей. Азуми, наверное, уже совсем большой. А Синтаро...

— Шире шаг! — донеслось от головы колонны.

Хиротаро пожалел о том, что не обработал пораженных рук тому чумазому мальчугану. Сколько бы ни злился на него Масахирос, врачебный долг прежде всего.

Щурясь от пыли, поднятой едва бредущими пленными, он вспоминал побелевшее лицо искалеченного машиной охранника. В какой-то момент тот, очевидно, подумал, что умирает, и еле слышно прошептал: «Мама». Но Хиротаро нисколько не тронул этот шепот. Он был занят другим. Вид крови снова навел его на мысль о харакири. Если бы не хромой Масахирос и чувство долга перед его отцом, господином Ивая, он бы уже давно заточил ложку и разрезал себе живот.

— Подтянись! — закричал идущий рядом охранник.

Хиротаро оглянулся по сторонам и увидел, что колонна движется мимо лагеря. Пленных вели на лесоповал.

— Живей, гады! — продолжал кричать охранник. — Растянулись, вашу мать!

Хиротаро понял, что не сможет сегодня уже ничего записать в свою тетрадку. Лес обычно валили допоздна. Стараясь не сбиться с общего шага, он снова представил себе сыновей и мысленно обратился к ним с продолжением своего рассказа.

На этот раз он решил поведать им об истории ха-ракири в своем роду. Записать рассказ на бумагу он собирался потом, когда будет возможность.

«Беда постигла наш род весной 19-го года Канъ-эй, что соответствует 1642 году христианского летосчисления. Последователей европейской религии к этому времени даже в южных провинциях оставалось немного. Время от времени крещеные самураи давали войскам Токугавы отпор, однако все христианские мятежи подавлялись крайне жестоко.

Когда у нас в Нагасаки началось очередное восстание христиан, в залив Арикэ вошли голландские корабли. Протестанты давно уже искали способ остановить продвижение католической веры в Японию.

Голландцы открыли огонь по мятежной крепости Симабара, и очень скоро войска сегуната смогли пойти на штурм. Удачная бомбардировка с моря заставила сегуна Токугава на некоторое время усомниться в правильности своего решения не строить больших кораблей, но он быстро утешился, наблюдая за казнями нагоевших ему христиан. Великий Тоетоми, который был предшественником правителей из дома Токугава, требовал, чтобы в качестве доказательств очередной победы в Корее ему присылали в бочках пересыпанные солью носы и уши корейских солдат. Нынешний же сегун не ленился сам появляться после битвы на поле сражения и своими глазами убеждаться в усердии верных ему людей.

Оставшихся в живых защитников крепости Симабара закапывали живьем в землю, распинали, ру-

били на части, бросали в кипящие источники, а Токугава без устали награждал наиболее отличившихся своей жестокостью вассалов. Среди тех, кого он так и не наградил, оказался внук нашего досточтимого предка Миянага Митинобу — отважный самурай Миянага Итигзо. После штурма крепости, во время которого он первым поднялся на стену, а потом, сея вокруг себя смерть, как молния ворвался во внутренний двор, Итигзо не стал дожидаться начала казней, а вернулся к семье в Нагасаки. Быть может, это сошло бы ему с рук, если бы перед отъездом он справился со своей гордыней и не сказал одному из пытавшихся остановить его самураев, что воины из рода Миянага убивают врага только в бою.

Неизвестно каким образом эти слова стали известны самому Токугава, однако через три года, очевидно, именно они послужили причиной позору, навсегда покрывшему темным пятном наш род.

Весной 18-го года Канъэй дайме, которому служил отважный Миянага Итигзо, слег в тяжелой болезни и вот-вот должен был умереть. Преданные ему самураи один за другим начали просить разрешения уйти вослед своему господину. Дайме не отказал никому.

Кроме одного человека.

«Послужи моему сыну, — ответил он бледному от унижения Итигзо. — Послужи ему так же хорошо, как служил мне. Ты — великий воин. Мне нечего больше тебе сказать».

В первую же неделю после смерти дайме девятнадцать его самураев совершили обряд оибара. Это происходило в кругу самых близких родственников и друзей, однако подробности церемонии

мгновенно становились известны всем и каждому. На улицах Нагасаки только и говорили, что об этих доблестных воинах и кто из них что изрек перед смертью, и кто как держался, отправляясь следом за господином.

Разумеется, Миянага Итидзо слышал все эти разговоры. Даже псарь его повелителя получил разрешение на сэппуку. Отправившись умирать в храм на горе, он взял с собой любимого пса и предложил ему выбор — уйти и стать бродячим животным или умереть вместе с ним. Пес понюхал два рисовых колобка, которые псарь положил перед ним на дороге, и, не тронув ни одного, сел на обочине. Тронутый его благородством хозяин зарубил пса одним ударом, а потом продолжил свой путь.

Вскоре Итидзо уже просто не мог появляться на людях. Стоило ему войти в самурайское собрание, как за его спиной обязательно кто-нибудь насмешливо говорил: «Хоть бы тыкву разрезал, намазав маслом, раз не смог умереть, как самурай». И кто-то другой тут же подхватывал: «Тыкву нынче найти нелегко. Слишком много развелось трусов».

Терпеть все эти оскорбления стоило Итидзо огромных сил. Однако поделаться он ничего не мог. Он и сам точно так же бы издевался над любым негодяем, которого так страшно опозорил его собственный господин.

Разумеется, он думал о харакири. Но неразрешенный обряд для самурая — это собачья смерть. Он знал, что если разрежет себе живот без одобрения дайме, то обречет всю свою семью на самое бесславное существование.

И тем не менее переносить позор в одиночестве было еще сложнее. Поэтому однажды вечером он

собрал у себя дома своих сыновей, начертил пальцем на полу перед собой изречение «фу-дзи», означающее «двух путей не дано», и объявил, что покажет сейчас, как надо разрезать тыкву. С этими словами Итидзо вынул свой малый самурайский меч, приспустил кимоно, обнажив верхнюю часть тела, и сделал глубокий продольный разрез живота слева направо, стараясь перерезать мышцы и кишки по всей длине.

Самураев готовили к этому ритуалу с раннего детства. Мальчики получали от отца меч для ха-ракири уже в возрасте шести-семи лет. Поэтому рука Итидзо уверенно выполнила то, чего он от нее хотел...»

— А ну, встал! — закричал неожиданно появившийся рядом охранник. — Расселся тут! Уснул, что ли?

— Устара цуть-цуть, — сказал Хиротаро, с заметным трудом поднимаясь на ноги и опираясь на дерево, у которого он в изнеможении присел буквально за минуту до этого.

— Устал он! Работай давай! Все пилят, а он сидит! Тоже мне — самурай недорезанный.

Хиротаро подобрал пилу и неверным шагом направился к только что рухнувшему стволу старой сосны. Через минуту он снова втянулся в работу, и мысли ритмично потекли своей чередой. Ему хотелось закончить рассказ до возвращения в лагерь.

«Собравшись с покидавшими его силами и стараясь сохранить на лице достойное выражение, Итидзо погрузил вакидзаси в себя чуть ниже диафрагмы и сделал вертикальный разрез до пупка.

Когда меч дошел до горизонтальной черты, Итигзо неожиданно покачнулся и начал заваливаться на спину. Младший сын Кихэй вскочил на ноги и бросился к отцу, чтобы поддержать его, но Итигзо нашел в себе силы оттолкнуть сына левой рукой. Кихэй отступил в сторону, а Итигзо оскалится и поднес вакигзаси к своему горлу. Однако в этот момент силы все же оставили его, и он выронил меч из окровавленной руки. Голова его опустилась на грудь, и отважный самурай наконец замер. В течение нескольких секунд его сыновья были уверены, что он мертв, однако Итигзо вдруг зашевелился, с трудом поднял голову и настойчиво посмотрел на старшего сына Итоку. Губы его задвигались, но никто из сыновей не мог разобрать ни слова. И все же Итоку знал, о чем просит его отец.

Оттолкнув попытавшегося остановить его среднего брата, он поднялся с парадной циновки, подошел к сидящему у раздвижной двери отцу, встал позади него и вынул свой боевой меч. Итигзо тем временем попытался еще раз начертить на полу перед собой изречение «фу-гзи». Нарисовав окровавленным пальцем первый иероглиф, он снова замер. Итоку с поднятым над головой мечом тоже застыл как изваяние. Ему казалось, что отец расстроится, если не допишет свое любимое изречение. Ожидая, пока Итигзо придет в себя, Итоку изо всех сил старался прогнать со своего лица выражение печали. Если бы отец заметил его, он воспринял бы это как отказ, причиной которого могло быть только недостаточное искусство владения мечом. Для воина это было бы бесчестьем.

Наконец Итигзо пришел в себя и начертал последний иероглиф. Итоку вздрогнул и подумал о

том, что отрубленная голова ни в коем случае не должна покатиться по полу, иначе это будет позор для него, как для кайсяку, избранного помощником при совершении харакири. Он слишком любил своего отца, чтобы теперь так погведсти его.

Итоку размахнулся еще раз и мысленно провел в воздухе плавную дугу, по которой должен был скользнуть его меч, прежде чем лезвие коснется безвольно поникшей шеи отца. Лучше всего было бы не отрубать голову до конца, а сделать так, чтобы она повисла на последнем лоскуте кожи, но такое было пог силу лишь настоящему кайсяку. Старший сын Итидзо впервые в своей жизни выполнял эту роль.

Когда Итоку размахнулся в третий раз и уже был готов нанести разящий удар, со своей циновки вдруг вскочил его брат Тасаэмон. Он что-то закричал и бросился к Итоку. Тот от неожиданности отступил на один шаг. Лезвие меча из-за этого движения проткнуло бумажную загородку у него за спиной и замерло рядом с лицом его матери, неподвижно стоявшей в соседней комнате. Тасаэмон упал на колени перед отцом и начал лихорадочно отстегивать его катану.

В одно мгновение покрывшись холодным потом, Итоку понял, что едва не совершил роковую ошибку. Ни при каких обстоятельствах кайсяку не должен пользоваться своим мечом. В случае, если удар окажется неудачным, вина за это ложится на меч владельца.

Взяв из рук брата катану отца, Итоку решительно размахнулся, и в следующую секунду голова Итидзо аккуратно, как в чашу, упала в его собст-

венные колени. За бумажной стеной прошелестел легкий вздох.

Так окончил свой путь наш предок доблестный самурай Миянага Итигзо, решивший разделить свой нежданый позор с теми, кого он любил.

ГЛАВА 5

— Слышь, тебя дома-то не потеряют? — спросил Одинцов у Петьки. — Поздно уже.

— Да нет, — протянул тот. — Им без разницы. А на какой высоте у «тридцатьчетверки» ствол?

Старший лейтенант Одинцов был человеком высокого роста. Ему даже не пришлось вставать на носочки. Просто поднял руку и показал.

— А тебе зачем?

— Надо, — ответил Петька, и они продолжили разговор.

Руки у старшего лейтенанта были длинные, и это не раз выручало его в детском доме.

— Они близко даже подойти не могли, — говорил он, показывая, как надо бить других беспризорников. — Вот так и вот так. А потом еще левой. Смотри, как должна двигаться рука. Смотри, вот еще один раз. Теперь медленно.

Петька ждал, пока высохнет постиранная рубашка, опять ел тушенку и смотрел, как старший лейтенант показывает ему детдомовские удары.

— Нормально, — говорил он. — А вот так я умею.

— Умеешь? — недоверчиво смотрел на него Одинцов. — А ну, покажи.

Петька отодвигал свою банку, вставал из-за стола и бил старшего лейтенанта в живот.

— А чего ты в живот-то? — удивлялся старший лейтенант.

— Это у вас там живот. У нормального пацана там рожа.

— Понятно, — говорил Одинцов, и они продолжали разговаривать.

Старший лейтенант Одинцов попал в детский дом с паровоза. Ему было тогда десять лет, и он не знал, куда делись его родители. На узловой станции, где он жил, было много таких пацанов, поэтому однажды он решил оттуда уехать. Драться ему надоело, а жратвы все равно никогда не хватало на всех.

Старший лейтенант спрятался в том месте, где паровозы набирают воду, и когда машинист прыгнул на землю, он тихонько залез в его будку и поехал. Уехать на паровозе было нетрудно, потому что он до этого видел, за какие ручки дергают машинисты, чтобы поезд пошел.

Поэтому, когда его привезли в детский дом, все удивились — как он умудрился уехать на паровозе один. И директор детского дома сказал, что у него теперь фамилия пусть будет Одинцов. Потому что все равно у него никакой фамилии до этого не было.

— А после детского дома? — сказал Петька. — Что было потом?

Старший лейтенант с Петькой курили настоящие папиросы «Казбек», и Петька слушал про то, как старший лейтенант попал в военное училище. Правда, папиросы из пачки Петька курил первый раз в жизни, поэтому кусок истории между детским домом и военным училищем он пропустил. Сначала немного расстроился, но потом решил, что еще спросит. Не последний раз здесь сидит.

— Смотри сюда, — говорил Одинцов. — Я тебя научу курить по-блатному. Вот так, видишь?

Он приклеивал папиросу к кончику языка и быстро перебрасывал ее из одного угла рта в другой. Щурился от дыма, а потом втягивал окурок целиком в рот, плотно закрывая губы и выпучивая глаза.

— Видал? — говорил он, вынимая дымящуюся папиросу изо рта. — Я даже под воду нырнуть так могу. Закурил, нырнул, вылез и дальше куришь.

— Нормально, — кивал головой Петька. — А я вот так вот могу.

И он показывал фокус, которому его научил дядька Юрка, перед тем как уйти на фронт.

Петька затягивался, зажимал себе ладонями нос и рот, и через секунду из левого уха у него начинала струиться тонкая полоска дыма.

— Здорово, — говорил старший лейтенант.

Воодушевленный похвалой Петька говорил, что знает еще один фокус, но не может его показать.

— Почему? — спрашивал старший лейтенант.

— Ну, не могу я. Он некультурный. Вам показать не могу.

— Да ладно тебе, брось. Давай показывай.

— Нет, не могу. Вы потом обижаться будете.

Но Одинцов настаивал, и тогда Петька просто рассказал ему, что сначала берется незажженная папироса, а потом надо попросить кого-нибудь открыть рот и закрыть глаза. И когда рот будет открыт, а глаза закрыты, надо вставить папиросу в этот открытый рот и дунуть в нее изо всех сил, и получится очень смешно.

— Только я из папиросы не пробовал. У нас одни самокрутки. Из них легче табак выдувать. Не так

плотно набиты. Хотя потом все равно его жалко. Фиг его достанешь, этот табак.

— Ну и какой это фокус? — говорил Одинцов. — Нет, это совсем не фокус.

И Петька согласно кивал головой. Сидя в комнате старшего лейтенанта — там, где открытая банка тушенки на столе, и чей-то голос за окном: «Взвод, равнение на середину!», и портупея с пистолетом «ТТ» прямо перед тобой, только протяни руку, — Петька неожиданно для себя понимал, что это и правда никакой, на фиг, не фокус.

А смысл? Дуть кому-то табаком в рот, когда вместо этого можно просто сидеть и слушать товарища старшего лейтенанта? И курить настоящий «Казбек». Тем более что никому, кроме Валерки, дуть в рот все равно так и не приходилось. А сам Петька отлично помнил, как долго плевался, после того как ему эту штуку показал один проезжий шофер. Но ему до сегодняшнего дня почему-то казалось, что это хороший смешной фокус. Наверное, потому что у шофера была золотая фикса и через дырку в замызганном тельнике выглядывал профиль товарища Сталина. Водила тогда хохотал, сверкал фиксой на солнце, а Петька выплевывал горький табак и думал, что скоро сам заведет себе такую наконку — надо только портрет в газете лучше найти.

— Ты чего жрать перестал? А ну, давай лопай, — говорил старший лейтенант, и Петька снова начал есть.

В военном училище старшему лейтенанту Одинцову в самом начале особенно понравилась еда.

— Вот так, с верхом, кашу ложили, — говорил он

и делал над пустой тарелкой круглое движение рукой, в которой дымилась зажженная папироса.

Верхняя точка его плавного жеста находилась сантиметрах в пятнадцати от дна тарелки, и это заставляло Петьку недоверчиво улыбаться, жмурясь от мысли, что, во-первых, неужели такое возможно, а во-вторых, что он сам очень правильно выбрал свой жизненный путь.

Потому что Петька решил стать старшим лейтенантом Одинцовым. А потом капитаном, если получится.

— Пшеночка, — уточнял Одинцов. — И еще можно было добавки просить.

Старший лейтенант затягивался «Казбеком», а Петька понимающе кивал в ответ. Он знал, что это было чистой правдой. Не могло ею не быть. Иначе — во что тогда вообще можно было бы верить?

На фронте старшего лейтенанта кормили уже не так хорошо. Когда он получил звание и попал в войска, наши постоянно шли в наступление. Тыл отставал, и полевые кухни не всегда находили расположение своей части.

— А мы к немцам лазили, чтобы пожрать.

— Как это? — глаза у Петьки делались большие и круглые.

— Да вот так. У них еду привозили всегда в одно время. Даже если у нас артподготовка была. Мы проверяли. Строго по часам. Строго-резко.

— Как это «строго-резко»?

— У моего ротного такая поговорка была. Перед атакой ее всегда говорил. Сейчас, говорит, поднимем, иху мать, и — вперед, строго-резко!

— А что это значило?

Одинцов улыбался, гасил папиросу и смотрел в окно.

— Да я не знаю, — говорил он. — Наверное, что застрелит.

— Кого?

— Ну, ясное дело — кого.

— А-а, — говорил Петька. — Тогда понятно. Строго-резко. Нормально.

Он несколько раз пробовал новое выражение на язык, бормоча его на разные лады, а старший лейтенант смотрел в окно и уже почему-то не улыбался.

— А как вы у немцев забирали жратву? — наконец вспоминал Петька.

— Да мы ее не забирали. Прямо у них ели. Тяжело было оттуда тащить.

— Ни фиги себе! А как?

— Подползали через нейтралку прямо к обеду и забрасывали гранатами. Они думали, что мы в атаку пошли, и бросали окопы, а нам просто хотелось пожрать. Через полчаса они возвращались, но мы к тому времени успевали уйти. Хлеб у них был очень вкусный. В офицерских блиндажах иногда даже белый. Знаешь, еще корочка такая хрустит.

А в Пруссии роту старшего лейтенанта Одинцова прикомандировали к морской пехоте.

— Ну эти точно, как черти, — говорил он, закатывая рукав и показывая Петьке синий вытатуированный якорь. — Даже не пригибаются, когда в атаку идут. И каски снимают, чтобы немцы видели бескозырки. Ленточки на шее завяжут — и вперед, в полный рост.

— Строго-резко?

— Ну, да. У нас, говорят, на море, окопов нету. Ну и убивали их пачками. Но когда эти братишки

добегали до немецких окопов, туда потом лучше не смотреть.

Петька, затаив дыхание, не сводил глаз с Одинцова.

— А чо?

— Ничего. Голыми руками фрицев на части рвали. Хуже их — только штрафники. После тех вообще пленных не бывает. В чужой окоп после их атаки спрыгнул — как на бойню попал.

Петька смотрел на Одинцова, на его руки, потом на шрам у него на лбу.

— А это у вас откуда?

— Десант под Кенигсбергом, — старший лейтенант снова закуривал и, только спустя минуту, продолжал. — Высадились на берег, и сразу накрыло. Мина, когда летит, знаешь, так неприятно воеет.

Одинцов делал ладонь трубочкой и начинал в нее как-то по-особому дуть. То ли от этого страшного свиста, то ли от сквозняка из открытой форточки у Петьки по голому телу бежали мурашки. Он зачарованно брал новую папиросу, прикуривал ее от предыдущей и продолжал смотреть огромными глазами на старшего лейтенанта.

— Ну, чего? — наконец спрашивал тот. — Играет очко?

— Ага, — признавался Петька. — Жутковато маленько.

— Они специально в стабилизатор эту свистелку ставят, — продолжал Одинцов. — В авиабомбах такие же. Психическое воздействие. Только из самолета они дольше летят. А когда минометы бьют, они быстрее долетают. Сначала такой чпок, потом свист, и вот она уже здесь, родная.

Старший лейтенант затягивался и качал головой.

— А мы даже на берег выползти не смогли. Лежим прямо в воде, и когда сзади большая волна, то просто воздух побольше заранее набираем. Потому что вдруг за ней будет еще одна. А холод такой, что даже дышать невозможно. — Одинцов на мгновение замолчал. — Но потом сзади братишки пошли. Они на торпедных катерах в бухту входили. Из турельных пулеметов прямо через наши головы лупили по минометам на берегу. Потом просто спрыгнули с катеров и вперед ушли. Смеялись над нами. Говорили — чего это вы? Не купальный сезон.

Петька слушал старшего лейтенанта и представлял себе этих огромных моряков, прыгавших в воду — как они поглубже натягивают свои бескозырки, снимают автоматы с плеча, и как вода вскипает под катерами и летит брызгами им в лицо, оседая крупными каплями на грубых бушлатах.

— А какое там море? — спрашивал он. — Как оно называется?

— Балтийское, — отвечал старший лейтенант и некоторое время просто молчал, очевидно, вспоминая тот песок, то небо и то море. — А потом, когда поднялись, весь берег уже был в черных бушлатах. Как стая больших птиц. Только мертвые. Улеглись на песок, и крылья так, знаешь... как будто раскинули. Они ведь широкие у них, эти бушлаты... А потом моя прилетела. Я даже видел, как она летит. Метрах в двух от меня в песок воткнулась. Если бы не братишка, который уже до этого там лежал, меня бы, как сито, осколками насквозь побил. Но она, сука, сначала взвизгнула и его на части

разорвала, а потом уже, что осталось там от нее, — до меня долетело... Вот так, брат... Такая история.

Мина, которая взорвалась рядом со старшим лейтенантом, ударила одним осколком его в лоб, и от этого у него получилась контузия. Врачи сказали, что он должен сойти с ума, но старший лейтенант Одинцов не сошел. Вначале, правда, не сразу мог сложить семь и двенадцать, но потом научился. Сам не заметил как.

— Не знаю, почему им нравилось именно семь и двенадцать. А у меня, как назло, все остальные цифры друг с другом соединялись легко. Я, знаешь, представлял, как будто они обнимают друг друга, и потом целуются, и потом у них это... ну, в общем... рождался ребенок. Я смотрел на него, и вот он — ответ. Но семь и двенадцать — ну ни в какую! Ты знаешь, зло такое брало.

Старшего лейтенанта выписали из госпиталя, так и не дождавшись, когда он сложит двенадцать и семь. Но он был упрямый, и однажды, проворочавшись в постели всю ночь, вышел из казармы и написал известкой прямо на зеленой стене: « $7 + 12 = 19$ ». А чуть ниже дописал: «Пошли в жопу!»

— Я же детдомовский. У нас там упертые были все. А известка в бочке рядом с казармой стояла. На следующий день всю стену заставили перекрашивать. Но мне было все равно. Я уже знал — сколько это будет. Даже не надо было на свою надпись известкой смотреть.

А со всем остальным у старшего лейтенанта было в порядке. Комиссия признала его вменяемым, но со службы решили комиссовать.

— На то они и комиссия... А мне куда? В детдом, что ли, к себе возвращаться? Профессии никакой.

Я думаю — сейчас война закончится, мужики с фронта попрут. Вообще тогда не найду никакой работы. Кому я нужен? Взял и написал маршалу Жукову письмо.

Петькины глаза при словах «маршалу Жукову» стали совсем круглые, и он, в общем-то, даже перестал дышать.

— Не знаю — читал он или не читал. Но из армии вроде бы не поперли. Сижу теперь здесь. Кантуюсь...

Старший лейтенант замолчал и стал смотреть в окно. Потом усмехнулся.

— Кстати, насчет «кантуюсь»... Мне потом в госпитале один политрук сказал, тоже контуженый, что в Кенигсберге немецкий философ похоронен, по фамилии Кант... В честь него, наверное, кант у фуражки называется... Так вот этот самый философ говорил, что счастливым стать очень легко... Надо только хотеть поменьше.

Одинцов продолжал смотреть в окно, за которым охранники подталкивали прикладами бредущих с лесоповала пленных.

— А может, и наврал политрук. Я не знаю. Я до Кенигсберга так и не дошел. Сам этого Канта не видел, врать не буду.

Они сидели молча несколько минут, курили в обступившей их темноте, смотрели в окно и как будто ждали чего-то.

Наконец старший лейтенант глубоко вздохнул и повернулся темным на фоне окна лицом к Петьке.

— Слушай, так ты говоришь — у тебя отца нет? А куда он делся-то? Расскажи.

* * *

Вопрос старшего лейтенанта Одинцова если и встревожил Петьку, то лишь на секунду — на такое же примерно мгновение, какое необходимо паутинке с летящим на ней паучком, чтобы скользнуть в скучный ветреный день ближе к осени по стеклу и тут же исчезнуть, не оставив по себе никакой памяти.

Кроме обидного прозвища «выблядок», разумеется.

Но это словечко Петька глубоко в своем сердце относил только к себе. Делить его с кем бы то ни было он не привык. Оно было такой же неотъемлемой его частью, как его собственные ободранные коленки, как шершавые пятки или как дырка от выбитого Ленькой Козырем зуба, и никакие сгинувшие в безвестность отцы в этом смысле его не волновали.

Нет, уснуть в ту ночь ему было трудно из-за другого.

Прилетев поздно вечером как на крыльях из лагеря домой, Петька повертелся во дворе у бабки Дарьи, отказался, к ее полнейшему изумлению, от картошки с луком, юркнул на сеновал, тут же соскочил обратно и побежал домой к мамке, но даже и там долго еще не мог прийти в себя после всего, что произошло с ним в лагере у «япошек».

Он тарацился с печки на мамку, давно уже сидевшую перед зеркалом, блестел глазами, чесался и даже не приставал к ней со своим обычным нытьем: «Ну хватит, ну чего ты уселась опять?»

Петька вспоминал ефрейтора Соколова и его усы. Он вспоминал его широкий нож и надежную руку, в которую банка тушенки ложилась как вли-

тая, как будто всегда и была там. Петька тарашил глаза на закопченное стекло мамкиной керосиновой лампы и в неверном дрожании огонька видел, как идет в атаку морская пехота, и даже слышал плеск волн и гулкие удары мин по песку, и повторял еле слышно красивое и новое для него слово: «Кенигсберг, Кенигсберг», а потом — «черти полосатые», и улыбался неизвестно чему.

Теперь даже тетка Алена казалась ему гораздо более важной теткой, потому что она явно была там своей — среди охранников в лагере, среди этих удивительных, прекрасных людей, и Петька уже был готов простить ей даже то, что она была Ленкиной мамкой. Теперь это было почти неважно.

Он вспоминал камнедробилку и странного японца, которому понадобился его спирт. Он вспоминал старшего лейтенанта Одинцова и жмурился, как кот на сметану, при мысли о том, какие у него теперь есть друзья, и что Ленка Козырь должен просто сдохнуть от зависти, помереть в страшных корчах, потому что вот даже тетка Алена не может этого придурка туда привести, хоть ее там все знают, а Петьке вход на охраняемую территорию теперь настезь открыт.

Наверное.

Он засопел, неожиданно засомневавшись, завертел головой, стукнул в стену твердой, как деревяшка, пяткой, но тут же успокоился и снова затих.

Не может быть не открыт. Потому что лейтенант Одинцов придет и просто им всем прикажет. И Петьку они впустят как миленькие. И автомат дадут подержать.

Он перебирал свои воспоминания, как удивительные небывалые сокровища, и все никак не мог

заснуть, таращась на прямую, как палка, мамкину спину, на ее пустые глаза в зеркале, на сухие желтые руки, которые она, словно чужие ненужные вещи, оставила перед собой на столе.

* * *

В это же время Хиротаро у себя в бараке дописывал историю гибели своего рода. Закончив переносить в тетрадь рассказ о самовольном харакири дальнего предка, он в полном изнеможении закрыл ее и откинулся на тюфяк, набитый подгнившей соломой. Свежую траву охранники почему-то не разрешали приносить в лагерь, и все пленные спали на гнилых тюфяках.

Хиротаро прислушался к дыханию своих соседей. Младший унтер-офицер Марута, спавший слева, медленно умирал от туберкулеза. Дыхание у него было жестким и прерывистым.

Хиротаро закрыл глаза, и перед ним тут же поплыли бесконечные сосновые бревна, которые он пилил весь вечер. Голова у него закружилась, к горлу подступил комок тошноты, и даже нары под ним как будто слегка закачались. Чтобы избавиться от этого ощущения, он снова открыл тетрадку, немного помедлил и, преодолевая усталость, продолжил писать:

«Жена Миянага Итидзо, успевшая родить и воспитать ему троих сыновей, ушла следом за ним через два дня, совершив, как ей и полагалось, обряд дзигай. В присутствии четырех служанок она перерезала себе горло долгие годы хранившимся специально для этой цели кинжалом кайкэн, который самураи дарили своим невестам на свадьбу. Перег

обрядом служанки помогли перевязать ей колени, чтобы, испустив дух, она упала в целомудренной позе, и никто даже случайно не оказался бы оскорблен.

Молодой гайме принял милостивое решение не наказывать семью Миянага за самовольное харикири Итигзо, однако разделил все его имущество между тремя сыновьями поровну. Для Итоку это оказалось страшным ударом, поскольку на правах старшего сына он должен был унаследовать основную часть имения своего отца. И дело было вовсе не в уязвленном самолюбии. Все в Нагасаки понимали, что род Миянага вскоре будет рассеян. Даже олень стадо распадается без вожака.

Дождавшись годовщины со дня смерти старого гайме, Итоку явился в храм на поминальную службу и на глазах у всех отрезал там свою самурайскую косичку. Гайме приказал схватить его за это оскорбление, и через неделю Итоку задушили поясом от его же собственного кимоно.

Собачья смерть старшего брата вынудила Тасаэмона и Кихэя действовать быстро. Они собрали всех своих слуг с домочадцами, заперлись в доме убитого Итоку и приготовились к осаде. Самураи гайме не заставили себя ждать. Штурм был назначен уже на вторую ночь. Молодой гайме торопился, поскольку готовился к встрече важных чиновников из столицы. Бунтовщики в Нагасаки в такой момент были ему совсем не нужны.

Вечером перед штурмом в осажденный дом пробралась соседка из дома напротив. Ее семья дружила с нашим родом уже много лет, поэтому она хотела хоть как-то помочь. Выслушав ее, Тасаэмон передал ей двухлетнего сына, задушенного Итоку.

«Теперь он будет старшим в нашем роду. Спрячь

его. Богиня Аматаэрасу не забудет твоей доброты».

Когда соседка с мальчиком на руках ушла, все, кто был в доме, собрались на прощальный пир. Ужинали недолго и в полном молчании. Затем старики и женщины покончили с собой, а детей зарезали те, кто оставался сражаться. Тела закопали в огромной яме позади дома. Под утро начался штурм.

Особую доблесть старались проявить самураи, не отличившиеся при осаде крепости Симабара. Для них это был шанс доказать свою преданность повелителю.

К полудню от славного некогда рога Миянага остались догорающие руины и маленький мальчик в доме напротив. Соседи еще какое-то время боялись показываться на улице, но к вечеру понемногу начали выходить из своих домов. Дайме принесли обгоревшие головы братьев Миянага и доложили, что в бою потеряно четырнадцать самураев. Особо отличились Ивая Масахиро и Мунаката Китидаю...»

Неожиданно Хиротаро ощутил на себе чей-то взгляд и резко захлопнул тетрадку. Свесив голову в проход между нарами, на него смотрел Масахиро.

— Не спится? — переведя замершее от испуга дыхание, спросил его Хиротаро.

Тот ничего не ответил и продолжал смотреть на него тяжелым взглядом.

— Все еще злишься из-за того, что я помог русскому?

— Откуда у тебя вторая тетрадь? — вместо ответа сипло спросил Масахиро. — В карцер опять захотел?

— Тише. Я прошу тебя, говори потише. Разбудишь кого-нибудь.

— Ты доиграешься со своими тетрадками. Подведешь нас всех.

Хиротаро улыбнулся и спрятал тетрадь под тюфяк.

— Не доиграюсь, если ты про нее никому не скажешь.

Голова Масахино исчезла, и минуту они лежали в полной тишине, прислушиваясь друг к другу.

— Эй, — тихонько позвал Хиротаро. — Ты уже спишь?

— Нет.

— Я тут подумал... Что, если Япония выйдет теперь из войны? Может, тогда нас вернут домой? В Нагасаки...

— Ах ты, сволочь! — голова Масахино снова свесилась в проход, глаза его потемнели от гнева. — Предатель! Чтоб ты подох! Никогда! Слышишь меня? Никогда императорская армия не сложит оружия!

Младший унтер-офицер Марута неожиданно всхлипнул во сне, задохнулся и открыл глаза. Приподнявшись на локте, он несколько мгновений непонимающе переводил взгляд с Хиротаро на Масахино.

— Что случилось? — наконец спросил он пересохшими губами. — Пора на шахту?

— Нет, нет, спите, — успокоил его Хиротаро. — Просто моему другу приснился дурной сон.

Марута с облегчением откинулся на тюфяк и закрыл глаза, а Масахино продолжал сверлить взглядом Хиротаро. Тот покачал головой, вздохнул и снова вынул тетрадку. Он уже не собирался этой

ночью ничего писать, но теперь из-за поведения Масахиро, и даже, наверное, назло ему, решил продолжить.

«После резни в доме Миянага выжил только один мальчик. Никто из соседей не сообщил о нем людям гайме, и много лет спустя он щедро вознаградил за это добрых жителей Нагасаки.

Не в силах воспитать сироту на свои средства, они тайно передали его в буддийский храм Кофукудзи, а настоятель храма китайский монах Ниедзе с готовностью принял мальчика. Он испытывал благодарность к погибшему роду Миянага, поскольку за восемь лет до этого несчастный Итидзо, которому было отказано в праве последовать за своим господином, помогал монахам строить мост через реку Накадзима. Два полукруглых пролета этого моста сливались со своими отражениями в реке, образуя подобие круглых очков, поэтому мост получил название Мэганэ-баси, а спасенный соседями и монахами мальчик потом часто играл в тени его сводов, даже не подозревая, чем он обязан этому мосту.

Воистину карма способна принять самые неожиданные очертания. Для христиан из крепости Симабара она обернулась кипящими источниками и крестами, а для этого сироты — запахом высохшей тины и гулким эхом под сводами моста, похожего на очки.

По достижении семнадцатилетнего возраста воспитанник настоятеля покинул храм Кофукудзи, и долгие годы о нем в Нагасаки не слышал никто. Род Миянага был вычеркнут из всех самурайских списков. Однако через тридцать лет этот человек

вернулся в родной город и привез так много генег, что их хватило не только на возведение двух новых святилищ в китайском храме, но и на постройку целого десятка домов для жителей той улицы, где некогда был спасен последний Миянага...»

Пока Хиротаро писал все это, у него было твердое ощущение, что Масахирос по-прежнему смотрит на него, свесив голову с верхних нар. Однако, когда он прервался и посмотрел наверх, никакой головы там уже не было.

ГЛАВА 6

Утром всклокоченный от беспокойных и радостных снов Петька выскочил из-под своего лоскутного одеяла ни свет ни заря. Схватив со стола кусок хлеба, он пулей метнулся во двор, пожурчал там возле кустов крапивы и полетел к Валеркиному дому.

— Кавалерия — вперед! — подгонял он себя, проносясь мимо чужих заборов. — Даешь!

Над головой у него вместо шашки в напряженно вытянутой правой руке раскачивалась уже слегка покусанная краюха, которую он время от времени рывком подносил к жующему рту, а потом снова выбрасывал вверх, к небу, как будто от этого зависело — добежит он вообще или нет.

— Ура! — закричал он, врываясь во двор к Валерке и пиная ленивых еще со сна коз. — Эскадрон, стой! Шашки в ножны!

Остаток хлеба мгновенно исчез у него во рту. На этом движение Петькиной конницы и вместе с тем его завтрак были закончены. Теперь можно было начинать жить.

— Молоко есть? — крикнул он высунувшемуся на крыльцо Валерке. — Мне коней поить надо. Эскадрон хочет пить.

Валерка удивленно смотрел на Петьку и даже слегка приоткрыл рот, потому что тот никогда не приходил к нему по утрам первым. Жизнь между ними складывалась таким образом, что суетиться из них двоих должен был он, Валерка, а Петька лишь царственно позволял своему бледному другу присутствовать во всем том, что составляло его кипучие дни.

Валерка ценил это расположение и охотно пользовался им всякий раз, когда Ленька Козырь и другие разгуляевские пацаны со свистом и матерщиной, а иногда — метко брошенным камнем, прогоняли его из-за того, что он, скажем, не докинул до лунки «чижа», или перебздел и не прыгнул вместе со всеми с обрыва, или просто потому, что им было противно смотреть на его рубаху в пятнах засохшей крови.

Поэтому Валерка теперь удивился. Он слишком хорошо знал, что никому в Разгуляевке не нужен. Разве что мамке, но с нее какой толк? Мамка — она и есть мамка. Ей положено Валерку любить. К тому же все равно в поле корячится целый день. Ее не дождешься.

Но Петьке сейчас позарез нужен был собеседник. Жить дальше, не поделившись тем, что буквально разрывало его на части, у него уже просто не было никаких сил. Он и так терпел во сне целую ночь. Не мог же он броситься теперь со всем этим к бабке Дарье.

— Есть молоко? — повторил Петька и крутнулся

на месте, стараясь попасть голой пяткой в кучку белесого куриного помета.

— Есть, — выдохнул Валерка, и его как ветром сдуло с крыльца.

Через пять минут они уже вдвоем неслись вприпрыжку по Разгуляевке в сторону бабки Дарьиного сеновала. Теперь у них у обоих над головой раскачивалось по куску хлеба, а на верхней губе красовалось по паре отменных молочных усов.

Это Валеркина мать, как могла, оценила Петькино появление.

— А буквы на банке какого цвета? — задыхаясь, выкрикивал на всю улицу Валерка.

— Красного!

— Как кровь?

— Нет, как знамя!

— А как по-американски будет «тушенка»?

— Так и будет!

Валерка чуть притормаживал.

— Как по-русски?

В голосе у него не было ни малейшего недоверия. Он просто искренне удивился.

— Да! Только красными буквами! — кричал Петька, и они мчались дальше, поднимая пыль и отбиваясь твердыми пятками от бросавшихся за ними собак.

— А на вкус? — выкрикивал самый главный вопрос Валерка. — На что похоже на вкус?

Здесь Петька терялся, потому что ему не с чем было сравнить, делал вид, что не расслышал, и вместо ответа прибавлял ход.

Когда они забрались на сеновал, оба дышали, как паровозы, — весело, прерывисто и с надсадой.

Сказывались Петькины самокрутки и никому не понятная Валеркина внутренняя болезнь.

— Вот так, понял? — отдышавшись, проговорил Петька. — И банки огромные, как...

Он замолчал, не зная — как что, и, не найдя подходящего образа, округло погладил ладонями воздух, показав какой-то уж совсем невероятно большой мяч, выпучив насколько было возможно глаза и произнеся что-то вроде «пуфф!».

— Да-а-а, — восхищенно протянул Валерка, и оба они на несколько мгновений замолчали, переживая каждый свое, но явно сопричастное друг другу.

Это торжественное молчание царило на сеновале до тех пор, пока Валерка первым не устал от него и не отвлекся на матерные надписи и рисунки гвоздем, которыми Петька украсил стены своего штаба. Валерка хоть и был единственным Петькиным адъютантом, но сюда, на самый верх, допускался довольно редко.

— А вот это вот чо? — сказал он, показывая пальцем на портрет Таньки Захаровой. — Чо это, Петька? Глист какой-то. Чо у него на голове палки?

— Сам ты глист, — лениво откликнулся Петька. — Это военный летчик. С истребителя «Ла-5». А палки — это антенны. На шлеме крепятся. Ясно?

— Ясно. А чо они тогда вниз?

«Палки» на самом деле были Танькиными косичками, но в этом Петька не признался бы никому.

— А хочешь, я тебе пачку папирос «Казбек» нарисую? — сказал он вместо ответа. — Настоящую. Как у товарища старшего лейтенанта Одинцова.

Валерка затаил дыхание, поняв, что сейчас ему доведется практически своими глазами увидеть чудо.

— Хочу.

Петька взял с пыльной балки огромный гвоздь и начал царапать им по бревну.

— Вот здесь, видал, — приговаривал он, — это горы. Ну, то есть одна гора. Вот так.

Он отошел чуть назад, наклонил голову на левое плечо и прищурился.

— А как она называется?

— Чо?

— Как она называется? — повторил Валерка. — Эта гора.

В своем восхищении Петькой он был абсолютно уверен, что тот знает практически все. Во всяком случае — все, что касалось военных. А папиросы курили только военные люди. Это Валерка знал наверняка. И даже не просто военные, а офицеры.

— Она называется... — протянул Петька. — Она называется... Да мне-то откуда знать, как она называется! Чо прицепился? Я тебе рисую, а ты сидишь — и сиди. А то вылетишь у меня отсюда, как самолет «Фоккевульф» под названием «рама».

— Ладно, — пискнул Валерка. — Я больше не буду.

— То-то же.

Петька снова подошел вплотную к стене и начал выцарапывать всадника. Вернее, то, что, по его замыслу, должно было стать всадником.

— Собака? — осторожно предположил Валерка.

Петька слёгка засопел, но удержался и промолчал.

— Танк?

Петька продолжал терпеливо карябать гвоздем стену.

— Индус?

Петька швырнул гвоздь на сено, подскочил к Валерке и заорал:

— Ну почему индус?! С чего ты взял, что индус?

— У него на голове такая же штука, — пробормотал перепуганный Валерка. — Как у индуса... Я на картинке видел... В учебнике у Анны Николаевны.

Петька секунду смотрел в бледное Валеркино лицо, потом на его рубаху, на которую от испуга уже капнула из носа кровь, и гнев его сам собой испарился.

— Это папаха, — сказал он. — А индус твой — это мужик на коне. Куда-то скачет.

— За папиросами? — засмеялся Валерка, обрадованный тем, что Петька на него больше не сердится.

— Может, за папиросами. Я не знаю. Ну, в общем, такая вот пачка.

— Такая большая? А сколько в нее входит?

— Нет, она не такая большая, — смутился Петька. — Просто бревно круглое. У меня так получилось.

— А-а, — улыбнулся Валерка и швыркнул носом, одновременно стирая подолом рубахи кровь с верхней губы. — А я думал, она такая огромная. Как мамкина шкатулка, где она документы про папку хранит.

— Нет, — сказал Петька. — Она вот такая.

И показал руками.

— Понятно, — кивнул Валерка. — А может, Казбек?

— Чего? — не понял его Петька.

— Я говорю, может, гора так и называется — Казбек?

Петька давно уже знал, что Валерка был умнее его, и даже не только его, но и вообще всех, кто ходил с ними в разгуляевскую школу. Анна Николаевна, например, когда не плакала, глядя на него, всегда его хвалила. Для Валерки у нее было ровно два способа поведения. Плакать или хвалить.

Поэтому теперь Петька нисколько не удивился Валеркиному предположению и не стал с ним спорить. Казбек так Казбек. Ему вообще было все равно, как эта гора называется. Хотя сам он вначале подумал, что Казбеком зовут конного мужика.

— А хочешь, я тебе своего щенка дам подержать? — наконец сказал он, охваченный внезапным желанием сделать Валерке что-нибудь хорошее.

— Хочу.

Глаза у Валерки блеснули и сделались круглые. Он оценил Петькин порыв. Жизнь редко была к нему великодушна.

Петька соскочил с сеновала, выхватил волчонка из тайника и быстро вскарабкался с ним до середины лестницы.

— Только не урони, — сказал он, передавая Валерке лохматый теплый комок. — Видишь, он еще спит.

— Я осторожно, — прошептал Валерка. — А как ты его назвал?

— Никак.

— Может, Испуг?

— Испуг? — удивился Петька, все еще стоя на лестнице. Над досками сеновала возвышались только его плечи и голова. — А чо Испуг-то? Он у меня ничего не боится.

— Нет, ИСПУГ — это значит «Иосиф Сталин Победил Ублюдков Германцев».

Петька на секунду застыл, переваривая услышанное, и потом со значением кивнул.

— Нормально. Только лучше «немцев», а не «германцев». Германцы были до Гражданской. А еще лучше — «фашистов».

— Но тогда выйдет «Испун». Или «Испуф». Странно как-то. Как будто бабка беззубая говорит.

— Да, — задумчиво покачал головой Петька. — Как-то не очень.

— А «Испуг» значит, что его все будут бояться.

С таким аргументом Петька спорить уже не мог.

— Ладно, давай мне его сюда. Ему дальше спать надо.

Валерка слегка привстал на сене и вытянул руки, чтобы передать Петьке волчонка, но не успел, потому что затекшие ноги подвели его, и он неожиданно опустился обратно, уже разжав руки и выпустив из них теплый пушистый комок, который, едва обретя имя, скользнул на самый край навеса, чихнул от пыли и от запаха сена, а потом вздрогнул и полетел мимо застывшего в ужасе Петьки прямо вниз — туда, где, как вилы, вздымались к сеновалу мстительные рога бабки Дарьиных коз.

Валерка съежился и прошептал: «Я нечаянно...», Петька безжизненными губами успел автоматически ответить: «За нечаянно бьют отчаянно», и они оба, как зачарованные, продолжали следить за бесконечным, как будто в тяжелом сне, падением их ставшего уже общим единственного достояния.

Волчонок пролетел мимо рогов и мягко шлепнулся на козью спину. Оттуда он соскользнул на пол, потряс головой, почесал задней ногой ухо и осоловело уставился на бросившихся от него в дальний угол перепуганных неожиданным прилетом коз.

— Вот видишь, — постепенно приходя в себя, прошептал Валерка. — Я же тебе говорю, «Испуг» — самое то для него имя.

* * *

После обеда Валерка слинял.

Утром, выбравшись из бабки Дарьиного сарая, они вдвоем с Петькой немного поискали Гитлера у реки, потом побросали друг в друга сверкающими на солнце осколками каменной соли, потом некоторое время лизали ее, притаившись в зарослях грязной полыни у дороги на станцию, а потом на горизонте мелькнули другие пацаны, и Валерка, ничуть не раздумывая, вскочил на ноги и побежал к ним. Петька, который не видел в Валеркином поведении ничего странного или неожиданного, тоже выбрался из полыни и постоял немного в раздумье на одной ноге, почесывая ее заскорузлой пяткой.

Остаток дня ему предстояло провести в одиночку. Если только Козырь не прогонит Валерку.

Этого Петька и ждал, стоя на одной ноге, но в его ожидании вовсе не было никакого преждевременного злорадства или надежды на то, что неверному и легкомысленному Валерке сейчас там быстро нададут по шее, и он вернется с повинной к своему подлинному другу и повелителю — нет, он просто ждал, чем решится вопрос, а когда Валерка махнул издали рукой и побежал с остальными пацанами к оврагу за Разгуляевкой, Петька опустил вторую ногу на дорожную колею, обеими ступнями ощутил под собой крепкую шершавую землю, повернулся и пошел по своим, теперь уже личным делам.

Ему надо было на станцию. Вчера он пропустил эшелоны.

Причина у него, конечно, была уважительная, но даже старший лейтенант Одинцов со своими рассказами о минометном обстреле под Кенигсбергом или ефрейтор Соколов с широким финским ножом

и тушенкой не в силах были заменить ему того чувства, которое он испытывал теперь уже каждый вечер, жадно заглядывая в распахнутые двери пролетавших со свистом и с песнями мимо разгуляевской станции поездов. Там, в этих вагонах, в полутьме ускользавших от скачущего Петькиного взгляда теплушек, ехали те, кто жил не воспоминаниями, как лейтенант Одинцов, и не хитрой усмешкой сквозь густые усы, как ефрейтор Соколов, а настоящей войной. Они жили настоящей войной и победой.

Петька быстро шел по дороге к станции, размахивая руками и бесконечно повторяя вслух: «Поезда, поезда, поезда», — пока у него не начинало получаться что-то совсем другое, не имеющее уже никакого отношения к поездам, и это слово сместило его, отвлекло даже от мыслей о том, что будет, когда все эшелоны придут, и что начнется, и что лично он, Петька, будет делать тогда.

Получавшееся у него слово казалось ему настолько смешным и замечательным, что он останавливался, громко выкрикивал его, задрав голову, в накрывавшее тяжелым синим куполом всю степь небо, потом пронзительно свистел через два пальца и бросался бежать, поднимая пыль и выкрикивая что-то уже совсем непонятное. Через минуту от него оставалась лишь темная точка на горизонте, которая подпрыгивала и болталась из стороны в сторону, как пьяная от веселья, разбуженная солнечным теплом муха.

* * *

Петькины вопли и дикий свист разбудили спавшего в кустах у дороги Хиротаро. Утром в лагере охранники затеяли бестолковую шумную игру в

чехарду, и он умудрился сбежать до общего построения. Сначала он собирался пойти в лес за травами, но усталость и вторая подряд бессонная ночь взяли свое. Присев на минутку под большим кустом, чтобы перевести дух, он почти сразу уснул и проснулся лишь в тот момент, когда мимо него со свистом пробежал оравший, как будто его резали, Петька.

Хиротаро осторожно выглянул из пыльных зарослей и, щурясь от солнца, долго смотрел вслед убежавшему в сторону станции пацану. Когда тот исчез, он выбрался из кустов и направился к темневшему на ближних подсопках лесу.

Укрывшись в тени деревьев, Хиротаро еще несколько минут наблюдал за жаворонками, которые один за другим взмывали над степью, а затем вынул из котомки тетрадь с огрызком карандаша и нарисовал похожий на очки мост.

«Мэганэ-баси», — написал он рядом с рисунком. Потом покачал головой и улыбнулся.

Сыновья, для которых он вел свою запрещенную лагерным начальством тетрадь, видели этот мост каждый день. Выходило, что Хиротаро нарисовал его не для них, а для самого себя.

Он еще секунду помедлил, размышляя — не зачеркнуть ли ему рисунок, но в конце концов все же оставил его и продолжил рассказ об истории своей семьи чуть ниже:

«Источником невиданного богатства нашего спасенного предка послужил табак. После разгрома христианства курение на несколько десятков лет в Японии было запрещено, однако ни штрафы, ни конфискации занятых под табаком земель ока-

зались не в силах заставить людей отвернуться от вредной, но вместе с тем приятной привычки. Уцелевший после резни Миянага заработал свое состояние на выращивании табака для кисэру — маленьких трубок с очень глинным мундштуком. Трубки эти были настолько крохотными, что табака в них хватало лишь на две-три затяжки. Будь они повместительней, в Нагасаки, очевидно, появилось бы гораздо больше новых домов — этот Миянага не скупился во время строительства. Однако кисэру были ровно такими, какими их создал японский вкус, а сигареты, заработать на которых можно было бы гораздо больше, стали продаваться в Японии лишь два века спустя — после того как эскадра американского коммодора Перри пошла к Окинаве...»

Хиротаро хотел написать еще что-нибудь об американцах и о том, как они под угрозой пушек вынудили японское правительство открыть морские порты для захода своих китобоев, но табачная тема была для него важней, поэтому в итоге он ограничился сообщением о том, что в 1883 году компания «Ивая» выпустила по американскому образцу первые японские сигареты.

Именно с этого момента в истории семьи Миянага, а значит, и в запретной зеленой тетрадке должен был появиться отец Хиротаро. Как, впрочем, и отец Масахирос, из-за которого в сентябре 1939 года Хиротаро добровольно остался в русском плену.

«Господин Ивая, происходящий из провинции Сацума на острове Кюсю, взял вашего деда на работу в свою табачную компанию только из-за то-

го, что его двоюродный брат, сумасшедший Санзоу Цуга, однажды чуть не убил будущего русского царя.

Впрочем, сумасшедшим гядюшку Цуга объявили уже задним числом для его же собственной безопасности и для того, чтобы русские дипломаты перестали докучать императору гневными письмами. На самом деле Цуга сумасшедшим никогда не был, и даже наоборот — отличался среди всех наших родственников особой сообразительностью и здравым смыслом. Иначе он ни за что бы не получил должность полицейского в том самом городке Оцу недалеко от озера Бива, где в июне 1891 года во время своего дежурства на улице он неожиданно обнажил саблю и бросился на русского наследника Николая, который совершал путешествие по Японии.

Их обоих спас твердый околыш фуражки. Удар оказался скользящим, и рикша, который вез будущего царя, успел броситься в ноги гядюшке Цуга.

Спустя много лет, когда в Нагасаки стало известно о гибели всей царской семьи, Цуга окончательно возгордился своим поступком и, перебрав сакэ, до утра бродил по улочкам Нагасаки, задирая прохожих и называл себя предвестником воли Великого Будды.

Он так и не простил наследникам Токугавы появления европейцев на японской земле, а дату разгрома русской эскадры в Цусимском сражении официально просил считать днем своего рождения. Говорят, он даже умудрился получить на это соответствующий документ.

В общем, если бы не случай в городке Оцу, ваш дед ни за что бы не попал на работу в табачный магазин. Даже среди самых бедных рыбаков, которые

продавали осьминогов за воротами рынка, он был известен как Мисуги-неудачник. Взять его с собой в море считалось верхом идиотизма.

Многие из рыбаков жалели вашего деда, и особенно его жену, однако после пяти затонувших лодок, с хозяевами которых он выходил в море, рискнуть уже никто не решался. Говорили, что на нем проклятие, и он с этим не спорил.

Никто ведь не знал, что у него вдруг окажется такой знаменитый двоюродный брат.

Господин Ивая лично явился в наше убогое жилище, не побоявшись испачкать свой дорогой европейский костюм, и сам попросил вашего деду работать в своей табачной компании. Тот сначала хотел отказаться, потому что, во-первых, не умел делать никаких сигарет и даже не знал, что это такое, а во-вторых, сам себя тоже считал неудачником, но его жена, ваша бабушка, успев постелить знатному гостю самую чистую циновку, скромно уселась в углу и посмотрела на мужа непривычным для него взглядом. Вашему деду стало так жалко ее, что он едва не заплакал. Он сам потом рассказывал мне об этом. Расстроившись из-за этого взгляда, он побоялся расплакаться прямо перед господином Ивая и потому сказал, что согласен.

На следующий день он вышел на работу. Господин Ивая распорядился, чтобы ему выдали чистое кимоно и посадили в табачном магазине при фабрике. День или два ваш дед ждал, когда ему объяснят его обязанности, но управляющий магазином даже не смотрел в его сторону. Наконец, он набрался храбрости и сам спросил, что он должен делать. Управляющий фыркнул, не ответив ему ничего, а один из младших продавцов тихонько шепнул, что

ему надо просто сидеть у входа и здороваться со всеми, кто приходит покупать сигареты.

Сначала это было совсем несложно, потому что любители табака в Нагасаки привыкли курить кисэру, и мало кого из них интересовали иностранные бумажные палочки, вмещавшие содержимое трех, а то и четырех нормальных трубок.

На улицах про эти сигареты говорили так: «Только глупец или сумасшедший захочет прожить три жизни вместо одной».

Однако со временем известие о сабельном ударе в городке Оцу добралось до самых дальних провинций, и люди ехали к нам в Нагасаки, расспрашивали, как пройти к магазину «Ивая», а потом долго и со всеми приличествующими подобному случаю церемониями знакомились с двоюродным братом знаменитого Санзоу Цуга. Разумеется, они предпочли бы общение с ним самим, но осторожные власти до поры до времени держали гядюшку Цуга где-то в укромном месте.

Продажи сигарет мало-помалу начали расти, а через два месяца перед магазином уже за час до открытия собиралась небольшая толпа. Многие считали поступок нашего Цуга мужественным и необходимым ответом всем европейцам.

Спустя несколько лет кисэру в Нагасаки уже почти никто не курил. Из-за вашего гедга все те, кто не любил европейцев, незаметно перешли на европейский табак...»

* * *

Когда Петька добрался до станции, на самый дальний от пакгауза путь медленно вползал эшелон с наглухо закрытыми вагонами. Сначала Петька не

обратил на него никакого внимания. Для воинских составов было еще слишком светло. К тому же они пролетали, не останавливаясь. Петька решил, что это простой товарняк. Днями по железке еще гоняли гражданские составы с углем, лесом и другим барахлом. Настоящим военным целям дорога служила только ночью.

Петька лениво направился к семафору, сбивая по дороге тонким прутом разросшиеся этим летом до невероятных размеров мясистые лопухи. У семафора он обычно дожидался, пока стемнеет, и потом в одиночестве наслаждался своей порцией пролетавшего мимо него счастья. На платформу ему было нельзя. Там с разинутыми ртами бегали другие пацаны.

Зато Петька встречал все эшелоны на десять секунд раньше.

Внезапно ему почудилось, что из остановившегося на дальнем пути поезда доносятся какие-то звуки. У семафора все равно делать было пока нечего, и Петька осторожно двинулся к составу. Осторожность в таких делах никогда не была лишней. А вдруг именно в одном из этих закрытых вагонов везли пропавшего Гитлера? И это именно он, а не кто-то другой, издавал теперь непонятные звуки.

В любом случае надо было проверить.

Приблизившись, Петька замер и затаил дыхание. В вагонах действительно что-то происходило. В каждом из них что-то возилось и ворочалось, постукивало, булькало и звенело, как в больном ухе, и даже как будто начинало петь, но только не голосом, а каким-то мычанием.

Прошлой зимой у Петьки сильно болело правое

ухо, поэтому теперь он знал, с чем все это можно сравнить.

От удивления он превратился в собственную тень. Неожиданно рядом с ним, буквально в полуметре, за пыльной вагонной стенкой раздался чей-то негромкий голос:

— Ну, товарищ кавторанг, ну так же нельзя. Разрешите хотя бы открыть двери. Задохнемся же.

— Черт с ним, — так же негромко ответил другой голос. — Не помирать же в самом деле из-за этой маскировки. Открывай, братва!

И после этого прямо на Петьку, как с неба, посыпались моряки. Настоящие моряки в настоящих бескозырках, в тельняшках, в черных бушлатах, с огромными усатыми лицами и широкими, как двери в избу, плечами. В одно мгновение все вокруг захохотало, закричало, засвистело, задвигалось и заходило ходуном. Онемевший от неожиданности Петька оказался в самом центре бушующего черного водоворота.

Счастье, которое происходило у него на глазах, казалось ему до такой степени невозможным, до такой степени нереальным, что он даже не шевелился, стараясь как-нибудь нечаянно не проснуться у себя дома или на сеновале у бабки Дарьи, и чтобы все это не улетучилось в один миг, как несбыточная мечта, как самый удивительный, самый волшебный сон.

— А это что за пенек? — склонилось к нему лицо с узенькими усами щеточкой и аккуратно подбритыми баками. — Посторонний на палубе!

— Я... — начал Петька и тут же запнулся: — Я... не посторонний.

— А кто ты?

— Я — Петька...

Вокруг грянул смех.

— Петька? Ну, тогда я — Чапаев! Где бы нам с тобой еще Анку найти?

Матрос выпрямился, повел плечами и мечтательно протянул так, чтобы всем остальным было слышно:

— Эх, братва, нам бы точно сейчас какую-нибудь Анку-пулеметчицу. А? И знаете, какую? Вот такую, — он показал на себе руками две огромные титьки. — Всю в пулеметных лентах... И чтоб, кроме лент, ничего.

Матросское море одобрительно вздохнуло и на секунду притихло, представляя себе эти ленты, патроны, смущение, потупленные взгляды и еще бог знает что.

— Швартуйся, — сказал матрос с усиками и склонился к Петьке так, чтобы тот смог забраться к нему на плечи. — Будешь впередсмотрящим. Если что — орешь: «Земля!» Знаешь, когда «Земля» кричать?

— Знаю, — шепнул Петька, еще не до конца ображая, что с ним происходит, и цепляясь за шершавый бушлат.

— Когда?

— Когда увижу землю.

— Нет, салажонок. Когда увидишь землю, «Земля» кричать не надо. Пуп надорвешь. Кричи, когда увидишь бабу.

— «Земля» кричать?

— А ты думал! — усмехнулся матрос. — Сидеть удобно?

Петька поерзал на шершавом плече.

— Колется.

— Нормально. Не в сказку попал. Ну что? Видишь там что-нибудь или нет?

— А если не баб увижу, а девок? Тогда чо кричать?

Матрос хмыкнул и одобрительно хлопнул огромной теплой ладонью по ободранной Петькиной коленке.

— Смотри-ка ты, различает.

— Конечно, — откликнулся Петька. — Девки жрать не дают. А у баб иногда выпросить можно.

Матрос захохотал во весь голос, и Петька из-за этого смеха чуть с него не упал.

— Крепче держись. Не дают, говоришь, девки?

— Не, не дают.

— Ну это, братишка, со временем. Подрастешь и дадут.

— Просто так дадут?

Матрос продолжал смеяться, а Петька изо всех сил цеплялся за воротник его бушлата.

— Еще упрашивать будут. Но ты, братишка, с ними поостороже. А то набегут. Ну что, видать хоть одну?

— Не-а.

— Тогда давай слазь. Склянки пробили, вахта закончена.

— Чо? — сказал Петька, соскальзывая на землю.

— Чо-чо? Ничо! — переподразнил его матрос. — Эх, братва, как же они тут чудесно «чокают»... Хоть бы одну какую «чокающую» найти. Она бы нам «почокала». А? Красота!

— У них, видать, тоже приказ о маскировке, — подхватил другой матрос. — Поэтому все девки замаскировались. Дезориентируют противника.

— А мы-то здесь при чем? — сказал Петькин

матрос с усиками. — От нас маскироваться не надо. Мы сами от кого хочешь замаскируемся. Точно, салажонок?

И он хлопнул Петьку по плечу.

Тот был настолько захвачен и ошарашен всем происходящим, или, может быть, это он просто уже так сильно хотел есть, что к этому моменту у него немного закружилась голова, и когда матросская ладонь неожиданно и резко опустилась ему на плечо, он не удержался на ногах и, как стоял, так и сел на землю.

Не очень понимая, что с ним происходит вообще.

Матросы опять захохотали, соскучившись в своих душных вагонах. Потом кто-то из них подхватил Петьку за локти и поставил обратно на ноги.

— Укачивает салажонка!

— Да, сегодня знатно штормит!

— По-хозяйски!

— Ты смотри, как станцию раскачало!

Петька беспомощно вертел головой, пытаясь сообразить, как ему себя вести.

— Полундра! Еще один поезд! — закричал кто-то у задних вагонов.

Матросы тут же потеряли интерес к Петьке и черной цепочкой вытянулись вдоль соседнего пути, на который уже вползал новый состав.

Этот эшелон почти весь состоял из пустых угольных вагонов. Только в голове и в хвосте поезда зачем-то были прицеплены две цистерны. Как будто сцепщики решили пошутить и взять уголь в необычные скобки, совсем не похожие на те, что рисовала на доске в школе Анна Николаевна. Одна из цистерн остановилась точно напротив Петьки.

— А что там, в этой бочечке, интересно, может

быть? — сказал Петькин матрос с усиками. — Непременно ведь что-нибудь жидкое. А, братва? Смотрите, какая пузатая. Кому не лень проверить?

— Устряпаешься, — ответили ему. — Она же в соляре вся. Бушлат не отстираешь потом.

— А вам бы все фраериться, — протянул матрос с усиками. — Эх вы, мариманы! Тут и девок-то нет. Перед кем выпендриваться?

Петька понял, что вот он, его звездный час, и, не обращая внимания на легкую тошноту и головокружение, уже карабкался по скользкой от чего-то жирного и вонючего шаткой железной лесенке.

— Эй, ты куда? Свалишься! — закричали сзади, но он уже был наверху.

Остановить его сейчас не смогло бы даже внезапное наступление Квантунской армии.

— Спирт! — крикнул он, откинув тяжелую неопломбированную крышку. — Здесь спирт, дяденьки! Много спирта!

После этих его слов на станции воцарилась такая тишина и такое спокойствие, что если бы Петька закрыл вдруг глаза и даже сильно прислушался, ему бы все равно показалось, что все эти матросы — большие, веселые и шумные — все они исчезли в один момент, испарились, растаяли в теплом вечернем воздухе.

— Подожди, подожди, салажонок... — неуверенно заговорил наконец один из них. — Ты это... Ты точно знаешь?..

— Говорила мне мама: «Верь, Вовчик, в чудеса», — мечтательно протянул Петькин матрос с усиками. — А я не верил.

* * *

Через десять минут моряки были в полном отчаянии.

Они перепробовали буквально все. Они привязывали к ремням фляжки, они пытались дотянуться руками, они держали друг друга за ноги и свешивались по пояс в цистерну, рискуя свалиться туда и утонуть в море спирта, — все было напрасно. От крышки до темной волнующей поверхности было слишком далеко. Кто-то злой и жестокий, видимо, специально не опломбировал люк, но зато залил цистерну ровно наполовину, чтобы поиздеваться над наивными моряками, которые минуту назад были готовы поверить в чудо.

В качестве последнего средства кто-то предложил по очереди хотя бы подышать.

— Минуту висишь, пока тебя держат, и дышишь. Только носом старайся. Так сильней заберет.

— По минуте все не успеем, — тут же возразили ему. — Поезд тронется скоро. Не один, так другой.

— Ну, по полминуты.

И тут осенило Вовчика. Он зашипел, крутнулся на месте, скинул с себя бушлат и начал остервенело стягивать узкую, как змеиная шкура, тельняшку.

— Тельники! — закричал он, оставшись полуголым. — Тельники мне давай!

Остальные, еще сомневаясь, еще недоверчиво, начали сбрасывать бушлаты на землю и протягивать ему свои тельняшки.

Вовчик лихорадочно вязал рукава хитрым морским узлом и отбрасывал от себя подальше получившуюся из тельняшек веревку. В какой-то мо-

мент он вдруг прекратил вязать, уставился на лежащие в пыли тельники и неожиданно заорал:

— Поднимай их! Поднимай! Вывозятся все! Как потом пить будем?

Наконец он вскарабкался на цистерну, бросил один конец своего полосатого каната внутрь, подождал немного, загадочно улыбаясь, а потом вытянул его наверх — тяжелый, насквозь мокрый — и закричал:

— Выжимай, братва! Подшевелю!

Матросы радостно загудели и сгрудились вокруг упавшего к ним сверху конца. Ни один канат, наверное, за всю моряцкую жизнь еще не интересовал их так сильно.

— А во что выжимать-то? — закричал вдруг один из них. — У фляжки горлышко узкое. На землю все льется!

Матросы начали уже нагибаться и, толкая друг друга, подставляя жадно открытые рты под струящийся из их собственных тельников спирт, но тут снова вмешался Петька:

— Я знаю, где ведро можно найти!

— А чего молчишь? — закричал на него сверху Вовчик. — Дуй давай!

И Петька сорвался с места.

Рыбкой нырнув под цистерну, он полетел к зданию станции на такой скорости, что если бы у него на пути вдруг оказался движущийся состав, то он и перед ним не сумел бы затормозить, а пролетел бы насквозь под колесами, и там уж как бог разберет — потому что бабка Дарья всегда говорила, что дураков бог любит.

И еще любит троицу. Поэтому Петька не побежал вокруг насыпи — там, где обычно обходил

крутой обрыв, а полетел прямо к нему. Задыхаясь уже, досчитал на бегу до трех и на «четыре» прыгнул, успев подумать, что надо было оттолкнуться на «три», но теперь уже поздно и лучше просто лететь. Перебирая ногами в воздухе и ни о чем не думая.

То есть думая о ведре.

Но приземлился удачно. Прямо в свежую коровью лепеху. Из-за нее поскользнулся и шмякнулся на задницу, а так бы мог и не остановиться. Три шага на такой скорости — и вот она, бетонная стена. Отскребали бы потом по кусочкам.

Петька слегка перевел дух, поднялся на ноги и начал карабкаться на бетонку. От удара об землю сильно не хватало воздуха и болел копчик. Но к этим вещам Петька давно привык. Крыша сарая, заборы, овраги — налета у него было часов на сто. В авиацию взяли бы хоть сейчас. Только шасси надо научиться выпускать вовремя.

Влетев в помещение станции, он так грохнул дверью, как будто рядом бабахнула 120-миллиметровая гаубица. Или, на худой конец, орудие ЗИС-3 калибром семьдесят шесть и две десятых миллиметра. То есть снаряд толщиной в руку примерно взрослого мужика.

Петька уже целых два года мечтал увидеть эти пушки в действии, поэтому, видимо, и сейчас не отказал себе в удовольствии долбануть дверью как следует. Хотя сделал он это больше по привычке, и еще потому, что не успел притормозить. В этот момент его все-таки больше волновала морская пехота, чем артиллерия.

— Баба Таня, здрастье! — крикнул он полуживой от страха и слегка оглохшей старушке, которая до его появления пыталась помыть на станции пол,

но теперь застыла с тряпкой в руке, как изваяние скорбящей матери.

Воспользовавшись ее замешательством, Петька, ни на секунду не останавливаясь, бросился к стоявшему рядом с ней ведру, подхватил его за скользкую ручку, вылетел с ним за дверь, выплеснул грязную воду на рельсы и пулей помчался обратно, едва успев прокричать что-то вроде:

— Я вот!.. Сейчас!... Я туда!..

Осиротевшая без своего ведра баба Таня еще несколько минут постояла на месте, приходя в себя, потом перекрестилась, выглянула в окно и погрозила сухим кулачком всей притихшей под вечер станции.

* * *

— Стоять! — заорал Ленька, и Петька кубарем покатился на землю, запнувшись о чью-то выставленную ногу.

Ведро с грохотом отлетело в сухую траву.

— Мне нельзя... — пробормотал Петька, пытается подняться. — Я не могу... Мне быстро надо...

Он был так поглощен своим боевым заданием, что потерял обычную бдительность и не заметил засады. Ленька Козырь видел, как он сломя голову влетел на станцию, поэтому притаился с остальными пацанами за пакгаузом, который Петьке пришлось обегать. Лезть на обрыв, откуда он за минуту до этого прыгнул, у него не было уже ни времени, ни сил.

Поднимаясь на ноги, Петька успел заметить Валерку за спинами других пацанов, но тот быстро присел, чтобы не увидеть того, что сейчас произойдет.

— Блядский выродок, — сказал Ленька. — Гитлер недобитый.

— Я не хочу драться, — задыхаясь, ответил Петька. — У меня сейчас времени нет.

— А кто тебя, бля, спрашивает?

Он без размаха ткнул кулаком Петьке в лицо, и у того из носа побежала кровь, а во рту появился горьковатый вкус пыли.

— В картишки сыграем? — Ленька, ухмыляясь, вытащил из кармана колоду карт. — Только козыри все мои будут.

Петька с тоской оглянулся вокруг в надежде на то, что рядом окажется хоть кто-нибудь из взрослых, но здесь за пакгаузом обычно никто не ходил. Это была Ленькина территория.

— Мне туда надо... — просящим голосом сказал Петька. — Пусти меня.

— А в рыло? — Ленька засмеялся и еще раз ударил его.

Пацаны встали вокруг них сплошной стеной, и Петька понял, что просто так ему уже не уйти.

Он в отчаянии посмотрел Леньке прямо в лицо, краем глаза увидел копошащегося у чьих-то ног Валерку, вспомнил своих матросов, мамку, почему-то волчонка и то, что теперь его зовут Испуг, и от всего этого в нем вдруг вскипела такая злость, такая тихая страшная ярость, которой прежде он сам никогда в себе и не знал. Привычный страх покинул его, и небо над головой от ненависти из синего сделалось белым.

— Тогда я тебя, сука, убью, — прошипел он сквозь сцепленные до хруста зубы. — Потому что это не я блядский выродок, а ты. Это твоя мамка шляется в лагерь к охранникам. И значит она — блядь.

Петька еще успел увидеть, как меняется от изумления Ленькино лицо, как оно теряет ненавистный румянец и становится белым, будто то самое небо у них над головой, потом резко присел, почти припал к земле, подхватил горсть пыли, сунул ее зачем-то себе в рот, оскалился черными зубами, заскрипел песком и, не раздумывая больше ни одного мгновения, со всех своих небольших сил впечатал кулак во все еще блуждающую по Ленькиной роже идотскую ухмылку.

— Вот так! — сказал Петька, запрыгав от боли в руке и трясая кулаком над головой. — Сейчас еще будет.

У него перед глазами, как на картинке, возник старший лейтенант Одинцов, и он методично, словно камнедробильная машина, повторил все те приемы рукопашного боя, которые были показаны ему вчера в лагере.

Вдох, удар, шаг в сторону, выдох. Удар, шаг назад. Еще один вдох. Снова удар, противник падает на колени.

Два раза в голову, и последний — в солнышко. Чтобы наверняка.

Ленька Козырь впервые стоял перед ним на коленях в пыли и тряс головой, закрывая ее руками. Карты его веером разлетелись по сторонам. Петька на секунду замер, а затем прыгнул сквозь расступившийся круг пацанов к зарослям сухой травы, схватил откатившееся туда ведро и, размахнувшись что было сил, с грохотом врезал им по склонившейся уже перед ним голове.

Ленька рухнул лицом вниз.

— Всех перебыю, суки! — заорал Петька, раскручивая ведро вокруг себя.

Пацаны бросились врассыпную. Петька перепрыгнул через лежавшего на земле Леньку и помчался туда, где стоял поезд с морской пехотой.

До этого он ни разу не мог побить Козыря в драке один на один. Он вообще старался избегать прямых столкновений. Поэтому в любой другой день Петька был бы на седьмом небе от счастья. Но не сегодня.

Еще только подбегая к составу с угольными вагонами, он понял, что опоздал. Ему даже не надо было присесть, чтобы заглядывать между колесами. И так было видно. Поезд с матросами, постукивая на стыках, уплывал влево, а Петьке на бегу казалось, что это он сам, и другой поезд, и вообще вся станция, и даже небо над ней плывут вправо.

— Анку ищи! — закричал увидевший, как он выбирается из-под цистерны, матрос Вовчик. — Пулеметчицу! И чтобы титьки побольше! Титьки!

Остальные матросы тоже что-то кричали, махали руками и бескозырками, а Петька бежал за этими развевающимися на ветру черными ленточками, показывал им ведро, запинаясь, едва не падал и тоже кричал изо всех сил, стараясь, чтобы его слышали, чтобы ответили на тот вопрос, который мучил его все время, но который он так и не успел им задать:

— Дяденьки! Вы не из-под Кенигсберга, дяденьки?! У нас тут лейтенант Одинцов! Он с вами!.. Вы лейтенанта Одинцова не помните?!!

Но они не отвечали, а только смеялись и уплывали все дальше. Наконец Петька остановился, уронил ведро на шпалы и опустился на землю, размазывая по щекам слезы. Сил у него больше ни на что не осталось.

ГЛАВА 7

Хиротаро вернулся в лагерь далеко за полночь. Все часовые уже спустились со своих вышек, поэтому он без помех пролез через дыру в заборе позади кухни. Весной охранники еще торчали на вышках по всему периметру, но после победы один из них, заснув, случайно свалился оттуда, и лагерное начальство негласно разрешило часовым проводить ночь в караульном помещении.

Хиротаро остановился у караулки и заглянул в открытое из-за духоты окно. Трое охранников и ефрейтор Соколов играли на перевернутом ящике в карты.

— Приперся, лекарь, япона мать, — поднимая голову, сказал Соколов. — Иди дрыхни к себе в барак. Завтра утром пойдешь в карцер. Одинцов приказал.

— Забодал ты уже бегать, — лениво добавил другой, щурясь от табачного дыма и сдавая карты. — Медом тебе там намазано? Знаешь ведь, что накажут.

— Траву искар, — нарочито утрируя произношение, сказал Хиротаро и по-детски наивно поднял над головой свою котомку.

Он давно догадался, что русские любят иностранца, только если он простачок, и поэтому старался быть простачком при любой возможности.

— Харосая траву. Рецить буду. Русская, японская — всех рецить буду.

— Вали отсюда, — махнул рукой третий охранник. — Мешаешь, не видишь, что ли?

Хиротаро вежливо поклонился открытому окну и торопливо направился к японскому бараку.

* * *

Как только он перестал ворочаться на своем тюфяке и глубоко задышал, с верхних нар свесилась голова Масахи́ро.

— Эй... — негромко позвал тот.

Хиротаро не отозвался.

Помедлив еще секунду, Масахи́ро начал спускаться вниз. Хиротаро не раз предлагал ему занять нижние нары, но тот был упрям и всегда отвечал какой-нибудь грубостью.

Спрыгнув после долгой возни на пол, Масахи́ро затих и прислушался к спящему бараку. Слева надсадно сипел младший унтер-офицер Марута. Чуть дальше постанывал во сне капитан Цуджи. Сержант Хираи, который спал на верхнем ярусе прямо над лейтенантом Муранака, что-то пробормотал и перевернулся на другой бок.

Масахи́ро помедлил еще секунду.

Все эти солдаты и офицеры были тяжело ранены летом тридцать девятого в боях на Халхин-Голе и остались у русских только из-за того, что во время обмена пленными в последнем транспортном самолете для носилок не хватило места. Самолет мог сделать еще один рейс, но время, отпущенное советской стороной, уже вышло. Масахи́ро не помнил обмена пленными, потому что сам был в очень плохом состоянии, однако он знал, что Хиротаро добровольно остался у русских, чтобы не бросать раненых.

Тем не менее он его ненавидел. Ненавидел с тех самых пор, как они встретились на табачной фабрике его отца, когда им было по одиннадцать лет.

Масахи́ро осторожно склонился к холщовой котомке Хиротаро, которая лежала под нарами, по-

шарил в ней и вытащил оттуда тетрадь. В бараке было темно, поэтому он проковылял к окну. Раскрыв тетрадь наугад, он прочел в лунном свете:

«Мы летим, чтобы упасть,
Как лепестки вишни,
Чистые и сияющие...»

— Стихи? — едва слышно фыркнул Масахирос и быстро перевернул сразу несколько страниц.

На этот раз его взгляд задержался на изображении гейши, которую Хиротаро нарисовал почему-то в клубах дыма и с черным ртом. Слева от рисунка располагался небольшой текст:

«...папиросы у нас в Японии получили название «сикисима». В магазинах они появились сразу после победы над русскими в 1905 году. Особенной популярностью эти табачные изделия пользовались у дам. Сначала гейши в своих чайных домиках, а потом и другие женщины стали курить «сикисима» в знак унижения России, а также из чувства превосходства над поверженным врагом. Некоторые из них по старинному обычаю все еще чернили себе зубы, и от этого белый мундштук русской папиросы особенно ярко выделялся у них во рту...»

— Чушь какая-то, — пробормотал Масахирос. — При чем здесь русские папиросы?

Это он полтора года назад сообщил лагерному начальству о том, что Хиротаро тайком ведет дневник, поэтому теперь его злила новая тетрадка. Он хотел, чтобы Хиротаро было так же плохо в плену у русских, как ему и всем остальным обитателям японского барака, но тот опять умудрился устроиться лучше всех и продолжал делать то, что ему

нравится. С самого детства Масахиро ненавидел в своем друге именно это. Всю жизнь Хиротаро делал только то, что ему нравилось, а у Масахиро, несмотря на положение его семьи, это никогда не получалось. К тому же он был хромым от рождения. Наверное, по этой причине его отец, господин Ивая, относился к нему без особой любви.

Ровно через неделю после того, как он родился, акушерка положила кричащего младенца на животик и показала господину Ивая несимметричные складки под коленками и под ягодицами. Затем перевернула на спину и резко развела ножки в стороны. Господин Ивая отчетливо услышал щелчок.

«Врожденный вывих бедра, — объяснила ему акушерка. — Левая нога будет короче правой. Нужно туго его пеленать, а потом накладывать шину».

«Делайте, что хотите», — ответил господин Ивая и вышел из комнаты.

Очевидно, он ждал кого-то с одинаковыми ногами.

Распеленали Масахиро только в три года. После этого еще несколько лет он ползал по дому, постукивая деревяшками, привязанными к левой ноге. Едва заслышав это приближающееся к двери кабинета постукивание, господин Ивая откладывал все дела и уходил на фабрику к своим сигаретам и «сикисима». Одним из первых воспоминаний Масахиро был перешагивающий через него отец.

Масахиро торопливо разворачивался в узком коридоре, пытаясь увидеть отца хотя бы со спины, однако громоздкие неудобные колодки сильно затрудняли его движения. Они громко стучали, цеплялись за все подряд, и в конце концов он оставался один в коридоре перед закрытой дверью-фусума, ведущей в пустой кабинет.

Прочитав однажды в старинной книге о том, как знаменитый японский адмирал Мичиари Коно из Такамацу захватил флагманский корабль монгольского завоевателя Кублай Хана и спас тем самым Японию от вторжения, Масахирос в этой истории все же больше сочувствовал монголам. Только он мог понять, что они испытали, когда их корабль застрял в узком проливе и не сумел вовремя развернуться, чтобы выйти из-под обстрела японских лучников.

Сравнивая себя с тем кораблем и стараясь унять дрожь, которая охватывала его от напрасных усилий, он сидел на полу рядом с дверью и с ненавистью царапал ногтями свои колодки.

От этих деревяшек тело его к вечеру затекало так сильно, что когда наконец нянька снимала их, он еще долго не чувствовал левой ноги, как будто его освободили не только от медицинских приспособлений, но и от нее тоже. Стараясь плакать так, чтобы из-под одеяла было неслышно, он представлял себе раздвижную дверь из плотного картона в кабинете отца, пустой коридор и большие ножницы. Ему хотелось разрезать эту расписанную непонятными изречениями дверь на куски, разорвать, исполосовать ее в клочья.

Впрочем, господин Ивая до определенного момента надеялся на то, что его неполноценный сын сможет продолжить семейное дело. Он заставлял его часами рассматривать гравюры с изображением табачных растений и заучивать их названия на японском и на латинском языках. Он приносил ему в комнату охапки грязных листьев и требовал найти среди них один-единственный лист табака. И все же в решающий момент, когда отец устроил

ему экзамен на фабрике, Масахиро не сумел правильно подобрать табачные листья разных сортов.

Именно тогда он впервые увидел Хиротаро.

* * *

— Петя... Петя... Сынок...

Петька проснулся, заморгал и непонимающе уставился на мамку, которая нерешительно теребила его за локоть.

— Ты чо не на работе? — наконец сказал он.

— Я сейчас на улице бабку Потапиху встретила, — почему-то шепотом заговорила она. — Ее к Валерке позвали, дружку твоему... Говорит, совсем он плохой. Помрет, наверно...

— Как помрет? — Петька сбросил одеяло и соскочил с печки. — Зачем помрет?

— Я не знаю, — по-прежнему еле слышно ответила мамка. — На улице Потапиху встретила...

— А-а, ну тебя, — в сердцах буркнул Петька, натягивая штаны. — Ничего толком узнать не можешь.

Он уже совершенно забыл о вчерашнем Валеркином предательстве и через две минуты сидел на скрипучем табурете сбоку от бабки Потапихи, которая колдовала над каким-то странным тестом.

— Ну и правильно, што меня позвали, — бормотала она. — А то все теперь одного Кузьмича и зовут. Как будто евойные заговоры одне тока и помогают. А кто, интересно, пузо зубовской невестке заговорил? А макаровскому мальчонке кто загрызал грыжу?

Потапиха сильно колотила в кадушке свое чудодейственное тесто, и от этих усилий и еще потому, что летом пришлось топить печку, она быстро

вспотела и стянула с себя глухую черную кофту из плотной блестящей ткани, названия которой Петька не знал. Но зато он знал, что бабка Дарья тоже давно хотела такую, а дед Артем все никак не мог собрать денег, чтобы отправиться за ней в райцентр, поэтому бабке Дарье приходилось пока терпеть.

— А этот чиво здесь? — спросила Потапиха, покосившись в Петькину сторону. — Чужой глаз нам тут не нужен.

— Они с Валеркой друзья, — еле слышно откликнулась Валеркина мамка. — Пусть посидит немного.

— Ну, гляди. Только глаз-то у него черный. Видала? Такие вот — они самые глазливые и есть.

Валеркина мамка испуганно посмотрела на Петьку.

— Сглазит — и не чихнет, — добавила бабка Потапиха.

— Я глаза закрою, — быстро сказал Петька. — Или сяду вон туда. Под стол. Оттуда меня не видно.

— Ты уж сядь, Петя, — жалобно попросила его Валеркина мать. — А то мало ли что.

— И не мало ли што, а точно, — подтвердила Потапиха, белея нижней рубахой, как странная снежная баба в душной полутьме комнаты. — Давай лезь под стол.

Темно в доме было из-за наглухо запертых ставен. Валеркина мамка с Потапихой сами закрыли их десять минут назад.

— Свет в таком деле помеха, — с порога заявила Потапиха. — От света как раз вся болезнь.

И петуха она тоже велела удалить из двора, чтобы не стал кукарекать.

— А то закукарекат, и вся лечеба насмарку. Коту под хвост.

Поэтому петуха заперли в бане. Две тощие курицы, чудом дотянувшие до победы и не съеденные в последнюю военную весну, сразу пришли туда следом за Валеркиной мамкой и неуклюже пытались взлететь на отдушину, чтобы заглянуть внутрь.

— Пестренькую потом мне зарежь, — сказала Потапиха, задумчиво глядя на прыгающих около бани кур.

Она всегда брала за свою помощь курочку.

А Петька в этот раз совсем не ожидал, что Валерке будет так плохо. После вчерашней драки на станции и вообще после всего, что там с ним произошло, у него возникло твердое ощущение, что теперь все должно пойти по-другому. Как-то не так. Как-то лучше. То есть не то чтобы война с японцами началась прямо сейчас или у него самого вдруг появился отец — нет, на такое он не рассчитывал, — но вот чтобы Ленька к нему больше не лез, а у Валерки пореже бежала из носа кровь — это было бы да. Это вроде по-честному.

Раз поперла такая масть.

Но Валерка теперь лежал на широкой деревянной кровати, а его мамка погибала от страха, слоняясь из угла в угол с полотенцем в руках, не находя в себе сил остановиться.

— Ты бы села, — сказала ей наконец Потапиха. — А то у меня из-за тебя тесто никак не подойдет.

— Как это из-за меня? — растерянно спросила Валеркина мамка. — Почему из-за меня?

— Да из-за кого же ишшо? Малой под столом сидит. Ему отгудова сглазить нет никакой возможности.

— Ладно, — сказала Валеркина мамка, и Петька увидел, как ее ноги напряженно замерли у табурета.

Рядом с ногами бабки Потапихи они вели себя очень робко, и по ним сразу же было видно, что они чего-то ждут. Если бы Петька не знал, в чьем доме находится стол, под которым он сейчас сидит на полу, крепко зажмуриваясь, а иногда на всякий случай даже прижимая глаза руками, то можно было подумать, что в гости пришли ноги Валеркиной мамки, а не бабки Потапихи. Бабка стояла твердо, как десантный корабль, наполовину корпуса выскочивший на берег, а Валеркина мамка все время переминалась, замирала и вздрагивала, поднимая то одну, то другую ногу на перекладину табурета.

— Помрет? — еле слышно спросил ее голос.

— Кто? Малец-то? Не, не помрет, — ответил голос бабки Потапихи.

Ее обрезанные из валенок чуни, которые она не снимала даже в такую жару, повернулись в сторону табурета. Как настоящий корабль, она и поворачивалась вся целиком.

— Чиво удумала — помирать? Куды иму помирать? Жопа ишшо не округлилась.

Ноги Валеркиной мамки замерли на секунду, а потом согласно опустились с перекладки на пол.

— Правда?

Петька хорошо знал эти ботинки. Валеркина мамка купила их, когда пришла похоронка на Валеркиного отца. Она тогда долго сидела в сенях, смотрела на дырки от гвоздиков, на паутину — не заметила даже, как почтальон дядя Игнат попрощался и тихо ушел. А потом спрятала похоронку за зеркало, молча собрала Валерку и поехала с ним в райцентр. Оттуда Валерка вернулся с этими вот бо-

тинками на ногах. В Разгуляевке ни у кого из пацанов таких не было. Даже взрослые в настоящих кожаных ботинках ходили не все. Боты из войлока, сапоги, чуни. А тут вдруг ботинки.

Но Валерка их совсем не жалел. Ухайдакал за одну зиму. Лишь бы другие пацаны брали его с собой поиграть. И мамка его не ругала. А когда они развалились, начала носить их сама.

В них однажды и пришла в школу к учительнице Анне Николаевне. Попросила показать на карте, где находится Сталинград. Посмотрела на него, накрыла ладонью, постояла так и потом сказала: «Спасибо».

То ли Анне Николаевне сказала, то ли всей большой карте СССР.

Уставившись теперь на эти разбитые ботинки и позабыв о том, что может случиться из-за его открытых глаз, Петька заметил, что веревочка, которой Валеркина мамка прихватила левый башмак, вот-вот сползет, и тогда тот распахнется, как рот у голодного кукушонка. Петька осторожно протянул руку из-под стола, пытаясь поправить веревочку, но беспокойная Валеркина мать неожиданно опять шевельнулась и больно наступила ему на разбитые во вчерашней драке с Ленькой Козырем пальцы. Петька зашипел, и под стол тут же свесилась голова бабки Потапихи. Наклоняться ей было легче, чем поворачиваться.

— Чиво? — подозрительным голосом спросила она. — Чиво расшипелся?

Очевидно, она решила, что Петька в своей зловредности изобрел новую, еще не известную ей, звуковую форму сглаза. Это ее сильно обеспокоило, но Петька тут же прижмурился, закрывая себе

к тому же обеими руками рот, и она, немного подумав, сменила гнев на милость:

— Давай-ка, чем балбесом там просто так сидеть, тараканов мне налови. Да не убивай пока, а придави чуть-чуть. Вот сюды в коробок. Тока с-под стола, гляди, не вылазий.

И Петька начал охоту.

Тараканов было немного, потому что тараканы водятся там, где остается хоть что-нибудь пожрать, а после Валерки и Валеркиной мамки жрать в доме ничего не оставалось. Просто не могло остаться. Самим хватало впритык. Крошки сметались в ладонь и на глазах у расстроенных тараканов аккуратно загружались в рот. Как уголь на шахте. Раз — и в вагонетку.

Поэтому Петька добычу увидел не сразу. Тем более что он все еще продолжал немного прищуриваться. В глаз он верил так же твердо, как в маршала Жукова. Где-то глубоко в сердце у него даже теплилось подозрение, что немцы проиграли войну из-за того, что это он, Петька, сглазил ихнего Гитлера. То есть, конечно, наши сражались отчаянно, и вообще они самые лучшие войска в мире, но все-таки Петька тоже старался изо всех сил.

Где-то примерно год назад он начал выцарапывать на бабки-Дарьином сеновале матерные слова про Гитлера. Сначала просто так — для себя, а потом вдруг с удивлением и замиранием сердца обнаружил, что на каждое нацарапанное им слово наши брали крупные города.

Однажды он решил рискнуть и проверить эту волнующую закономерность, бросив на время писать смешные слова, но после этого страшно корил себя за бездействие. В газетах и в сводках «От Со-

ветского Информбюро», как на плохой патефонной пластинке, стали бесконечно повторяться одни и те же слова: «Ожесточенное сопротивление противника... Большие потери в личном составе...»

Петька в ужасе тогда забрался на сеновал и провел там лихорадочную бессонную ночь. Перепуганный и полный раскаяния, он царапал и царапал гвоздем по бревенчатым стенам матерщину про Гитлера, и уже наутро дяденька Левитан сообщил по радио в сельсовете, что войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршалов Малиновского и Толбухина после упорных боев полностью уничтожили окруженную 190-тысячную группировку из состава немецко-фашистской группы армий «Юг» и освободили город Будапешт.

Примчавшись обратно из сельсовета, Петька с любовью оглядел плоды своего ночного труда, а потом рухнул на сено и проспал до середины следующего дня. Счастливей его не было, наверное, тогда человека во всем Советском Союзе. Разве что маршалы Толбухин и Малиновский. Но с ними Петьке не жалко было поделиться своим счастьем.

Сто девяносто тысяч фрицев за ночь работы — неплохо для одного пацана с гвоздем на сеновале?

Так что в сглаз Петька верил.

Именно поэтому теперь он даже руку побоялся высунуть из-под стола, когда выслеженный им наконец таракан метнулся от него на середину комнаты. Вот так Петьке было жалко Валерку.

Он терпеливо сидел со спичечным коробком, который дала ему бабка Потапиха, и тихо шуршал им, открывая и закрывая его, чтобы привлечь внимание сбежавшего таракана и заманить его к себе обратно под стол. Петька не был уверен — идут ли та-

раканы на шелест спичечных коробков, но другого варианта у него не имелось.

— Иди сюда, Ганс, — шептал он. — Сюда ползи, Адольфик несчастный.

Таракан уловил Петькин шепот, на секунду задумался, засомневался, но потом все-таки понял, чем этот шепот может для него обернуться, и бодро пропустил через всю комнату к Валеркиной кровати.

Петька чертыхнулся и припал к полу.

Снизу, от половиц, ему была видна вся кровать, скомканное одеяло и свесившаяся Валеркина рука. Безжизненная, как доставшееся врагу полковое знамя. Ненужная.

Петька посмотрел на эту Валеркину руку и вдруг почему-то подумал, что никогда не видел умерших птиц. Убитых видел сколько угодно, а вот чтобы они умирали как люди — от старости там, или от болезни, — такого он не встречал. Потому что если бы они померли сами, то должны были где-нибудь валяться. С неба, кроме как на землю, никуда ведь не упадешь. Но ни в самой Разгуляевке, ни вокруг нее Петька мертвых птиц на земле никогда не видел. Только убитых кошками или пацанвой. И выходило, что умирать они летят куда-то в другое место. Или не умирают совсем.

А еще выходило, что людям с их кладбищами, гробами, вытьем и поминками смерть была как будто нужна, и они отмечали ее с такой же готовностью, как обычный праздник — Первое мая или Седьмое ноября, — и напивались при этом совершенно так же, и били друг друга, и целовались, и плакали, а птицы у себя в небе легко обходились без смерти. Летали, летали над головой, а потом если и помирали, то этого почему-то никто не видел.

* * *

— Ведерко ему поставь, — сказала бабка Потапиха. — Не видишь ли, чо ли, заволновался малой. Щас вывернет наизнанку.

Ноги Валеркиной мамки протопали в сени и тут же вернулись обратно. Рядом с кроватью стукнулось об пол деревянное ведро.

— Ты глянь, — сказала Потапиха. — У меня дома точно такое. Артем небось делал?

— Я не знаю, — ответила Валеркина мамка и снова села на табурет.

Она в самом деле не знала. И не могла знать. Ведро это притащил Петька, когда они с Валеркой серьезно собрались дать деру на фронт. Но не успели, потому что слишком долго ждали тепла. Не рассчитали, что в Разгуляевку оно придет намного позже, чем в Германию.

Петька потом сильно ругал Валерку за то, что тот его не предупредил: «Ну ты же знал про эту ихнюю географию! Я, что ли, на уроках лучший ученик?»

Валерка виновато вздыхал, чесался и шмыгал носом. Впрочем, Петька его быстро простил. Когда он представил себе всю эту громаду наших войск, тысячи танков и раскаленных орудий, собранных в одном месте, ему сразу стало понятно, что от всего этого жара, от этого огня, грохота и атаки весна просто не могла не наступить раньше, а вместе с ней — и победа.

Ведро же Петька хотел взять с собой, потому что больше ему брать было нечего. А в дороге надо было иметь хоть что-нибудь. Планировал поменять на жратву. Мало ли кому пригодится. Матросам вчера на станции вон как было надо. Позарез. Поэтому

он и притащил его сюда еще зимой, чтобы бабка Дарья не нашла на сеновале.

— Мне Артем делал, — сказала Потапиха. — Мы с Дарьей его от пьянки лечили.

Петька хорошо помнил, как они уговаривали деда Артема выпить по случаю Первоя настоек бабки Потапихи на слизи налима.

«Да ну вас, бабы, — отмахивался от них дед Артем. — Мне бы чистенькой лучше. А вы туда, вона, соплей напускали. Испортили, гады, продукт».

Но Потапиха с бабкой Дарьей не унимались. Петька знал, что, по их расчетам, после стакана такой выпивки деда Артема должно было долго тошнить, а потом одна даже мысль о водке приводила бы его в содрогание и конвульсии. Дело оставалось за малым. Необходимо было заставить деда выпить этот стакан.

Петька, который из любопытства крутился рядом с бабками, пока они готовили свою зажигательную смесь, успел нюхнуть ее пару раз и заранее сильно сочувствовал деду Артему. Но тот отнекивался недолго. Когда Потапиха, притворно хихикая, намекнула ему, что состав полезен для поддержания мужской силы, он на секунду задумался, что-то вспомнил, чуть-чуть загрустил и наконец махнул рукой:

«Наливай, ети ее! Однова живем!»

Выпив крупными глотками стакан, он слегка задохнулся, снова о чем-то подумал и тут же попросил еще. За вечер дед Артем засадил весь запас бабки-Потапихино зелья, исполнил набор самых похабных частушек, какие знал, а на прощание в благодарность подарил ей недавно изготовленное на продажу ведро. Бабка Дарья, поглядывая на не-

го, хмурилась, становилась все беспокойнее, а под конец, на всякий случай, попросилась к Потапихе ночевать. Разочарованный дед Артем немного покричал в огороде, и потом быстро убежал в степь догоняться уже своим собственным спиртом.

Пить меньше, разумеется, он после этой истории не стал.

— Давай крепче держи, — сказала Потапиха. — Не видишь, он весь у меня ходуном ходит!

Петька высунулся из-под стола, чтобы посмотреть, чего они там делают с Валеркой, но ему все загораживала напряженно склонившаяся над кроватью широкая спина бабки Потапихи.

Над головой у нее раскачивалась вскинутаая кверху Валеркина рука. Он как будто тонул, и эта рука, выброшенная к потолку уже откуда-то из-под воды, изо всех сил цеплялась за воздух.

— Тише, тише, — полумертвыми губами повторяла Валеркина мамка, наваливаясь на него все сильнее и стараясь удержать его руки.

— Крепче держи! — зашипела на нее Потапиха. — Ишшо крепче!

«Задушат», — подумал Петька и почти целиком вылез из-под стола.

У него всегда было подозрение, что бабки втихую душат маленьких ребят. Иначе почему бы их столько померло за последние два года? А в том, что у разгуляевских бабок в глазах было что-то нехорошее, Петька мог поклясться даже именем товарища Сталина.

— А ну, лезь назад! — крикнула на него Потапиха, непонятно каким зрением увидевшая Петькино движение у себя за спиной.

— Тише, тише... — снова сказала Валеркина

мамка, обращаясь теперь уже не к Валерке, а к сидевшему на полу и разинувшему от страха рот Петьке.

Из-за того что она повернулась, Петька наконец увидел Валерку. Тот лежал на боку со сморщенным лицом и крепко закрытыми глазами. Из уха у него торчала длинная бумажная воронка. В первое мгновение Петьке даже показалось, что бабка Потапиха решила прикончить Валерку, забив ему в ухо осиновый кол, но потом он понял, что это всего лишь газета. Впрочем, самое страшное было еще впереди.

Бабка Потапиха, словно в каком-то кошмарном сне про неубиваемых фашистов, взяла с табурета спички, чиркнула и поднесла огонек к раструбу бумажной воронки. Пламя скакнуло вниз к Валеркиной голове. Валерка открыл глаза, безмолвно распахнул рот, и Петька отчетливо увидел, как из этого широко раскрытого рта на подушку зазмеилась струйка белого дыма.

— А-а-а! — наконец услышал Петька Валеркин крик.

— А-а-а! — протяжно кричал Валерка, и его тонкий голос напоминал Петьке то ли пение, то ли плач.

* * *

Вот так же в первую военную зиму плакал председатель разгуляевского колхоза, вернувшись однажды из райцентра без бабки-Потапихино сына. Он сидел за столом у себя в избе под портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, пил водку и пробовал петь, но получалось у него больше плакать.

«Ой, да ни вечер, да ни ве-е-чер...» — тянул председатель, вытирая слезы, потом оборачивался на

портрет, вскакивал и начинал сбивчиво докладывать товарищу Сталину, как и почему у них с Ефимом все вышло.

В райцентр за неделю до этого их увез Степка-милиционер. Пришел с пистолетом, пока они со страху пили у председателя дома, и обоих арестовал. Правда, вычислил он их только на третий день. За это время они вдвоем успели выпить весь контрабандный спирт деда Артема, и тот даже снова намылился ехать в Китай. Хотя до этого собирался туда только через две недели.

«Товарищ Сталин! — вытягивался перед портретом председатель колхоза, отдавая, как на параде, честь, но тут же вспоминая, что к пустой голове руки не прикладывают, а потому бежал в сени, нахлобучивал там до ушей фуражку, возвращался все так же бегом, восстанавливал утраченное равновесие, крепко прижимал острую от страха ладонь к виску и продолжал: — Товарищ Сталин! Докладывает Михаил Якуб! Член партии с одна тыща тридцать четвертого года... Вам одному — как на духу. Не виноваты мы! Случайно все получилось».

В ту первую военную зиму охотник Ефим, которого не взяли на фронт по причине абсолютно беспалой правой руки, погубил единственную колхозную лошадь. Всех остальных забрали по конской мобилизации, а эта райвоенкомату не подошла, потому что сильно укусила в плечо самого военкома. Тот сгоряча велел ее расстрелять, и солдаты уже стянули из-за спины свои огромные винтовки конструкции Мосина, но потом он все-таки отменил приказ.

Вот так в разгуляевском колхозе осталась целая лошадь. Военкому на самом деле захотелось по-

мочь председателю, с которым он давно и очень хорошо дружил, но в конце концов получилось так, что его доброта лишила бабку Потапиху ее единственного сына.

Потому что если бы эту самую лошадь забрали на фронт или застрелили из трехлинейек в разгуляевской колхозной конюшне, то Ефим не обнаружил бы ее потом в своей ловушке, изготовленной для диких коз. И лошадь эта не была бы уже мертвее мертвого, поскольку Ефим был хоть и беспальным охотником, но дело свое знал. Хребет у бедной коняги переломился так основательно, что посередине ее теперь можно было раскрывать и закрывать как книгу. Правда, Ефим никаких книг никогда не читал, поэтому просто сильно перепугался. За порчу колхозного имущества по закону военного времени ему явно корячился расстрел.

Пожевав в растерянности немного снега и поскрипев им вокруг своей злосчастной ловушки, он не придумал ничего лучше, как пойти к председателю и все ему рассказать. Председатель тоже не нашел в себе сил позвать Степку-милиционера и отдать ему Ефима прямо под расстрельную статью, поэтому через час они вдвоем уже пилили ножовками твердую, как бревно, лошадь, стараясь материться потише, посматривая в разные стороны и растаскивая небольшие куски мяса по окрестным кустам. По идее, конечно, все это мясо надо было отнести в Разгуляевку и раздать тем, кто поголодней, но тогда с ними, то есть с Ефимом и теперь уже с председателем, вообще никто не стал бы особенно разбираться. Шлепнули бы как вредителей — и дело с концом.

Поэтому лошадь, разнесенная своей дурацкой

судьбой, как облако в ветреный день, на множество мелких частей, осталась в лесу. Под разными кустиками и немного в овраге. А председатель с Ефимом вернулись домой и засели от страха пить водку. Но Степка-милиционер в тридцать девятом служил у товарища Жукова на Халхин-Голе во фронтовой разведке. Он сразу практически чухнул, что там к чему. Лошадь отсутствует, председатель с Ефимом пьют вчерную, в лесу на сопках — куски мяса.

То есть если бы волки, то, во-первых, они бы просто сожрали, а во-вторых, откуда у них ножовки? Или они зубами наловчились так ровно кромсать?

«За сто рублей человека не будет, — жаловался председатель огромному портрету Сталина, забывая о том, что за ту же сумму и сам мог сейчас быть неизвестно где. — За сто рублей!»

Он вскакивал внезапно на лавку, рывком снимал портрет со стены и, к полному ужасу всех домашних, тащил его на двор, а потом в сарай, где хранилась общественная сенокосилка, доставшаяся колхозу еще во времена раскулачивания.

«Вот за столько! — говорил председатель, показывая портрету сенокосилку. — И даже не за столько, а вот за сколько!»

Он выбегал с портретом из сарая и показывал ему новые ворота, которые сам сделал совсем недавно, и поэтому имел представление, сколько они могут стоить.

«Как ворота, товарищ Сталин! — повторял председатель. — Ворота и еще чуть-чуть... А лес-то на них пошел — говно. Ей-богу, говорю, говно, а не лес. Хороший мы весь в район отправляем... Точно в сроки... Ни разу не опоздали еще».

После этого он долго стоял посреди двора, опустив голову, с портретом в руках. Отказывался возвращаться в тепло и не отдавал родным товарища Сталина. Не доверял его никому. А потом спохватывался петь:

«Ой, налетели ветры злы-ы-е...
Да с восточной стороны-ы-ы-ы-ы...»

Но никак не мог допеть до конца, потому что начинал плакать.

Вот так выяснилось, что бабка Потапиха совершенно напрасно много лет назад рожала своего сына. Никакое отсутствие пальцев его не уберегло. А когда наступила весна, вслед за сыном Потапиха потеряла и невестку.

Корова, на которую ефимовская вдова сильно рассчитывала в смысле выкармливания оставшихся без отца детишек, сдуру вышла на тонкий уже в середине апреля аргунский лед, помычала там, поскользился немного и провалилась. Дети побежали за мамкой, и ту на месте чуть не хватил кондрат. Без коровы с тремя детьми можно было ложиться тут же на берегу и помирать.

Пока тащили ее из полыньи, переломали ей ноги. На берегу она страшно мычала и выкатывала на желтую шкуру большие глаза. Ефимовская вдова, запыхавшись и вся в слезах, думала сначала добить ее колуном и нарезать из кормилицы хотя бы мяса, но потом поняла, что не хватит духу, и решила тащить к Разгуляевке. Маленьким велела подталкивать, а сама со старшей дочерью обвязала корову веревкой и потянула ее по берегу вверх, двигаясь там, где снег еще был поглубже. Девчонку старалась беречь, поэтому налегала изо всех сил. Тащила, напрягая все жилочки.

Так выглядели бы, наверное, две осины, решившие от тоски вытянуть из земли свои корни и улететь куда-нибудь на небо. Дугой выгибаясь от напряжения.

На следующее утро невестка бабки Потапихи с постели подняться уже не смогла. Дети бегали по дому, просили есть, заглядывали ей в лицо, но она только вытирала слезы.

Корова померла через три дня, а мамка у ефимовских сирот — через неделю. Они еще пытались ее разбудить, гладили по голове, щекотали. Потом, когда поняли, собрались и ушли к соседям. Младший уходить никак не хотел. Требовал забрать с собой мамку. Без конца спрашивал — чего она тут одна будет есть. Может, и для него что-нибудь найдется.

Бабка Потапиха, которая до этого жила у себя в Архиповке, скоро приехала за внуками в Разгуляевку. Хотела увезти их к себе, но в конце концов сама осталась тут навсегда. Дом сына ей показался просторней.

Чтобы хоть как-то прокормиться, она стала лечить от разных напастей разгуляевский народ. Платили в основном едой, и бабушку Потапиху это очень устраивало. Анна Николаевна в школе хмурилась, говорила, что все эти староверские обряды — одно бескультурье, но время от времени сама заносила внукам Потапихи что-нибудь поесть. Не в качестве оплаты за ее знахарство, а просто так.

Цыпки Потапиха лечила воробьиным пометом, ангину — керосином, лишай — смесью дегтя, медного купороса, горючей серы и несоленого свиного жира. Труднее всего было найти этот самый жир, поэтому с лишаем у Потапихи получалось да-

леко не всегда. Зато, если кого напугала собака, Потапиха немедленно окуривала пострадавшего дымом пережженной смеси чертополоха и шерсти от этой псины, и человек уже до самой смерти не боялся вообще ничего.

Когда Петька однажды сильно простыл и у него почему-то отнялись ноги, бабка Потапиха велела плотно его укутать, посадить в стог перепревшего из-за летних дождей сена и держать его там ровно три дня. Расслабленный Петька смутно глядел из стога, дремал, потел, ходил под себя, но в назначенный срок ноги у него зашевелились. Правда, потом Петька сильно подозревал, что они отнялись у него просто-напросто с голодухи, а пока он сидел в стогу, бабка Дарья крепко расщедрилась и совала ему туда в сено даже блины с маслом, поэтому ноги, в конце концов, и ожили. Но это были лишь Петькины сомнения. Бабка Дарья после этого случая уверовала в Потапихины силы безоговорочно, и когда потребовалось, например, отучить деда Артема от пьянки, она отправилась прямо к ней.

Правда, многим в Разгуляевке методы бабки Потапихи казались странными. Что касается Петьки, так он не понимал их совсем.

* * *

— Ну чо? — сказала она, заглядывая к нему под стол. — Набрал? Или уснул там, засранец?

Петька молча протянул ей спичечный коробок.

— И все?!! — она держала двумя пальцами раздавленного таракана, как будто собираясь ткнуть им Петьке в лицо.

— Больше не было, — буркнул Петька. — Этого-то еле поймал.

— Да где ж ты его поймал?! Ты его, глянь, всего измочалил! А мне целый нужен! И не один, а десяток!

— Ну, не было больше!

— Ты глянь, ишшо огрызается. А вот я тебе по зубам!

Она ткнула рукой с тараканом в сторону Петьки, но он увернулся и слегка прикусил ее за запястье.

— Кусается, блядкин корень, — сообщила бабка Потапиха Валеркиной мамке, которая тоже участливо заглянула под стол.

— Ты не кусайся, пожалуйста, Петя, — попросила она. — Нам Валерку лечить надо. Ты же видишь, ему совсем плохо.

— А чего она?

— Я тебе дам щас «чиво»! — сказала бабка Потапиха, потирая укушенное место. — Вылезай отсюда!

— Не вылезу!

— Дай-ка мне нож, — попросила Потапиха Валеркину мамку. — Надо в голове у него поискать. Без тараканов оно, конечно, плохо, но вошки тоже сойдут.

Через минуту Петька сидел посреди комнаты на табурете, а бабка Потапиха скребла ножом у него в волосах. Глаза он снова прикрыл, но на этот раз уже не из опасения окончательно сглазить Валерку, а от бесконечного удовольствия. Мамка в последнее время то ли на работе стала так уставать, то ли вообще забыла про Петьку, но давно уже не искала у него в голове. А почесать ножиком по макушке всегда было приятно.

— Кажись, хватит, — сказала наконец бабка Потапиха, и Петька с большим сожалением открыл глаза.

— А можно, я под стол больше не полезу? Оттуда ничего не видать.

Потапиха на секунду засомневалась, но потом махнула рукой:

— Ладно, сиди. Я, если что, заговор против черного глаза скажу... Да он, кажись, у тебя и не черный. Ну-ка, пойди сюда...

Она подтащила его к щелочке в ставнях, из которой в комнату падал узкий, как бритва, луч света, подставила его лицо под щекочущее теплое солнце, и Петька мгновенно ослеп.

— Не-е-т, — протянула бабка Потапиха из этой слезящейся темноты. — Куды ж он у тебя черный? Он и не черный совсем. Чего ты нам, басурманин, тут вкручивал?

— Я не вкручивал, — сказал Петька и поморгал, чтобы из глаза сбежала слеза.

Потом он тихо сидел в углу и смотрел, как бабка Потапиха стряпает пироги из теста, в которое она аккуратно стряхнула всех найденных у него вшей и раздавленного таракана, и как Валерка ест эти пироги, и как после этого его рвет в ведро, а бабка склоняется над ним и приговаривает — ничо, ничо, щас все пройдет, щас все пройдет, касатик, — а потом выходит со двора, и под мышкой у нее пестрая курочка, и голова уже свернута и болтается, как мотня у пьяного деда Артема, а Потапиха уходит все дальше и дальше по улице, к своим внукам, которые уже, наверное, совсем заждались, и потихоньку начинает припевать любимую частушку:

— Пай-ду тан-ца-вать,
Наде-ну баретки.
Буду ноги поднимать
Выше табаретки...

ГЛАВА 8

Покачиваясь от усталости, Хиротаро вышел следом за пустой вагонеткой из шахты и мгновенно ослеп от безжалостного полуденного солнца. Рядом с ним, надсадно дыша, остановился младший унтер-офицер Марута.

— Вы пьете тот отвар, который я для вас приготовил? — спросил Хиротаро, прикрывая глаза ладонью. — У вас очень плохое дыхание...

Но Марута не успел ответить. Неожиданно захрипев, он повалился на землю, и в следующее мгновение изо рта у него хлынула кровь.

Хиротаро тяжело опустился перед ним на колени. В левую ногу ему впился острый кусок угля. Вокруг тут же собралась небольшая толпа. Опираясь на палку, торопливо подошел Масахиро. Кто-то из охранников хотел разогнать японцев, но потом махнул рукой и отошел.

— Помоги ему, — сказал Масахиро.

Хиротаро выпрямился и потер колени, пораненное осколком угля.

— Помоги ему, — повторил Масахиро. — Ты единственный врач.

Хиротаро обвел глазами сгрудившихся вокруг него пленных, покачал головой и пошел прочь от шахты.

Младший унтер-офицер Марута еще продолжал хрипеть. На губах у него пузырилась кровавая пена.

— Только русским помогаешь! — закричал Масахиро и в бессильной злобе швырнул свою палку в спину уходящему Хиротаро.

Тот остановился.

— Предатель! — продолжал кричать Масахиро. — Я всегда знал, что ты трус и предатель! Если

бы я попал в плен в полном сознании, как ты, у меня бы хватило смелости сделать себе сэппуку.

Хиротаро молча смотрел на своего друга.

— Если бы ты знал, как я тебя ненавижу! — кричал тот.

Лицо Масахирос искажилось от страшной злобы, и Хиротаро наконец заговорил.

— Я знаю, — сказал он. — Но это сейчас неважно.

Масахирос осекся и замолчал, дыша так тяжело и прерывисто, как будто не младший унтер-офицер Марута, а он сам сейчас умирал от туберкулеза.

— Только ты напрасно злишься, — продолжал Хиротаро. — Ему нельзя помочь. У него просто больше нет легких.

Затем он повернулся и пошел дальше.

— Чего это они? — спросил ефрейтор Соколов, подходя к охранникам и закуривая.

— Да помирает у них один. А эти вон разорались. Надо было все-таки лекаря в карцер отправить. Зря его старшой пожалел.

— Понятно. Короче, хватит стоять. Пусть работают. Давай их обратно в шахту.

— Есть!

— А мертвяка пусть сами закапывают. Выдели там двоих — вон тех, что орали.

* * *

Хиротаро действительно знал, что Масахирос его ненавидит. Последние двадцать лет он жил с постоянным чувством вины перед своим другом, прекрасно понимая, что занял его место. Если бы Масахирос появился на свет полноценным ребенком, господин Ивая ни за что бы не стал помогать мальчишке из нищей семьи, и Хиротаро никогда не по-

пал бы в университет, а потом не поехал бы в Париж изучать фармацию. Время от времени где-то глубоко в сердце у него мелькало смутное чувство благодарности к тому божеству, которое повелело сыну господина Ивая родиться хромым, но он всякий раз искренне стыдился этого чувства и всеми силами старался его подавить, считая своим долгом заботиться о Масахиро, несмотря ни на что, несмотря на его ненависть. Отчасти он даже уважал ее как последнее неотъемлемое право того, у кого отняли все права. Он слишком хорошо помнил, кто первым начал отнимать их.

В детстве Хиротаро часто убегал из табачного магазина, где каждые два часа должен был протирать полки с товаром. Он пробирался на фабрику и подолгу наблюдал за тем, как наполняют табакком бумажные гильзы. Процесс набивки толстых папирос буквально завораживал его.

Незаметно для себя самого он научился различать сорта табака. Хиротаро читал едва уловимые оттенки табачных ароматов, как другие люди читают газету. Как-то раз господин Ивая привел на фабрику своего сына, дал ему понюхать самую известную марку своих сигарет и велел смешать нарезку из листьев разных сортов, чтобы в итоге получилась табачная смесь именно той марки. У Масахиро ничего не вышло, и тогда Хиротаро, который вертелся неподалеку, по простоте души подсказал своему незадачливому ровеснику, что надо с чем смешать. Господин Ивая, хоть и был занят разговором с рабочими, все же заметил подсказку и вскоре велел привести сообразительного мальчишку к себе в кабинет.

Поговорив с ним, он во второй раз отправился в

дом Мисуги-неудачника и попросил, чтобы ему дали возможность заниматься образованием Хиротаро. Для начала господин Ивая решил отправить его на месяц в небольшую деревню, расположенную в префектуре Фукуока. Там Хиротаро должен был изучить процесс выращивания табака.

Как только об этом услышал Масахиро, он немедленно отказался от еды и не ел до тех самых пор, пока его тоже не взяли в деревню. Хиротаро даже не подозревал, чем обернется для него этот каприз.

Все началось с большой кучи навоза. Согласно твердым указаниям господина Ивая, помощник управляющего табачной плантацией должен был приступить к обучению Хиротаро с первичного цикла, то есть с подготовки согревающего слоя для рассады. Поскольку сын хозяина, несмотря на свою хромоту, ни на шаг не отставал от Хиротаро, старик привел обоих мальчиков к вырытому в земле неглубокому котловану. По дороге он несколько раз заикался о том, что хозяйскому сыну не стоит посещать нечистое место, но Масахиро не обращал на его слова ни малейшего внимания и, отворачиваясь от сильного ветра, упрямо ковылял в сторону ветхих сарайчиков, где каждую осень после уборки урожая сушился табачный лист.

Рядом с котлованом глубиной примерно в полметра возвышалась огромная куча навоза. Помощник управляющего объяснил, что сухой конский навоз хранится в таких кучах несколько месяцев, а перед укладкой в котлован его поливают водой.

От страшной вони мальчишки зажали носы, а старик как ни в чем не бывало продолжал рассказывать, до какой степени рыхлости должен быть

доведен влажный навоз. Дав необходимые разъяснения, он еще раз предложил хозяйскому сыну уйти, а затем вручил Хиротаро лопату и сказал, что через час вернется, чтобы проверить, как наполняется котлован.

Пока Хиротаро работал, Масахиро бродил поблизости, насвистывая и швыряя камнями в птиц. Дождавшись, когда в одном углу котлована скопилось побольше зловонной жижи, он подошел и будто случайно уронил туда свою трость. Ничего не подозревающий Хиротаро с готовностью бросил на землю лопату и спрыгнул в котлован, немедленно утонув по щиколотки во влажном навозе. Ему и без того было жалко хозяйского сына, а теперь, после того как господин Ивая занялся его образованием, он испытывал огромную благодарность ко всей их семье. Выхватив трость из навоза, он быстро вытер ее о свои штаны, широко улыбнулся и протянул молчаливому Масахиро, который стоял на краю ямы. Тот взял свою палку, секунду о чем-то подумал, а потом, неожиданно размахнувшись, ударил ею по улыбающемуся лицу Хиротаро.

Через две недели началась посадка проклюнувшейся рассады. Хиротаро шел следом за водоносом, который поливал грядки, и стариком, раскладываявшим крохотные ростки. Опускаясь коленями на влажную землю, Хиротаро выкапывал аккуратную лунку, высаживал в нее рассаду и присыпал горсткой сухой пыли. Метрах в пятнадцати за его спиной вдоль грядки двигался Масахиро. Он делал вид, что разглядывает посаженные ростки, а сам тщательно выковыривал их из земли концом своей трости.

Когда водонос прошел до конца весь первый ряд

и вернулся к исходной точке, чтобы начать поливать второй, Хиротаро досталось на орехи. Крестьяне успели разок-другой стегнуть его прутьями ивы, но от серьезной порки его избавил подошедший на крик неизвестный ему молодой господин. Этот человек представился именем Китамура Сэй-бо из городка Минамиарима и сказал, что он скульптор. Он попросил не наказывать Хиротаро, поскольку вот уже час занимался поблизости поисками особой глины для своих скульптур и видел, кто на самом деле испортил посадку.

Растерянные крестьяне отпустили плачущего Хиротаро, но отхлестать прутьями хозяйского сына духа ни у кого из них не хватило. Масахиро еще некоторое время выкрикивал издали обидные слова, плевался и топтал ногами рассаду. Все, кто был на поле, включая неожиданно подошедшего скульптора, молча смотрели на него и щурились от яркого весеннего солнца.

Когда он ушел, работа возобновилась. Хиротаро продолжал высаживать ростки табака, все еще иногда всхлипывая и размазывая тыльной стороной ладони грязь по щекам, а господин Китамура пристально наблюдал за ним, присев на корточки у края поля.

И все же, несмотря на эти неприятные события, в конце концов как-то само собой выяснилось, что господин Ивая не ошибся, занявшись обучением Хиротаро. Уже через полгода тот на любой стадии ферментации бойко определял буквально все выращиваемые на плантациях префектуры Фукуока сорта табака. Именно он предложил обрезать у табачных растений еще и боковые побеги, идущие в рост из пазух листьев после срезания цветка. И хо-

тя крестьяне уверяли господина Ивая, что это неправильно и что так никто никогда не поступал, тот все же дал указание провести эксперимент на одном из полей. В итоге с этого поля собрали урожай, в полтора раза превышающий обычный, а плотность продуктивных листьев оказалась намного выше, чем на всех остальных полях.

Через год, когда Хиротаро исполнилось двенадцать, а в Европе из-за убийства эрцгерцога началась мировая война, ему удалось заново смешать табак для сигарет марки «Ивая». Несмотря на все возражения фабричных технологов, он добавил в табачную смесь два сорта, которые раньше считались почти сорняками, и продажи сигарет после этого резко пошли вверх.

Партнерам по бизнесу господин Ивая объяснил свой новый успех появлением «табачного гения», и все они были немало удивлены, когда в ответ на их просьбы он однажды привел на выступление двух знаменитых гейш испуганного и довольно оборванного мальчишку.

Впрочем, сам Хиротаро никаким «табачным гением» себя не считал. Ему просто нравилось возиться с травами. О табаке к этому времени он знал уже практически все, поэтому, если бы господин Ивая разрешил ему изучать и другие растения, он с удовольствием бы про него забыл. Табак уже успел ему надоеть.

Тем не менее танец гейш произвел на него сильное впечатление. Вернувшись домой, Хиротаро тут же побежал к Масахиро и принялся с восторгом рассказывать ему об их удивительных веерах. Он говорил, что они похожи на цветы небывалых растений, а тонкие бледные руки, обнажавшиеся в

призрачном свете, когда с них соскальзывали рукава кимоно, казались ему хрупкими стеблями кувшинок.

Выслушав его, Масахиро проковылял в кабинет отца и принес оттуда целую кипу отпечатанных на толстой бумаге рисунков. Господин Ивая хранил у себя в шкафчике гравюры не только с изображением табачных растений.

Глядя на совокупающихся дам и господ в дорогих кимоно, Хиротаро удивлялся бесстрастному выражению их лиц и думал, что даже в этом, а не только в своих причудливых позах, они похожи на орхидеи. Однажды в саду храма Кофукудзи ему удалось найти белоснежный цветок, который напоминал своей формой летящую цаплю, и теперь он невольно искал подобное расположение «лепестков» на этих гравюрах, но не находил.

Масахиро шуршал рисунками и сетовал, что ни на одном из них не видно женской груди — хотя бы самой маленькой, самой плоской, размером хотя бы с грецкий орех.

«Дурацкие кимоно», — бормотал он, отшвыривая в сторону следующий рисунок.

Мужской орган везде был прорисован в деталях, и даже, пожалуй, излишне преувеличенных, но Масахиро он нисколько не интересовал. Про «эту штуку» ему все уже давным-давно было известно.

Разочарованно отпихнув от себя бесполезные отцовские гравюры, он поднялся с циновки, осторожно выглянул в коридор и затем шепотом рассказал Хиротаро историю про страшных гейш, которые незаметно перевязывают шелковой нитью мужчинам мошонку, а когда у тех наступает эрекция, они затягивают узел еще туже, и мужчины

умирают в страшных мучениях. Перепуганный Хиротаро не мог понять, зачем это нужно и почему несчастные жертвы не снимут эту ужасную шелковую нить, но Масахирос объяснил ему, что гейши вовсе не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд.

«Будь осторожен, когда снова пойдешь к ним», — шепнул он, делая круглые глаза.

«Я не пойду», — так же тихо ответил Хиротаро, стараясь больше не смотреть на разлетевшиеся по полу гравюры господина Ивая.

ГЛАВА 9

Врача Петька решил найти в лагере для военнопленных. Он понял, что если бабке Потапихе с ее тараканами, вшами и прочим дурным лекарством дать волю, она уморит Валерку вконец.

«Своих не бросаем, — думал он по дороге в лагерь, взбивая пятками пыль, которая не успевала оседать у него за спиной. — Товарищ старший лейтенант прикажет — и будет Валерке нормальный врач».

Но часового у ворот почему-то не оказалось. Петька в нерешительности присел на корточки, посопел, задумчиво поковырял прутиком между черных от пыли пальцев сначала на правой, потом на левой ноге, затем опустил голову еще чуть ниже и попытался заглянуть под ворота. Ничего, кроме истоптанной сапогами пыли, он там не увидел.

— Дяденька... — позвал он, надеясь, что кто-нибудь откликнется. — А, дяденька?..

По дороге сюда он несколько раз представлял себе, как назовет часовому имя и звание товарища

старшего лейтенанта Одинцова, и тот немедленно пустит его куда угодно. А может быть, даже и козырнет.

Петька любил смотреть на то, как козыряли друг другу на станции при смене дежурные офицеры. Правая рука у них начинала плавно двигаться вверх от локтя, который заметно опережал еще как бы дремлющую ладонь, и от этого получался такой красивый изгиб, что сердце у Петьки буквально переставало биться, но уже в следующее мгновение эта небрежная офицерская кисть полностью пробуждалась и выстреливала, как реактивный снаряд из «Катюши», под сверкающий черным лаком, надвинутый до самых бровей козырек.

Петька не один час провел у себя в сарае, отдавая честь козам бабки Дарьи, старым вилам, лестнице или сену. Ему ужасно хотелось добиться того летящего пронзительного эффекта, с которым напряженные офицерские пальцы молнией вылетали из кулака к стриженому виску. Но зеркало без скандала, а то и без мордобоя с бабки-Дарьиным веселым участием в сарай притащить было нельзя, и Петьке приходилось вертеться снаружи, так чтобы тень падала прямо вперед, и по ней, по этой вертявой тени, хоть что-нибудь можно было бы разобрать.

Однако зараза-тень беспрестанно корчилась, вместо правой руки козыряла левой, при этом была несерьезная, щуплая, и на башке у нее ко всему прочему отсутствовала фуражка. Не говоря уже про козырек. В общем, Петька ей не доверял и про себя называл «дефективная».

К тому же она козыряла только в солнечный день.

— Дяденька... — повторил он, но ему снова никто не ответил.

Петька выпрямился, еще немного потоптался на месте, оглянулся по сторонам и осторожно приблизился вплотную к воротам. Из лагеря доносились какие-то отдаленные крики, но о чем кричат, отсюда, из-за забора, разобрать было невозможно. Только большой кусок потемневшей фанеры с надписью «Охраняемая территория» время от времени постукивал на ветру.

— Дяденька... — еще раз на всякий случай позвал Петька, а затем, не дождавшись ответа, потянул левую створку лагерных ворот на себя.

Справа у вышки и дальше за ней никого не было. Наверху стоял автоматчик, но он не обратил на Петьку абсолютно никакого внимания. Как будто в ворота заглянул не пацан, а так — насекомое. Автоматчик, не отрываясь, смотрел совершенно в другую сторону — мимо крошечного Петьки, мимо бараков, мимо столовой и мимо казармы. Там происходило что-то такое, чего от ворот было не видно. Петька вытянул шею, подпрыгнул, забежал слегка влево, потом вправо, но разглядеть все равно ничего не сумел. Надо было обходить казарму.

Для начала он сделал робкие пять шагов по пыльному плацу, на всякий случай стараясь ступать в огромные отпечатки чьих-то подкованных сапог и надеясь, что это хоть как-то оправдает его присутствие. Затем настороженно посмотрел на автоматчика. Тот по-прежнему не отрывал взгляда от дальнего конца лагеря. Смех и крики, которые Петька слышал еще за забором, доносились как раз оттуда.

Сосчитав до трех, Петька съежился, стараясь за-

нимать на плацу как можно меньше места, и по шажочку двинулся в сторону казармы.

Оказавшись наконец у стены, он на секунду замер, наострив уши и прислушиваясь то ли к часовому на вышке, то ли к своему колотящемуся сердцу, а потом рванул что было сил туда, откуда доносился веселый гомон.

— Давай, давай! — кричали свисающие почти до земли — кто вниз головой, кто поджимая колени — солдаты. — Тащи! Чуть-чуть осталось!

Между двумя бараками прямо на Петьку двигалась огромная человеческая каракатица. Из «каракатицы» торчали ноги, лица, руки, ремни.

Петька в полном восторге остановился, и в сердце у него сладко заныло: «куча-мала».

Когда такое случилось в Разгуляевке, его даже близко не подпускали к веселью. Считалось, что выблядок имеет право смотреть на чехарду максимум из кустов. О том, чтобы самому в нее прыгнуть, не было даже и речи.

— Уйди, шкет! — прохрипел кто-то из-под всех этих рук и ног. — С дороги, б-л-л-яха!

Петька отшатнулся к стене, и куча-мала со смехом, стонами и матерщиной медленно проследовала мимо него.

— Тащи, тащи! — захлебываясь от хохота, кричал совсем молодой солдатик с большим ртом, удобно усевшийся на самом верху. — Не жрали с утра совсем, что ли?

Те, кому повезло меньше, сильно шевелились под ним, стараясь затянуть счастливого солдатика в общую кучу красных от напряжения лиц, но он всякий раз изворачивался и неизменно оказывался наверху.

— Тащи!

Когда «каракатица» с невероятным трудом повернула за угол, Петька увидел, куда она движется. Прямо по курсу у кучи-малы стояла скамейка. На скамейке сидел ефрейтор Соколов. Судя по его мрачному лицу, до солдатской возни ему не было никакого дела. Он просто сидел на этой скамейке и курил свой офицерский «Казбек». Однако «каракатица» должна была прийти именно до него.

— Давай, давай! — кричал уже сильно сползающий, но по-прежнему счастливый солдатик. — Со всем немного осталось!

Петька крутнулся от нетерпения вокруг кучи-малы, добежал до скамейки и сразу обратно.

— Слышь, ефрейтор! — сило позвал кто-то из этой шевелящейся многорукой массы. — Ты глянька, у них там слева никто не свисает? Царапает, я же вижу, сапогом по земле.

Соколов на мгновение отвлекся от своих мрачных дум, рассеянно посмотрел на покачивающуюся в ожидании его приговора солдатскую «каракатицу» и медленно, с расстановкой, ответил:

— Да пошли вы на хер со своей чехардой.

— Давайте я посмотрю! — пронзительно закричал Петька и буквально рухнул на землю, вдавливаясь щекой в теплую пыль, почти уткнувшись носом в чьи-то огромные, тяжело переступающие сапоги.

«Каракатица» тут же послушно притихла, поскольку ей было абсолютно неважно, кто присудит поражение веселой наезднической стороне, и Петька, на секунду успевший удивиться своей неожиданной власти, отчетливо увидел, как кто-то

слева из последних сил действительно поджигает пыльный сапог.

— Чисто! — закричал он, немедленно принимая сторону тех, кто был наверху. — Не цепляют! Можно идти дальше!

До скамейки «каракатице» оставалось метров пять-шесть. Солдаты внизу глубоко вздохнули, молоденький охранник весело засмеялся, и куча-мала снова тяжело двинулась вперед.

— Дойдем, я тебя, шкет, задавлю, — глухо пообещал кто-то из глубины, но Петька, уже ощутивший свое значение, отнес эти слова не к себе, а к веселому молодому солдату, который продолжал хохотать и раскачиваться на самом верху, хлопая обеими руками по чужим спинам.

Добравшись до ефрейтора Соколова, куча-мала остановилась и с матерком начала рассыпаться. Петька смотрел, как из этой бесформенной массы вылепляются отдельные люди, каждый теперь уже со своей парой рук и ног. Все они были сильно помяты, всклокочены и не сразу могли расцепиться.

Глядя на них, Петька почему-то вдруг вспомнил многорукую статуэтку странного китайского бога, которую дед Артем привез однажды с той стороны, выменяв ее неизвестно зачем на свой спирт. Бабка Дарья тогда устроила деду небольшой мордобой, а Петьке статуэтка понравилась. Ему казалось, что столько рук одному человеку просто так достаться не могут. Видимо, он чем-то их все заслужил. Петька долго потом лежал у себя на сеновале, пялился на синие дыры в прохудившейся крыше и думал о том, как бы ему самому зажилось, если бы у него тоже вдруг отросли две-три пары запасных рук.

— А ну, давай все на построение, — злым голо-

сом сказал ефрейтор Соколов, затапывая сапогом оуток. — Расходились, блядь, жеребцы!

Солдаты еще продолжали кто ворчать, кто смеяться, но ефрейтору, судя по всему, были противны и те и другие.

— По-быстрому, я сказал!

— Ты чего такой суровый, Соколов? — расправляя под ремнем гимнастерку, спросил пожилой, как показалось Петьке, охранник. — С цепи, что ли, сорвался?

— А ему Алена не дала, — сказал кто-то из-за спин негромким, но насмешливым голосом.

Ефрейтор стремительно обернулся на этот голос, но говоривший уже нырнул в общую солдатскую массу.

В этот момент молоденький большеротый охранник, который все еще был слегка не в себе от пережитого веселья, вдруг пропел высоким петушиным криком:

— Мине милка не дала!
К офицеру убегла!

Он успел еще обернуться в надежде увидеть одобрение на лицах своих товарищей, но уже в следующее мгновение упал как подкошенный к их ногам, а ефрейтор Соколов стоял над ним, хищно склонившись и приготовив руку для второго удара.

— Мало, сука? — спросил он, сузив глаза, как рысь на дереве, и сильно играя желваками.

— Ты чего, ефрейтор? — сказал кто-то из толпы. — Он же пошутил.

— Я сказал — все на построение! Бегом! А ты, сучонок, пойдешь япошек считать. И попробуй мне пропустить хоть одного! Понял? Быстро встал — и к баракам!

Охранники притихли и по одному двинулись в сторону плаца, а лежавший в пыли солдатик продолжал испуганно хлопать глазами, выглядывая из-за выставленных щитком ладоней.

— Подъем! — заорал на него Соколов и пнул носком сапога в левый бок.

Солдатик вскочил на ноги, прижал руку к тому месту, где было больно, и почему-то еще и прихрамывая, побежал догонять остальных. На лице его отражались боль и недоумение. Жизнь, очевидно, уже не казалась ему так прекрасна, какой она выглядела со спин его боевых товарищей всего две минуты назад.

Сообразив, что ефрейтор сейчас тоже уйдет по своим нервным делам, Петька спохватился и дернул его за рукав:

— А где товарищ старший лейтенант Одинцов? А, дяденька? Мне Одинцов нужен.

Петька был абсолютно уверен, что в этом прекрасном месте все любят друг друга и, разумеется, товарища Одинцова.

Ефрейтор на секунду замер, потом резко вырвал свою руку из Петькиной руки и, не оборачиваясь, зашагал в сторону часовой вышки.

— Ты радуйся, шкет, что это ты ему давеча спирт принес, — сказал пожилой охранник, опускаясь рядом с Петькой на скамейку. — А то за такие вопросы давно бы уже, значит, летел из ворот вверх тормашками. На цугундер.

— А чо? — удивленно сказал Петька. — Чо я спросил-то?

— Чо-чо? Через плечо.

Охранник подмигнул Петьке, и тот вдруг увидел, что он был совсем не пожилой и, может быть, даже

моложе лейтенанта Одинцова. Просто у него была седая голова.

— Вон там он, — сказал этот молодой, но уже старый охранник. — В столовой, значит. Дуй туда, если хочешь его найти.

* * *

С улицы после яркого солнца Петьке в столовой целую минуту пришлось привыкать к полутьме. Окошки тут были совсем маленькие, а помещение с новенькими столами и длинными лавками вдоль них — огромное, как самолетный ангар. Петька стоял на пороге, беспомощно моргал и принюхивался к запаху свежеструганых досок.

— Эй! Ты чего там? — услышал он голос старшего лейтенанта Одинцова и, проморгавшись, увидел наконец его самого.

— Ничего, — сказал Петька. — Я по делу пришел.

— Ну, так давай сюда, раз по делу. Чего там встал, как приклеенный?

— Я не приклеенный, — сказал Петька, по-прежнему не двигаясь с места.

— А чего там стоишь-то? Двигай сюда. Ты что, испугался, что ли? Есть хочешь?

Но Петька не испугался. В Разгуляевке и в ее окрестностях уже не очень много оставалось такого, что могло его напугать.

Просто рядом с товарищем старшим лейтенантом Одинцовым сидела мать Ленки Козыря, тетка Алена. Буквально касаясь его плечом. Такого удара Петька не ожидал. Все, что угодно, только не это.

— Я тебе говорю — будешь кашу лопать? — сказал старший лейтенант. — Там от обеда немного осталось. Если не будешь, я прикажу японцам в ба-

рак отдать. А то дохнут, как мухи. Сегодня вон загнулся еще один.

— Я буду, — сказал Петька и наконец сделал шаг вперед.

— Наш человек, — одобрил лейтенант Одинцов. — А то жмешься, как неродной. Иди, загляни на кухню. Дневальные, кажется, еще не ушли. Они тебе сколько надо навалят. И тарелку бери поглубже.

Петька, как на протезах, сходил на кухню и через минуту вернулся оттуда с полной миской дымящейся каши. Про Валерку и про врача для него он вдруг совсем забыл. Его мучило непонятное ему чувство. Как будто он застучал товарища старшего лейтенанта на чем-то очень стыдном.

— Лопай, — сказал Одинцов, и Петька с горящим лицом уткнулся носом в тарелку.

На кашу он навалился не столько даже от голода, сколько от неосознанного желания исчезнуть, испариться, не быть здесь.

Петька никак не мог понять, отчего ему на сердце вдруг стало так тяжело, но справиться с этим чувством он был не в силах, и поэтому налегал на кашу, как землеройная машина. Как будто вообще ничего не ел дня три.

Щеки его раздулись. На стол и обратно в тарелку время от времени изо рта мягко шлепались влажные комки каши. На лбу проступила испарина. По спине между лопаток побежали одна за другой щекотливые струйки пота. Петька набивал рот, глухо кашлял и нервно шевелил плечами.

— Не кормят они его, что ли, совсем? — усмехнулась тетка Алена, глядя, как мечется между та-

релкой и Петькиным ртом алюминиевая солдатская ложка. — Ты смотри, как оголодал.

— Ты вот что, — перебил ее старший лейтенант. — Давай-ка мне тут не отвлекайся. Пусть пацан немного поест. У меня с тобой о другом разговор.

— А чего? — сказала тетка Алена, улыбаясь какой-то понятной лишь ей и, видимо, старшему лейтенанту Одинцову улыбкой.

Во всяком случае, Петька насчет этих накрашенных губ не понимал — с какой она, вообще, радости вот так вот сидит здесь в солдатской столовой и лыбится. Он даже с обидой подумал, что, может быть, товарищ старший лейтенант уже ей что-нибудь пообещал — на «виллисе», например, прокатить или из автомата дать стрельнуть.

— Моральное разложение, — кашлянув в кулак, сказал Одинцов. — А проще говоря — разврат.

— Ой, да ладно вам, товарищ лейтенант! — слащавым голосом протянула она.

— Старший лейтенант.

— Ну, пусть будет старший. Так даже еще лучше.

Тетка Алена замолчала и, повернувшись к Одинцову всем телом, не моргая, смотрела ему прямо в глаза. По лицу ее непонятно скользила улыбка. Она то вспыхивала где-то у нее в зрачках, то пробегала волной по приоткрытому влажному рту, а то вдруг начинала дрожать на белых, слегка мясистых крыльях носа, и все никак не устанавливалась где-нибудь в одном месте — так, чтобы нормальный человек, такой, например, как Петька, мог поглядеть на нее и спокойно сказать — вот, улыбается.

— Отставить, — глухо произнес Одинцов, и

Петька не понял — то ли это было сказано тетке Алене, то ли он приказывал самому себе.

Лейтенант нахмурился, помолчал и перевел взгляд на Петьку:

— Ну как? Каша-то ничего?

— Ни-фи-во, — прошипел Петька с набитым ртом. — Кус-на.

— Китаец, что ли? — засмеялась тетка Алена, откидывая голову назад и как бы случайно выставляя на обозрение свою мягкую шею и круглый вырез платья на полной груди.

Глядя на эту ее белую шею, Петька почему-то вспомнил зарезанного на Пасху гуся, которого бабка Дарья выкармливала, чтобы угостить дядьку Витьку и дядьку Юрку, когда те вернутся с фронта. Но гусь до их возвращения не дотянул. Скопытился раньше.

Еще прошлой осенью Чижовым перестали приходить фронтовые треугольнички с письмами, и дед Артем уже с тоской поглядывал на дверь, увидав из окна, как подходит к воротам дядя Игнат. Ждал похоронок. Но почтальон специально ходил по Разгуляевке, зная, что в любом доме его угостят как родного, лишь бы он пришел без дурных вестей. И он ходил, сколько мог. Поэтому даже дед Артем, в конце концов, перестал из-за него пугаться. А потом, уже по весне, пришли письма из госпиталя. И в каждом из них чужим почерком сообщалось, что все нормально. Что по дядьки-Витькиной и дядьки-Юркиной просьбе пишет сестричка Катя из Таганрога. От каждого сына по письму. Чтобы не беспокоились. И чтоб лично. А в конце опять — тыры-пыры, мол, все нормально, и боевые раны вскорости заживут.

Дед Артем после писем спрятался в сених и немного поплакал, а к вечеру на радостях выпил полжбанчика водки и зарезал под это дело бабки-Дарьиного гуся. Петька, у которого помимо кухонных интересов были к тому же кое-какие личные счеты с этим самым гусем, разумеется, не мог пропустить такое событие. Поэтому путался под ногами и сильно мешал.

Так вот шея у тетки Алены сейчас была точно такая же мягкая и белая, как у того гуся, когда дед Артем, зажав в одной руке нож, другой запрокинул на себя его молчаливую голову, подмигнул притихшему Петьке и быстрым движением провел по этой шее красную черту.

«Чикнул» — как он сам потом сказал бабке Дарье.

— Чего уставился? — заговорила тетка Алена, закончив наконец со своими улыбками и даже как будто поеживаясь под Петькиным взглядом. — Жри давай... Выблядок.

Петька автоматически сунул еще несколько ложек каши себе в рот, но потом вдруг сообразил, что «выблядком» здесь в лагере его пока никто не называл. Никто даже и не знал, что он выблядок.

— Эй, ты чего? — закричала тетка Алена, вскакивая на ноги и вытирая серые брызги каши с лица.

Правда, Петька подумал — не «с лица», а «с морды».

— Перестань! — крикнула она, отскакивая еще дальше.

Петька успел еще два раза садануть ложкой по каше так, чтобы она шрапнелью летела из тарелки в сторону тетки Алены, но тут его схватил за руку Одинцов.

— Отставить! — строго сказал он.

— Сбесился, что ли? — заорала тетка Алена, растопырив руки и с тревогой осматривая свое самое праздничное платье, как будто Петька брызгался не овсянкой, а, к примеру, говном.

— Я больше не буду, — быстро сказал Петька и укусил старшего лейтенанта за руку.

— Ох, еб! — сказал тот, отшатываясь от него всем телом.

— Батарей, огонь! — скомандовал Петька, и в тетку Алену полетели уже не брызги, а целые пригоршни овсянки.

Он больше не шлепал по ней ложкой, а прямо зачерпывал и швырял большими шматками. Причем, разумеется, весьма метко. Артиллеристы товарища Сталина не мажут.

— Орудия к бою!

— И-и-и! — визжала тетка Алена, пытаясь закрыть лицо руками, но Петька лупил бронебойными, которые легко пробивали оборону противника и шлепались густыми комками ей в лоб, в щеки и в грудь.

Петька вел огонь на такой бешеной скорости, что пока Одинцов сообразил, что к чему, и сгреб его в охапку, тетка Алена оказалась обстреляна уже с ног до головы. Каша была у нее в волосах и на шее, которую она так томно выставляла всего минуточку назад, на сиськах, на пузе — в общем, везде. Петькина батарея отработала на «отлично».

— Ты... ты чего? — изумленно пробормотал старший лейтенант.

— Я больше не буду, — заученно повторил Петька и бросил ложку под стол.

Бой был окончен.

С минуту в столовой царила гробовая тишина.

Старший лейтенант Одинцов и тетка Алена молчали, не в силах поверить тому, что произошло, а Петька молчал, наслаждаясь результатами своей артподготовки. Ему лично поверить во все случившееся было очень легко. Он просто сидел и терпеливо ждал, когда эти двое очнутся.

Не дождавшись, Петька перевел взгляд с устряпанной тетки Алены на стол, где посреди больших и маленьких лужиц каши рядом со старшим лейтенантом лежала его фуражка. Каким-то чудом овсянка, пролетая прямо над ней, на сукно ни разу так и не попала.

— А научи меня правильно честь отдавать, — сказал Петька, неожиданно переходя с Одинцовым на «ты» .

— Вот засранец, — протянула наконец тетка Алена.

— Ты на себя посмотри, — улыбаясь во весь рот, сказал он.

* * *

По поводу «улыбаться» Петька редко употреблял это слово. Чаще он говорил «скалиться», «лыбиться», «щериться» или вообще молчал. Он думал — а чего говорить? И так все понятно. Улыбайся не улыбайся — лишнего пожрать все равно не дадут. Бабка Дарья, так наоборот, еще поварешкой засветит по кумполу. Ей лишний раз улыбнешься — она сразу скумекает, что у тебя на уме. Поэтому Петька чаще обходился серьезной рожей. Так было безопасней. Да и взрослые вокруг не особенно улыбались. Хотя вроде бы сами себе раздавали жратву.

Из улыбок Петьке запомнилось более-менее ли-

цо дядьки Юрки, когда разгуляевских мужиков посадили на военкоматский грузовик и повезли в райцентр получать обмундирование, а оттуда — дальше на фронт. Петька долго бежал тогда за машиной, глотал пыль, а дядька Юрка сверху ему улыбался — немного растерянно, правда, потому что боялся, наверно, что Петька может упасть, но все равно улыбался. А дядька Витька сидел рядом и хмуро смотрел в борт. Так и уехал на войну с опущенными глазами.

Вылетев теперь пулей из ворот лагеря, Петька попрыгал вокруг кустов, посвистел, пошвырял за забор камнями, а потом, чуть-чуть успокоившись, начал бегать между деревьями и козырять. Он на секунду замирал у шершавых стволов, рывком бросал правую руку к виску, хлопая левой по макушке, снова свистел, кувыркался по траве через голову и бежал дальше. Так весело ему не было еще никогда.

Хотя врача для Валерки найти так и не получилось.

— Эй, шкет! — внезапно окликнул его кто-то с дороги. — А ну-ка, иди сюда, значит. Чего там носишься, как стрекозел? Сдурел, что ли?

Петька замер с бьющимся сердцем и вытаращенными глазами, перестав не только дышать, но даже соображать. Так застывает в степи тарбаган, застигнутый врасплох незаметно приблизившимся человеком. Перепуганный до смерти и не способный сделать ни одного своего крошечного мохнатого шага.

— Иди сюда, кому говорят!

Петька выглянул из-за кустов и увидел на дороге двух охранников. Один из них был тот самый моло-

дой солдат с большим ртом, который ехал в чехарде на спинах других и которого за частушку потом ударил по лицу ефрейтор Соколов. Второго Петька с испугу еще не успел разглядеть.

— Ты тут японца бродячего не видал? — спросил этот второй.

Петька перевел на него застывший взгляд, и второй тоже оказался знакомым. Это был солдат с седой головой.

— Глянь-ка! — сказал он. — Да это же тот шкет, который старшего лейтенанта искал. Нашел, нет?

Петька медленно кивнул. Он все еще не мог прийти в себя после побега из столовой, а потом — из лагеря. Веселье подрагивало в нем, как часовой механизм уже запущенной в действие бомбы. Чертиками подпрыгивало где-то между сердцем и животом.

Петька много раз спорил с Анной Николаевной в школе, заявляя, что сердце у него находится прямо над пупом, а не слева, как утверждала учительница, но она неизменно выпроваживала его за это дело из класса и ставила двойку. Изгнанный Петька заглядывал потом с улицы в окно, задирал до горла рубаху, слюнявил химический карандаш и рисовал на груди фиолетовое сердце. Точно между твердых от холода сосков. Сердце выходило кривое, но зато по центру.

— Ну так чего? — сказал охранник с седой головой. — Видал японца?

— Какого?

— Ну, такой в годах уже. Травки разные собирает, значит. Аптекарь, япона мать.

— Не-а, не видел, — протянул Петька.

— А чего тогда спрашиваешь — какой? Других, что ли, видел?

— Не-е, и других не видел. Я с Разгуляевки. Япошки туда не доходят.

— Ясно, что с Разгуляевки. А чо тогда шляешься тут?

Петька понимал, что охранники злятся не на него, но на всякий случай спрятался за кустом.

— Эй, ты куда? А ну вылазь оттуда!

— Дяденьки, не видал я никакого японца. Мне домой надо! К мамке.

— Ну и дуй себе, раз не видел! Чего трешься здесь? Тут охраняемая территория.

Солдаты присели у дороги на корточки, сняли со спин автоматы, положили их на траву, вынули кассеты и начали слюнявить бумажки.

Петька, рядом с которым — буквально рукой подать — тускло поблескивали дисками настоящие «ППШ», уйти уже так просто не мог. Сам себе потом не простил бы.

— Дяденька, дай автомат подержать.

— Пошел отсюда!

— А закурить?

— Я кому сказал!

За куст прямо к Петьке прилетел круглый камень, а следом за ним красивым веером — пригоршня пыли.

— Мимо! — заорал Петька и сменил позицию. — Бери левее два градуса!

— Вот придурок! — засмеялся охранник с седой головой и опять бросил камень.

— Еще левее!

Вообще-то, Петька родился артиллеристом. Уклониться от брошенного в него полена, камня, ко-

черги или чего-нибудь потяжелее ему не составляло никакого труда. Траекторию он рассчитывал, когда в его сторону еще только замахивались. Или даже лишь задумывались о том, чтобы замахнуться.

— Не попадешь! — крикнул он и швырнул камень обратно на дорогу.

Правда, кидал так, чтобы самому не попасть.

— Ах ты, ешкин котенок! — охранники уже вдвоем вскочили на ноги, и в кусты полетел град щепня, пыли и мелких камней.

Абсолютно счастливый Петька бегал среди деревьев, уворачивался от камешков и время от времени сам побрасывал что-нибудь на дорогу, чтобы охранникам не стало скучно. Здесь было гораздо интереснее, чем в столовой с теткой Аленой, потому что, во-первых, это было вроде как продолжение, а во-вторых, та ни за что бы не додумалась швырять кашу в ответ.

— Бери прицел выше! — радостно заорал Петька и тут же получил камешком в лоб.

— Попали! — сообщил он. — Я сдаюсь! Хватит! Вас двое! Нечестно!

Через минуту он сидел рядом с охранниками на пыльной обочине и толкал палец в дырки ствола.

— Застрянет, — предупредил его молодой солдат. — Хрен потом вытащим.

— Не застрянет. Я его облизал. А сильно огонь светит, когда строчишь?

— Сильно.

— Как из поддувала?

— Сильнее.

— Сразу из всех дырок?

— Ну да. А ты думал — из одной?

Петька промолчал для солидности, поняв, что спросил ерунду, и затем поспешил сменить тему:

— А если в упор — фрица насквозь пробьет?

— И не в упор пробьет. Метров с пятнадцати.

Петька посчитал что-то в уме.

— А трех фрицев пробьет? Если их друг за дружкой поставить?

— Не знаю. Наверное, пробьет. Только они так не встанут. Зачем им?

— Да это я так, на всякий случай. Интересно.

Охранники снова взялись за самокрутки, и Петька увидел, что у младшего это дело получается очень плохо.

— Давай я! — дернулся он и тут же зашипел от боли.

— Чо? Застрял? — захохотал седой. — Говорили тебе.

После освобождения пальца Петька снова несколько раз заботливо его облизал, повертел им над головой, поморщился, а потом молниеносно скрутил «козью ножку» для молодого солдата.

— Ух ты! — сказал тот. — Ловко. Где так научился?

— Городской, что ли? — снисходительно спросил его Петька.

— Из Петропавловска, — ответил солдат.

— Тогда все понятно.

Еще минуту они втроем молча курили, задумчиво рассматривая поднимавшийся к верхушкам деревьев дым, жмурились на солнце, тягуче сплевывали в пыль себе под ноги, смотрели на сворачивающуюся в черные шарики слюну и на то, как Петька давит эти общие шарики голой пяткой. По-

том охранники поднялись, закинули за спину автоматы и собрались уходить.

— Ну, давай, шкет, — сказал седой.

— И вы давайте.

Они обменялись крепким рукопожатием и уже почти разошлись, когда седой вспомнил вдруг о том, что хотел спросить в самом начале.

— Слышь, пацан! — окликнул он Петьку. — Так ты старшего нашел?

— Кого?

— Старшего лейтенанта.

— А-а! Нашел. Он в столовой сидел.

— Один?

— Не-е. С теткой Аленой.

Охранники переглянулись.

— И чо они там?

— Ничо.

— Чо, совсем, что ли, ничо?

Петька замялся:

— Ну, не совсем... Так-то, вообще-то...

— Ты, давай, не бубни, значит. Говори — чего они там делали.

— В начале или в конце?

— Вот екарный бабай! Ну, в конце.

Петька с готовностью кивнул:

— Кашу с тетки Алены стирали.

— Кашу?

Охранники, судя по всему, ожидали чего-то другого.

— Какую еще кашу?

— Овсяную. Масла много, только не посолили совсем.

Седой озадаченно повертел головой.

— Слушай, ты шкет, значит, нормальный... Но мозги нам тут пудрить не нужно.

— Я не пудрю, — сказал Петька.

— А каша-то здесь, на хрен, при чем?

— Я тетку Алену овсянкой обкидал.

Напряженное недоверие исчезло с лица седого, и он радостно закивал:

— А-а! Ну, так бы сразу и говорил! Молодца! Уважаю! А зачем обкидал-то?

— Надо было.

— Все понял. Дело нужное. Ладно, шкет, еще раз бывай... Нравишься ты мне... — Он помолчал и грустно вздохнул: — А мы из-за этой твоей тетки Алены теперь, видимо, ужин пропустим. Ефрейтор по лагерю носится, как упырь. Кровь сосет, значит. Лекаря теперь вот в бараках недосчитался. Вчера бы еще сам сказал: хрен с ним, жрать захочет — придет. А сегодня, значит, из-за старшего лейтенанта в столовой у нас дисциплина. Без японца в казарму ни ногой. Придется нам с Вовкой теперь кочевряжиться. По долинам, твою мать, и по взгорьям.

Он повернулся к молодому солдату, который уже виновато смотрел куда-то в сторону.

— Угораздило тебя с частушкой! Шаляпин!

— Ты же сам ее сочини !

— Я сочинил — я и спсю, когда надо! А когда не надо — сиди и сопи в тряпочку! Понял?

— Понял.

— Вот так, значит, родимый. А теперь — пошел!

И они двинулись по дороге, позабыв про Петьку, продолжая ругаться и размахивать руками, а он стоял и смотрел им вслед, приложив правую ла-

донь ко лбу, потому что солнце опустилось уже совсем низко и заглядывало ему прямо в глаза.

Постояв так, Петька развернулся и пошел по дороге в сторону Разгуляевки. Скоро он скрылся за лесным поворотом, а еще через минуту из-за деревьев поплыл его приглушенный расстоянием, но все же пронзительный голос:

— По долинам и по взгорьям
Шла дивизия впере-о-о-д,
Чтобы с боем взять Приморье
Белой армии апл-о-о-т!

ГЛАВА 10

На шахту Хиротаро не вернулся из-за васильков *Centaurea cyanus*. Точнее, из-за их цветочных корзинок.

Дотацив тело младшего унтер-офицера Марута до неглубокого оврага, в котором хоронили погибших пленных, он сел рядом с ним на землю и долго смотрел на его мертвое лицо. Масахиро, не опускаясь до разговора, несколько раз нетерпеливо ткнул его в бок черенком лопаты, но Хиротаро даже не пошевелился. Он сидел так неподвижно, что муравей, заползший ему на ногу, успел подняться по нему до плеча, переползти на шею, пробежать по щеке, и только тогда Хиротаро переменил позу, смахнув насекомое. Он пристально вглядывался в лицо умершего, и в какой-то момент ему даже показалось, что он видит, как заостряются его черты.

— В карцер захотел? — заговорил наконец Масахиро. — Или надеешься, что твои русские опять тебя пожалеют?

Хиротаро поднял голову и посмотрел на своего друга.

— Я сейчас, — сказал он, поднимаясь на ноги.

Дважды поклонившись мертвому телу, он хлопнул негромко два раза в ладоши, а потом поклонился еще раз.

— Копай, — буркнул Масахиро, швырнув на землю лопату.

— Я просто... — начал Хиротаро, но почему-то запнулся. — Просто хотел посмотреть...

На самом деле он старался получше запомнить лицо младшего унтер-офицера Марута, чтобы ночью в бараке нарисовать его по памяти в своей тетради, однако говорить об этом Масахиро ему не хотелось.

Закончив копать, он стащил в неглубокую могилу уже начавшее коченеть тело и выпрямился, чтобы секунду-другую постоять над покойным. Взгляд его скользнул по верхушкам деревьев, по облакам над ними, а затем опустился на могильные холмики, которыми был усеян весь овраг.

Стоя в могиле одного из своих товарищей, Хиротаро вдруг ощутил себя тоже умершим. Ему всегда казалось, что болезнь делает человека лучше и посылается ему в качестве шанса для очищения, но теперь он почувствовал, что не только болезнь, но и смерть делает человека лучше. Он не мог еще окончательно сформулировать для себя это новое чувство, однако молчание сосен, облаков, могил и песка в овраге каким-то необъяснимым образом подсказывали ему, что он прав.

— Долго еще будешь возиться? — сказал Масахиро. — Закапывай скорей.

Не ответив ни слова, Хиротаро выбрался из могилы.

— Ты куда? — Масахиросмотрел ему вслед. — А кто его закопает?

Но Хиротаро даже не обернулся. По синтоистской традиции он должен был оставить какой-нибудь дар умершему, однако в карманах у него ничего не было. Он медленно шел мимо могил, пытаясь найти хоть что-нибудь и вспоминая лица тех, кто лежал здесь под неглубоким слоем земли и песка. На холмиках покачивались васильки.

— *Sentaurea cyanus*, — негромко сказал он.

— Что?

Хиротаро поморщился. Голос Масахиросейчас раздражал его, но он все же ответил:

— Цветы.

— Я вижу, что это цветы. Ты лучше скажи — мы собираемся возвращаться на шахту, или ты ждешь, когда они сами придут сюда и до полусмерти избыют нас обоих?

Хиротаро склонился к цветку.

— Ты меня слышишь?

— Подожди! — Хиротаро сорвал василек и резко выпрямился.

Секунду-другую он стоял молча, внимательно разглядывая сорванное растение, а потом обернулся.

— Ты видишь? — взволнованно проговорил он, показывая Масахиросиний цветок. — Четыре корзинки!

— Совсем спятил, — Масахироспокачал головой. — Какие корзинки?

— У этого растения должна быть одна цветочная корзинка. Понимаешь? Одна! А тут — четыре. Постой!

Хиротаро метнулся к другой могиле.

— Здесь пять! Нет, так не бывает. Этого не должно быть...

— Что ты там бормочешь? Закапывай скорей этот труп.

— Подожди, подожди...

Хиротаро перебежал от одной могилы к другой и как одержимый срывал васильки.

— Три, пять, две, четыре... — бормотал он, разбрасывая цветы между могил. — Что же это такое? Ведь это...

— Ты прекратишь наконец? — сердито окликнул его Масахино.

— Что? — Хиротаро резко остановился и поднял взгляд на своего друга, как будто не понимая его, как будто тот заговорил вдруг не по-японски, а на каком-то неведомом Хиротаро языке.

— Я тебе говорю...

— Замолчи! Я, кажется, понял...

Хиротаро начал озираться вокруг себя, быстро считая могилы:

— ...семь... двенадцать... восемнадцать... двадцать... Вот видишь? — он наконец поднял торжествующий взгляд на Масахино.

— Что? Что я должен увидеть?

— Всего тут похоронено двадцать три человека. Вот эти двадцать могил принадлежат тем, кто работал на нашей шахте. Получается, что на двух других шахтах за это же время умерло всего трое военнопленных. Ты считать умеешь? Трое против двадцати. Да еще вот это!

Он протянул Масахино изрядно потрепанные васильки.

— Это мутация, — по лицу Хиротаро блуждала

рассеянная гримаса, которая действительно делала его похожим на сумасшедшего. — Ты понимаешь?

— Нет.

— Я думаю, источник в нашей шахте. И это не газ.

Хиротаро повернулся и без всяких объяснений начал карабкаться по склону оврага.

— Ты куда? — растерянно спросил Масахирос.

— Я должен... Мне надо проверить цветы на других шахтах... Обязательно... Если там нет мутации, эту шахту надо закрыть... Здесь что-то серьезное...

— А унтер-офицер?

Хиротаро остановился на самом краю оврага, секунду помедлил и нетерпеливо махнул рукой.

— Мне некогда. Закопай сам.

Проводив его взглядом, Масахирос вернулся к открытой могиле, нерешительно поднял лопату, постоял с ней в руках, а потом со злостью швырнул ее на землю. Лопата скатилась в могилу и негромко стукнула младшего унтер-офицера Марута по голове.

* * *

В эту минуту Масахирос так сильно ненавидел своего друга, что ему были отвратительны даже сорванные им цветы. Десять минут он ковылял по оврагу, стараясь затоптать в землю все разбросанные растения.

Слегка успокоившись, Масахирос вернулся к телу младшего унтер-офицера, достал из могилы лопату и начал забрасывать его землей. Наблюдая за тем, как под слоем сухого грунта постепенно исчезает его лицо, он представлял себе, что закапывает

Хиротаро, и на сердце у него становилось чуть веселей.

— Выучился своей латыни, — бормотал он сквозь зубы. — А на чьи деньги? Забыл, кто должен был учиться в университете?..

Когда его отец, господин Ивая, сообщил всем о своем намерении оплачивать учебу Хиротаро в университете Досися, профессора которого были известны своей снисходительностью к давним христианским традициям выходцев из Нагасаки, Масахиро объявил, что сам он в таком случае не возьмет у него ни гроша. Господин Ивая в ответ лишь пожал плечами, поскольку имел самые серьезные виды на будущее открытого им «табачного гения», и у Масахиро остался совсем небольшой выбор — военное училище или педагогический институт. Только в этих заведениях учащихся принимали на полное государственное обеспечение. Перед отъездом Масахиро согласился взять у отца денег лишь на дорогу.

Вспомнив о знаменитом адмирале Мичиари Кано из Такамацу, который захватил некогда монгольский корабль, он поехал поступать в военноморское училище Эта-Дзиме. Костыль он выбросил на вокзале.

В Хиросиме он провел ночь в дешевой гостинице, где его соблазнила горничная, и он смог наконец без помех разглядеть женскую грудь. Горничная была добра к нему, но даже она сказала, что в училище его не возьмут.

«Хромых моряков не бывает», — смеялась она, но Масахиро на нее не сердился.

В училище его хромоту действительно заметили практически сразу. Он умудрился лишь подать до-

кументы и на короткое время до медкомиссии был зачислен в один из абитуриентских взводов. Однако уже через пару часов после общего мытья в душе кто-то из его новых товарищей доложил начальству о его физическом недостатке.

«Вам-то какое дело», — бормотал он, стиснув зубы, пока шел вдоль шеренги, выстроенной на плацу.

Справа ему в лицо градом сыпались тычки и удары, а командир взвода, шагавший чуть позади, громко кричал:

«Не опускать голову! Не опускать! Бить по-настоящему!»

Будущие курсанты весело лупили нелепого обманщика, а Масахиро шагал вдоль строя, почти не хромая, вздрагивая от ударов, но стараясь держать ровный шаг, и, наверное, дошел бы достойно до конца шеренги, но вдруг почему-то вспомнил отца и заплакал.

В педагогическом институте в Токио, куда он добрался на деньги доброй горничной из хиросимской гостиницы, ему сначала отказали из-за его ужасных синяков и распухшего носа, но он был настойчив, и в конце концов его допустили к экзаменам. Еще около года ему время от времени снилась шеренга на залитом солнцем плацу училища Эта-Дзиме и перешагивающий через него в узком коридоре отец, но к середине второго курса у него завязался бурный роман с одной гейшей из квартала развлечений, и эти сны перестали его тревожить.

Не боялся он и шелкового шнурка, которым так напугал в свое время наивного Хиротаро.

* * *

— Стой! Не вертись! Я кому сказал — смирно!

Петька изо всех сил вытягивал шею, чтобы разглядеть, на кого кричит Ленька, но тот закрывал свою жертву спиной. Остальные пацаны тоже были поблизости — двое обрывали незрелый боярышник, трое держали того, на кого кричал Козырь, еще человек пять просто валялись в траве.

Петька выскочил на них совершенно случайно и уже хотел скользнуть за кустами в сторону Разгуляевки, но потом задержался посмотреть хохму. Он понимал, что после вчерашней драки на станции Леньке на глаза лучше не попадаться, и все же не мог отказать себе в удовольствии. Когда у Козыря не было под рукой ни Валерки, ни Петьки, он от скуки начинал мучить своих.

— За Луну или за Солнце? — кричал он, замахиваясь на того, кому сегодня не повезло.

— За Луну, — пискнул в ответ несчастный пацан, и Петька расплылся в улыбке.

Уж он-то знал про эти вопросы.

— За Советскую страну! — торжествующе объявил Козырь и влупил несколько шелбанов своей жертве. — За Луну или за Солнце?

— За Солнце, — уже сквозь слезы пробормотал пацан.

— За пузатого японца!

Козырь еще раз пять звонко щелкнул пацана по лбу, а потом радостно закричал:

— Прижмурился! Прижмурился! За испуг — сачку!

Петька высунулся из-за куста, чтобы получше насладиться чужим несчастьем, но в этот момент за спиной у него зашуршало.

— Ребзя, я Гитлера нашел! — истошно завопил подкравшийся к нему сзади другой пацан. — Здесь он! Тута!

Петька рванулся в сторону, пытаясь освободиться от его цепкой хватки, но было поздно.

* * *

Навалившись на него всей кучей, пацаны зачем-то начали стаскивать с него рубаху. Пока тянули ее, сильно порвали правое ухо, но Петька боли совсем не почувствовал. Больнее было во рту. Зубами он успел вцепиться в чей-то рукав, и этот самый рукав теперь так сильно дергался и вырывался, что Петьке казалось: вот-вот — и все его зубы выскочат наружу следом за прихваченным рукавом, который, с-с-с-у-ука, никак не хотел рваться. Почему Петьке хотелось порвать этот рукав, а не укусить, например, кого-нибудь за руку, — этого он и сам никак не мог понять, но все-таки продолжал стискивать зубы все крепче и крепче.

Как будто это могло хоть что-нибудь изменить.

— Давай сюда его! — просипел кто-то, кого Петька не видел из-за соленого уже от своих соплей и крови, широкого рукава.

Отбиваясь изо всех сил в полном молчании, он как бешеный дрыгался и вертелся у них в руках, колотил пятками во все стороны, однако рубаху стащить с него им все равно удалось.

Кровь из надорванной мочки закапала в пыль, и Петьке, которого уже сильно прижали лицом к земле, и от этого он увидел черные капли прямо перед своим носом, на мгновение показалось, что пошел дождь.

Он продолжал стискивать зубы, зло отбиваясь

ногами, прислушиваясь к своему и чужому сопению, попадая во что-то и не попадая, теряя равновесие, снова прислушиваясь и не слыша, кроме этого сопения, ничего.

Ни одного звука. Ни слова.

Как будто это сам лес отрастил себе столько рук и молча прижимал ими теперь Петьку к земле. К черным пятнам в пыли, размером примерно с пятикопеечную монету.

Неожиданно Петька почувствовал, как вслед за рубахой с него начинают стягивать и штаны.

Вот этого нельзя было допустить. Ни в коем случае. Он даже не успел удивиться и тем более понять — зачем они вообще это делают, как его ноги уже приняли точное и правильное решение. Если до этого он хоть и старался пнуть кого-нибудь побольней, но все-таки сдерживался — чтобы не поранить серьезно и, значит, не разозлить, — то теперь его пятки заработали, как сдвоенная зенитная установка.

На полное и безоговорочное поражение.

В следующее мгновение кто-то отчаянно взвизгнул, и Петька понял, что наконец попал. Ему даже показалось, будто за секунду до этого что-то хрупнуло. Как ветка в лесу под ногой. Только не сухой треск, а такой приглушенный.

— Ну все! Капец тебе, выблядок! — прошипел кто-то сверху ему в затылок. — Кончай Гитлера, ребзя!

По поводу треска Анна Николаевна в школе как-то еще до войны рассказывала, что раненый африканский лев укрывается от своих преследователей в бамбуковых зарослях, и треск — это последнее, что слышит неосторожный охотник, решивший

пойти туда следом за львом. Петька ни львов, ни бамбука никогда в своей жизни не видел, поэтому представил тогда на уроке огромного тарбагана с торчащими наружу клыками, который притаился в степной траве за Разгуляевкой и прыгает из нее на беспалого охотника дядю Ефима. Умный Валерка сразу начал приставать к учительнице, расспрашивая о том, что делает лев, если его уже ранили, а бамбуковых зарослей поблизости нет, но из носа у него от волнения пошла кровь, и Анна Николаевна запретила ему разговаривать.

Петька же из всего этого понял, что гибнущий лев сражается до конца, даже если он похож на крохотного забайкальского тарбагана.

— Ногу Антохе сломал! — закричали откуда-то сзади. — Коленку свернул ему набок!

Множество рук подхватило Петьку с земли, потащило к большим деревьям, и он с облегчением понял, что свои штаны ему все-таки удалось отстоять.

* * *

Если бы у Петьки получилось посмотреть на всю эту возню сверху, с высоты примерно той самой сосны, к которой его подтащили, то, оказавшись на месте какого-нибудь паучка, он раскачивался бы сейчас на своей тоненькой паутинке и видел бы под собой многорукое могучее существо, похожее на солдатскую «каракатицу» в лагере или на монгольского бога, привезенного дедом Артемом с той стороны. А если бы ему удалось подняться еще выше — туда, где молча висели жаворонки, — то с такой высоты он вообще не сумел бы различить ни одного пацана в этой копошащейся вокруг чего-то фигуре. Он просто знал бы, что там, например, есть

Антоха, которому он только что сломал ногу и которому эта нога нужна была позарез, потому что без нее он не сможет бегать на станцию за почтой для дяди Игната, когда тот отдает лошадь на полевые работы в колхоз, и значит, вся семья у Антохи заглодает, но самого Антоху он бы разглядеть уже не сумел. И Дему бы не разглядел тоже, у которого отец командовал ротой, но попал на месяц в штрафбат за то, что не удержал высоту, и не только выжил в этом самом штрафбате, а даже был представлен к ордену Славы, но отказался, потому что как потом объяснишь — откуда у офицера солдатский орден, даже дурак догадается, что корячился в штрафниках. Не разглядел бы с такой высоты Петька и Мишку Черепанова по кличке Череп, у которого отца насмерть раздавило в окопе нашим же танком на Курской дуге; и Саньку, чья мать поначалу тоже, как тетка Алена, бегала блядовать к охранникам в лагерь, а потом перестала; и Генку, с которым Петька прошлым летом два дня рыбачил на острове посреди Аргуни, и об этом не узнал никто из разгуляевских пацанов; и Леньку Козыря, и Пашку, и всех других. Но Петька не был ни пауком, ни жаворонком и потому висел в руках всех этих пацанов не на большой и безопасной высоте, а всего в полуметре от усыпанной желтыми иглами земли, на которую ему очень хотелось встать своими собственными ногами. Он еще продолжал отбиваться, но сил у него оставалось все меньше и меньше.

— Руки ему вяжи, — пропыхтел кто-то у него над головой. — За спину заворачивай! За спину!

Петька почувствовал, как в его локти клещами вцепилось сразу несколько рук. Они вывернули ему ладони и туго перехватили их сзади ремнем.

— Вот так вот, — сказал, тяжело дыша, чей-то голос. — Теперь попробуй подрыгайся! Поднимай его, ребзя!

Петьку со связанными за спиной руками начали толкать куда-то вверх, к небу, но между небом и Петькиной головой вдруг оказалась толстая сосновая ветка. На ветке сидел кто-то из пацанов. Петька еще успел удивиться, что не может узнать этого пацана, как будто первый раз в жизни его увидел, хоть и знал, что не в первый, потому что отлично помнил и этот нос, и овальную родинку на щеке, и кривое ухо, но помнил все это он по отдельности, независимо друг от друга, словно кто-то развинтил все эти вещи, и они теперь перепутались, и принадлежали неизвестно кому. Петька еще успел удивиться этой своей неспособностью узнавать знакомых людей, но уже в следующее мгновение захрипел и задохнулся вовсе не от удивления, а от того, что этот самый не узнанный им пацан накинул ему на шею веревочную петлю и сильно потянул за нее, как будто хотел помочь тем, кто толкал его снизу, или как будто боялся, что Петька застрянет где-то между веткой и поднятыми кверху бледными лицами остальных пацанов.

Вот теперь Петька на самом деле был похож на паучка. Выпучив глаза и беззвучно раскрывая рот, он раскачивался на своей паутинке и думал о том, что станет с его волчонком, когда бабка Дарья поймет, что никакой он не щенок, а самого Петьки, чтобы помочь, рядом уже не будет.

Наконец в глазах у него стало темнеть, деревья вокруг куда-то поплыли, а пацаны под ногами стали сливаться — сначала в траву, потом в волны, потом в огоньки, и Петька начал считать эти огоньки,

стараясь уцепиться за счет — раз, два, три огонька, четыре, пять... но это уже были не огоньки, а пятая ложка каши прямо в морду тетке Алене... семь, восемь, девять, и брызги вокруг... десять... уже папирос в пачке старшего лейтенанта, одиннадцать... двадцать пять... снова одиннадцать, восемь... очень много... много солдат рядом с камнедробилкой... старый японец.

Петька из последних сил вытянулся, как струна, и этот японец, только что стоявший на коленях перед охранником с разmozженной рукой, неожиданно поднял голову, посмотрел Петьке в глаза, улыбнулся, встал и шагнул из ближних кустов прямо на поляну, где разгуляевские пацаны уже почти повесили своего «Гитлера».

Швырнув на землю котомку, из которой вывалились перевязанные пучки синих цветов, японец вскинул над головой руки, затряс ими как сумасшедший и закричал что-то пронзительное на своем языке. Мишка Череп, которого Петька так и не успел узнать, до того как начал считать свои огоньки, от неожиданности вздрогнул и выпустил из рук конец веревки. Веребочное кольцо, в один раз наспех обмотанное вокруг ветки, вжикнуло под Петькиной тяжестью, и он с глухим стоном рухнул к ногам застывших, как столбики, пацанов. Следом за ним грохнулся потерявший равновесие Мишка. Падая с гораздо большей высоты, чем Петька, он треснулся спиной об землю так сильно, что у него напрочь перехватило дыхание, и теперь они оба не могли ни выдохнуть, ни вдохнуть, а только в отчаянии таранились друг на друга, хватались за горло и беспомощно раскрывали рот.

Японец, так неожиданно выскочивший из кус-

тов, очевидно, сообразил, что эффект от его внезапного появления вот-вот пройдет и надо немедленно придумать что-то еще.

Он резко повернулся спиной к замершим пацанам, нагнулся вперед и хлопнул себя обеими руками по заднице, выкрикивая одно и то же:

— Зопа! Зопа! Зопа!

Кто-то из пацанов прыснул, кто-то подхватил с земли камень, кто-то бросил в японца шишкой, а Петьку вдруг вырвало на желтые сосновые иглы овсяной кашей, и он, как и Мишка, наконец задышал.

* * *

Японский придурок тем временем продолжал свои штуки. Он снова повернулся лицом, растопырил ноги, слегка присел, уперся руками в колени, скорчил идиотскую рожу и прокричал что-то до такой степени смешное, что пацаны, ни слова не понимавшие по-японски, буквально покатались от хохота и продолжали смеяться, валяясь на траве, от одного его дурацкого голоса и невероятных рож, которые он, как маски, быстро менял, надувая щеки, выкатывая глаза, скашивая их так, что казалось — вот-вот, и они выскочат навстречу друг дружке, кривя рот и высовывая язык на такую длину, о которой разгуляевские пацаны, знавшие большой толк в этом деле, могли лишь мечтать. Наконец он задрал вверх одну ногу и долго стоял так с этой задранной ногой, а потом топнул ею, как будто хотел пробить дырку в чужой для него советской земле.

Пацаны на секунду притихли, а потом, догадавшись, что цирк окончен, засвистели, заулюлюкали и начали швырять в него камни. Японец бочком

отодвигался к зарослям кустов, прикрывая голову руками, но при этом ему все же здорово доставалось. Иногда он выглядывал из-за своих выставленных щитком ладоней и еще улыбался, продолжал бормотать что-то, а камни летели к нему через всю поляну по красивой дуге, выскакивая из мальчишеских рук, как нетерпеливые осы, и стучали его по плечам, локтям и по пузу. Наконец он не выдержал, развернулся и побежал. Правда, бежал он как-то совсем неуклюже, припадая то на одну, то на другую ногу, а то вдруг вообще начиная кружиться, как непонятный и сумасшедший медведь. Пацаны тоже не могли устоять на месте и легко догнали его, облепив со всех сторон, прыгая на него, пинаясь и продолжая швырять камни. Им было весело, потому что такие развлечения случались нечасто, и если попадался какой-нибудь отбившийся от своих расконвоированный японец, то он сразу же удирал, а не кружился на месте, не улыбался, не делал рожи и не бормотал.

Через минуту на поляне, кроме Петьки, никого не осталось. Даже Мишка Черепанов позабыл про свои ушибы и умчался следом за остальными. Такая добыча, как Петька, пацанов уже не интересовала. Все равно они знали, что Гитлер из него никудышный, а японец был натуральный — фашист и квантунская сволочь. Хоть и смешной.

Петька немного покашлял, чтобы проверить, сильно ли будет болеть горло, потом со стоном проглотил сухую и даже как будто шершавую слюну, разинул рот и несколько раз зевнул. Боль в горле от этих зевков не прошла, но слышать он почему-то стал лучше. Крики разгуляевских пацанов удаля-

лись в сторону лагеря. Очевидно, япошка решил возвращаться домой.

Петька подполз к сосне, на которую его чуть не подвесили, как бумажный самолетик на новогоднюю елку в школе у Анны Николаевны, привалился спиной к облезлому желтому стволу и закрыл глаза. Под веками у него вспыхивало и перекатывалось огнем, как будто рядом лупила гаубичная батарея. Только слышно ничего не было — ни залпов, ни криков. Полная тишина.

* * *

Насчет тишины у него однажды с Валеркой вышла история. Дядя Игнат как-то привез со станции вместе с газетами книжку «Спутник партизана», напечатанную в издательстве «Молодая гвардия» в сорок втором году, а Петька, разглядев ее еще на подводе, не стал дожидаться даже, пока переберут почту, и тихой сапой уволок ее к бабке Дарье на сеновал. Там у себя в штабе он долго сопел, морща лоб, задумчиво чесался и запоминал сигналы руками на рисунке 117 из главы «Держи связь со своими», а потом слетел во двор и помчался искать Валерку.

— Главное — соблюдать тишину, — говорил он партизанским голосом, и Валерка всем лицом и вообще всей своей дохляцкой фигурой показывал, что готов соблюдать тишину до самой смерти.

— Сначала будем учиться ходить, — продолжал Петька.

Валерка на секунду задумывался — не сказать ли ему, что он уже это умеет, но Петька тут же обрывал его:

— Бесшумно.

И со значением поднимал к небу палец.

Валерке было немного странно, что Петька учит его из книжки, потому что книжки и вообще все, что встречалось в его жизни напечатанным на бумаге, было как-то привычнее как раз для Валерки, но Петьку в тот день словно подменили.

— Ну, вот же, вот же! Читай! — горячился он, тыча грязным указательным пальцем в книгу. — Неграмотный, что ли? «По траве ходи, как по твердому грунту». Читать, что ли, не умеешь?

— Умею, — отвечал Валерка, удивляясь Петьке еще больше. — Только здесь на рисунке другое совсем нарисовано.

— Ну, где здесь другое? — кричал Петька и от нетерпения вскакивал на ноги. — Здесь, что ли? Или вот здесь?

Он хлопал Валерку книжкой по голове, а потом по заднице и отбегал к самой кромке воды, у которой они расположились, выбравшись по-партизански незаметно из Разгуляевки.

Время шло уже к осени, и солнце не нагревало прозрачный голубой воздух, а пробивало его насквозь, мимоходом скользя по Валеркиной голове, испуганно втянутой в худющие плечи, по пустынному берегу, по начавшим желтеть кустам и застрявшим в них радужным паутинкам, по сердитой спине злого как черт Петьки и по темной воде, сквозь которую оно проникнуть уже не могло, и поэтому все, что невидимым осталось на дне, должно было оставаться невидимым теперь уже до следующего лета.

— Ну, откуда ты такой умный? — кричал Петька. — Навязался, гад, на мою голову!

— Я не умный, — тихим голосом отвечал Валер-

ка. — Просто в твоей книге так нарисовано. По траве надо ходить всей ступней, а по твердой земле — на носочках.

Петька рывком раскрывал книгу, находил нужный рисунок под номером 115 и убеждался, что Валерка, как всегда, оказался прав.

— И не по земле, а по грунту! — кричал он уже лишь для того, чтобы сохранить за собой право на крик.

— Ну, по грунту, — соглашался Валерка и тяжело вздыхал.

На самом деле ему было не важно, как надо ходить по траве, а как по твердому грунту. Просто он любил точность и рисунку доверял больше, чем словам.

Тем более что в книжках он все равно разбирался лучше Петьки.

— Теперь будем тереть переносицу, — говорил тот. — Три давай. Тогда не чихнешь. В разведке это самое главное.

Валерка без разговоров хватывался за свой небольшой облупленный нос и теребил его до тех пор, пока из глаз не начинали бежать слезы.

— Ну как? — спрашивал Петька. — Охота чихнуть?

— Нет, — отвечал Валерка, изо всех сил стараясь не плакать.

— Вот видишь. Значит, все правильно в книжке написано.

Однако Валерка, на свою беду, признавался, что ему не хотелось чихать и до того, как он начал тереть переносицу.

— Как это не хотелось? А ты захоти! Нюхни что-нибудь.

И Валерка начинал нюхать траву, пыль, камни — вообще все, что валялось на берегу, включая обломок весла и старые сети.

— Ну, чего? — нетерпеливо спрашивал Петька. — Охота чихнуть?

— Нет, не охота.

Валерке было стыдно за то, что ему никак не удастся помочь другу, и от этого он сильно страдал.

— Может, домой вернемся? — предлагал он. — Тут нюхать совсем нечего. Палки какие-то. А там найдем что-нибудь...

— Тут нечего?! — в гневе переспрашивал Петька. — А это вот что?

Он хватал из-под ног пригоршню песка и раздувал ноздри.

— Да ты просто нюхать не хочешь, гад!

Но Валерка хотел нюхать. Петька даже представить себе не мог, как он хотел. Ради Петьки он мог сделать буквально все — если, конечно, в этот момент его не позовут играть другие пацаны, — однако втягивать носом песок он на самом деле боялся. За день до этого мамка пошила ему из старых занавесок новую рубаху, и он еще ни разу не испачкал ее кровью. Ему почему-то казалось, что если подольше ее беречь, то кровь из носа не побежит еще долго-долго, а может, даже перестанет совсем.

Но говорить такую чепуху Петьке он побоялся, а потому просто смотрел на него большими глазами и теребил пока еще чистый подол с подсолнухами, из-за которых больше привык выглядывать в окно, высматривая — не идет ли с работы мамка.

— Чего вылупился? — орал на него Петька. — Смотри, как надо! Учись, пока я жив!

Ткнувшись лицом в песок, он резко втягивал его

носом, потом зажмурился и наконец начинал чихать. Чихал Петька так долго, что Валерка успевал вспомнить про старые часы, которые висели у них с мамкой дома, и про обшарпанную одноглазую кукушку, которая никогда не останавливалась, прокуковав положенное количество раз, а продолжала и продолжала выскакивать, насчитывая иногда столько часов, сколько и в помине не вмещалось в целые сутки.

В перерывах Петька честно тер переносицу, но это ему не помогало, и он все чаще сердито топал ногой, уже почти задыхаясь и взвизгивая, беспомощно смотрел на Валерку, который расплывался перед ним в густой пелене слез, и задира л голову к небу, откуда на них с любопытством посматривали проплывающие на юг журавли.

* * *

Петька открыл глаза и тут же зажмурился, чтобы не видеть того, что очутилось вдруг перед самым его лицом. Сидя в своей внутренней темноте и не желая смотреть, он соображал — как же это так могло получиться. Очевидно, он задремал, оставшись один в лесу, и неизвестно сколько тут просидел. Но откуда взялось вот это?

Петька осторожно приоткрыл один глаз, надеясь, что это исчезнет, но оно не исчезло. Оно улыбнулось, расплылось в синих сумерках, как блин с узкими глазками, и закивало.

«Пошел в жопу, — хотел сказать Петька, но вместо этого лишь засипел и закашлял. — Япошка проклятый...»

Он этого не сказал. Просто сидел у своей сосны и кашлял.

— Харада тривоги, — улыбаясь, сказал японец.

— Пошел в жопу.

— Пырь да туман.

— В жопу.

У Петьки наконец получилось выдавить это слово, но японец продолжал улыбаться.

Он был старый. Теперь Петька видел это отчетливо даже в наступившей вдруг темноте. Лет пятьдесят, не меньше.

— Чего надо? — просипел Петька, хватаясь рукой за горло.

Японец осторожно потянул его за руку. Петька попытался сопротивляться, но сил на это у него не оказалось.

С непонятным ему самому равнодушием он подумал, что японец, видимо, сейчас задушит его. Убьет, как убила хромая тетка Лукерья своего мужа-летчика еще до войны. Подошла к нему с топором, когда он спал, и отфигачила голову. Правда, топора у япошки не было, но Петька подумал, что он, наверное, управится и без него. Разгуляевские бабы шептались, что тетка Лукерья зарубила мужа от ревности.

— Не лезь, — тихо попросил Петька. — Я кому говорю.

Но японец не отставал.

Хромая тетка Лукерья сбросила мужа в подполье, и Петька долго потом мучился по ночам, пытаюсь понять, что за штука такая — ревность, из-за которой можно запросто отрубить кому-то башку, и представляя себе, как этот летчик лежал там рядом с картошкой — без головы, без фуражки, без неба, без эскадрильи, без своего самолета, как будто тетка Лукерья отрубила и это все тоже вместе с

красивой стриженной «под бокс» головой. Петька каждую ночь тарасился в темноту, вертелся под одеялом и все старался улечься так, чтобы не лежать, как мертвый летчик в подполье. Он, правда, не знал точно, как этот летчик на самом деле лежал, но иногда ему казалось, что знает. Перед тем как уснуть, он обязательно сгибал ногу в колене и следил, чтобы руки не остались на животе.

Теперь Петька посмотрел на свои ноги и быстро согнул правую в колене.

— Харада тривоги, — снова сказал японец, задирая Петькину голову вверх и осторожно касаясь жгучей ссадины у него на шее.

«Ну, все, — сказал себе Петька и закрыл глаза. — Прощайте, товарищ Сталин и мамка. И дядька Юрка с дядькой Витькой, прощайте. И товарищ старший лейтенант Одинцов».

Японец пощупал его голые плечи, провел ладонью ему по груди, а потом нагнул Петьку вперед, так что он почти уткнулся носом в свои собственные коленки, и ему снова стало трудно дышать.

— Пырь да туман, — задумчиво сказал японец где-то над Петькиным затылком, и Петька вдруг взвился от боли, как будто в спину ему пырнули ножом.

До этого он и не знал, что там у него была рана. Сучком, наверное, пропорол, когда свалился на землю.

— Больно же! — заорал он, выпрямляясь и отталкивая руки японца. — Дурак, что ли?!!

Японец забормотал что-то и сунул свою руку Петьке под нос. На ней была кровь. Почти черная в темноте.

— Ну и чо? — сказал Петька. — Не твое собачье дело! Все равно вас всех перебьем! Пошел в жопу.

Японец вскочил и отбежал на дальний конец полянки. Там он подхватил что-то с земли, быстро вернулся и снова присел на корточки перед Петькой. В руках у него была котомка, которую он бросил еще в самом начале, и Петькина рубаха.

— Вот суки, — горько сказал Петька. — Всю изорвали. Одни лохмотья остались. Меня теперь бабка Дарья убьет.

Японец отложил котомку и с громким треском оторвал от рубахи целую полосу.

— Ты, гад! — заорал Петька. — Ее же еще можно было носить! Мамка бы залатала! Ах, ты...

Он потянулся к японцу, чтобы отнять у него свое добро, но охнул и схватился рукой за спину. Теперь, когда он знал, что там у него кровь, ему почему-то стало очень больно.

— Отдай рубаху, гад, — попросил он, сдерживая слезы.

Но японец продолжал пластать рубаху на лоскуты.

— Чтоб ты сдох, квантунская сволочь, — сказал Петька и наконец заплакал.

Он плакал от внезапно охватившей все его существо жалости к своей несчастной рубахе. Так горько ему не было, наверное, никогда. Эту рубаху ему почему-то стало жальче даже, чем мамку, когда она вечерами сидела как неживая за пустым столом, или Валерку, которого мучила злая бабка Потапиха, или саму бабку Потапиху, потому что ей совсем нечем кормить внуков, а они растут и от этого сильно хотят жрать. То есть Петьке, конечно, было жалко их всех и вместе с ними самого себя — за то, что его так вот схватили, выследили, подкараулили и

вообще за то, что он был Гитлер, — однако рубашу в этот темный момент в темном уже лесу Петьке все равно было жальче.

Он плакал и плакал и все никак не мог остановиться, а японец, как будто издеваясь над ним, продолжал рвать длинные светлые полосы.

— Ну, куда тебе столько? — вздрагивая от слез, сказал Петька. — Госпиталь, что ли, решил открыть? Санитар долбаный.

Но японец ему не отвечал — ни на своем языке, ни на смешном русском, — а только складывал свои бинтики на траву рядом с котомкой и на Петьку даже не смотрел.

От слез Петька совсем ослаб, поэтому, когда японец начал наконец его перевязывать, он уже не сопротивлялся. Тихо материл япошек на чем свет стоит и шипел от боли.

— Суки вы узкоглазые, не жалеете никого. Дорвались до чужих рубашек... Мало вам товарищ Жуков на Халхин-Голе звездюлей навалял. И товарищ лейтенант Махалин со своими пограничниками на озере Хасан тоже... Помнишь высоту Безымянную, квантунская сволочь? Тебя самого не там ли... Ай, больно!.. Ты что делаешь, гад?! Сука... Ты где в плен попал? На Халхин-Голе или Хасане? Слышь, сволочь?

— Хархин-Гор, — гортанно ответил японец, склоняясь над Петькиной спиной и зубами затягивая узел.

— Разговаривать научись, — устало сказал Петька. — А то... говорить-то нормально не могут, а туда же — чужие рубашки рвать.

— Рубаха, — сказал, наконец выпрямляясь, японец. — Хоросо.

— Куда уж, гад, лучше... А наваляли мы вам на Халхин-Голе все-таки... А? Хорошо?

— Хорошо, — повторил японец.

— Конечно, хорошо. Это товарищ Жуков вам навалял. Самый лучший на свете маршал.

— Хорошо, — снова сказал японец и улыбнулся.

А Петька, то ли оттого, что вспомнил про маршала Жукова, то ли потому, что уже замерз, перестал наконец злиться, вытер заплаканное лицо и пощупал перетянувшую ему грудь тугую повязку.

— Умеешь... В медсанбате, что ли, служил? — спросил он, пытаясь подняться на ноги и мимолетно, с легким замиранием сердца, представляя себя настоящим раненым бойцом, какие бывают в военном госпитале.

Японец стоял перед ним на коленях и быстро убирал в свою котомку оставшиеся от Петькиной рубахи лоскуты.

— Эй, ты чего? — сказал Петька. — Это мои жгутики.

Пытаясь оттолкнуть японца, он сам потерял равновесие и шлепнулся на траву, усыпанную сосновыми шишками.

— Вот козел. Совсем оборзел.

Но японец его не слушал. Он спокойно завязывал свою котомку и собирался уходить.

— Я тебя, сволочь, найду, — бессильно грозился Петька. — Мы тебя с товарищем лейтенантом за эти жгутики... знаешь чего? Мы тебя шлепнем. Порвал, скотина, рубаху, и даже тряпочки ни одной не оставил... Что я теперь бабке Дарье скажу? Куда, блин, рубаха делась?

Японец завязал наконец котомку и начал отряхивать с нее лесной сор.

— Чистеньким еще хочет быть, ворюга, — продолжал Петька. — Аккуратная сволочь.

В этот момент за спиной склонившегося японца появилась еще одна узкоглазая рожа.

— Ну все! — заорал Петька. — Со всех сторон лезут! Кровососы! Живым не дамся!

Этого нового японца видел один Петька. Тот, который склонился, еще не знал, что на полянке они уже не одни. К Петькиным крикам он, очевидно, привык, поэтому не обратил на них никакого внимания. В руке у возникшего из темноты и даже как будто соткавшегося из нее японца Петька увидел палку.

Второй японец бесшумно остановился за спиной того, что стоял на коленях, и его круглое белое лицо оказалось вдруг между круглым белым лицом первого японца и взошедшей над лесом полной луной. Новый японец размахнулся своей палкой, а Петька, открыв рот, смотрел на эти три белых круга, расположившихся точно один над другим, и ему казалось, что у луны тоже японская рожа — с такими же хитрыми узкими глазками — и что вообще эти три белых круга похожи на снежную бабу, которую он слепил с Валеркой этой зимой, а бабка Дарья разбила ее потом коромыслом.

Петька как зачарованный смотрел на луну, на обоих японцев и ждал, что будет дальше, вспоминая почему-то зиму, и снег, и красные щеки Таньки Захаровой, ее холодные губы, зажмуренные глаза и свои заскорузлые, в цыпках, дрожащие то ли от холода, то ли от страха руки.

Японец с палкой вдруг зашипел как змея и что было сил треснул Петькиного япошку по голове. От неожиданности тот крутнулся на месте, пыта-

ясь, видимо, убежать от неизвестно откуда свалившейся на него напасти, но вместо этого так резко ткнулся головой в колени второго, что оба они свалились в траву и начали лупить друг друга, а от странной снежной бабы над лесом осталась одна башка. Как будто голова того самого летчика.

— Врежь ему! — кричал Петька, еще не очень сам понимая, кому из них он кричит. — Давай!

Потому что, с одной стороны, ему сильно хотелось, чтобы этот с котомкой получил за поруганную и украденную рубаху, но с другой стороны — это ведь он спас Петьку от одуревших вконец пацанов, а потом еще и вернулся, чтобы его перевязать. Впрочем, оба они были враги, и кто бы из них кому ни наваял — хорошо от этого должно было стать только Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

— Луи его! — орал Петька, стараясь дотянуться до них пяткой и тоже треснуть кого-нибудь. — Мочи япошек! Даешь!

Он так долго ждал наступления на Квантунскую армию, что теперь ему казалось, будто вот оно, началось, и он тыкал и тыкал пяткой, сидя под своей сосной, то в одну, то в другую серую спину в зависимости от того, какая из них оказывалась ближе к нему.

— Вот они! — раздался вдруг чей-то громкий и наконец русский голос. — Я же говорил — он его найдет. Правильно, что взяли второго япошку.

На залитой лунным светом поляне появились две фигуры с автоматами на плечах, и Петька не столько узнал, сколько догадался, что это были те двое охранников, которых он встретил недавно у ворот лагеря и которых сердитый ефрейтор Соколов отправил ловить беглого японца.

Петька сильно обрадовался и хотел вскочить им навстречу, но не успел, потому что они сами уже подбежали к нему.

— Дяденьки... — сказал он, протягивая к ним руки.

Но они не обратили на него никакого внимания, а сняли свои автоматы и начали бить прикладами обоих японцев.

— Дяденьки... — повторил Петька, но солдаты его не слышали.

— Получи, сука, — говорил молодой, опуская приклад на плечи и голову закрывшегося руками Петькиного японца.

— Вот так, значит, — вторил ему седой, целясь своим прикладом беглому лекарю под ребра.

Тот японец, который был с палкой, потихоньку отполз в сторону, а Петькин продолжал закрываться от града тяжелых ударов, но не зажмурился, а глядел почему-то все время на Петьку. Охранники лупили его, как бабы лупят белье на реке, а он все смотрел и смотрел и как будто ждал чего-то, но Петька не знал, чего он ждет, потому что сам бы он давно уже вскочил на ноги и убежал.

— Хорош, — сказал наконец седой, и оба охранника остановились.

Залитые лунным светом, они стояли, опираясь на свои «ППШ», тяжело дышали, как после игры в чехарду у себя в лагере, а тот японец, который был с ними, ползал по траве на карачках и что-то искал. Петька шевельнулся, собираясь подняться, и неожиданно нащупал в траве его палку. Секунду помедлив, он осторожно подтянул ее к себе, потом убрал за спину и, не оборачиваясь, затолкал как можно дальше в густой куст крапивы.

ГЛАВА 11

Хиротаро знал, кто сообщил лагерному начальству о его первой тетради, но не сердился на Масахиросу за это. В каком-то смысле он даже был благодарен ему. То мгновение, когда он внезапно ощутил себя мертвым, стоя в неглубокой могиле младшего унтер-офицера Марута, не было для него ни новостью, ни откровением. Хиротаро уже давно считал себя умершим. Он, собственно, поэтому и начал вести свой дневник. Ему хотелось написать что-нибудь из мира теней, отправить сообщение живым, рассказать им о том, что, быть может, волновало уже только мертвых. Но Масахироса выдал его, и пришлось начинать все сначала.

Пока Хиротаро восстанавливал тетрадь, он снова почувствовал себя живым, и вот за это он был благодарен своему другу. Его ничуть не пугал мир ушедших, среди которых он видел много светлых и дорогих его сердцу теней, однако проснувшийся интерес к жизни вдруг совершенно по-новому согрел его и заставил прислушаться к запахам, краскам и звукам этого мира.

— Стоять, суки! — громко скомандовал седой охранник, останавливаясь рядом с японским баракком. — Ты пошел спать, а ты — с нами к ефрейтору! Живо!

Масахироса, сторбившись, проковылял в барак, а Хиротаро покорно двинулся следом за охранниками в сторону каптерки.

Когда они подошли к тяжелой, обитой железом двери, седой охранник услышал что-то внутри и предостерегающе поднял руку.

— Тихо! — сказал он.

За дверью происходила какая-то возня. Оба ох-

ранника и Хиротаро стояли в темноте рядом с каптеркой, прислушиваясь к долетавшим до них звукам. Хиротаро не понимал, почему они не входят, но охранникам сейчас было не до него.

— Сказала нет, значит, нет... — бубнил женский голос. — Отцепись, кому говорю... Пошел, кобель драный!

За дверью что-то упало.

— Не даст ему больше Алена, — громко прошептал седой охранник. — Ей теперь офицеров подавай.

В слове «офицеров» он сделал ударение на последний слог, как говорили герои фильма «Чапаев» о белогвардейцах, но Хиротаро этого фильма не знал и вообще не настолько хорошо владел русским, чтобы уловить насмешку. Он понял только, что за дверью вместе с ефрейтором находится женщина и что она не хочет быть с ним.

— Козел! — громко сказала она, выбегая наружу.

Молодой охранник едва успел отскочить в сторону, чтобы его не треснула тяжелая дверь, а следом за женщиной из каптерки уже показался ефрейтор Соколов.

— Стой! — закричал он ей вслед. — Иди сюда!

— А вот это видел? — она обернулась и, как по гитарным струнам, провела рукой по тому месту, где у мужчины находится все самое важное. — Брынди-брынди, балалайка!

Засмеявшись, она показала ему кукиш и в следующее мгновение растворилась в темноте.

— Сука... — сказал ефрейтор и перевел рассеянный взгляд на охранников. — Вы чего тут?

— Вот, привели, — сказал седой, указывая на Хиротаро. — Полдня искали, товарищ ефрейтор. С ног сбились. Еще и ужин пропустили...

— Ты чего бегаешь? — Соколов устало посмотрел на японца. — Ну, чего тебе нейдет?

— Нада цветы смотреть, — заговорил Хиротаро, быстро развязывая свою котомку и успевая кланяться. — Господин офицер доржен цветы смотреть... Рюди на шахте бореть будут, умирать будут...

— Совсем с катушек слетел, — покачал головой ефрейтор. — Ведите его в карцер. Достал уже.

Охранники с готовностью схватили Хиротаро за руки, и все собранные им образцы мутировавших *Centaurea cyanus* посыпались из его котомки на землю.

* * *

Петька возвращался в Разгуляевку уже в темноте, полуголый и с перевязанным животом. Повязка, которую наложил ему на грудь побитый прикладами японец, от ходьбы ослабла и постоянно сползала на пузо, но Петька не хотел разматывать ее до конца. Ему казалось, что если он принесет домой хоть что-нибудь оставшееся от рубахи, бабка Дарья будет злиться не так сильно.

Петька почти бесшумно скользил по полю за разгуляевскими огородами. Со стороны могло даже показаться, что его ноги не касаются ни травы, ни земли, ни бесчисленных осколков каменной соли, а просто парят над тонким слоем тумана, который натащило под вечер с реки и который клубился теперь в полях вокруг засыпающей Разгуляевки. Со стороны могло даже показаться, что Петька — это вовсе не Петька, а какое-то непонятное голое привидение, если бы время от времени это самое привидение не хлопало себя звонко по плечам и груди, не шипело от злости и не материло

тоненьким голосом ненасытных разгуляевских комаров.

Петька отмахивался от них как умел, но, во-первых, от рубахи на теле оставалась одна сползавшая на пузо полоска, а во-вторых, он размышлял.

Комары, видимо, понимали, насколько занят Петька своим размышлением, поэтому вились вокруг него и зудели, как целый полк ночной бомбардировочной авиации. Анна Николаевна в школе как-то сказала, что кровь пьют только комариные самки, и Петька теперь был глубоко с этим согласен, так как в ночной авиации тоже служили одни тетки. Правда, тетки в отличие от комарих бомбили по ночам фрицев, а не честного советского пацана, которому и без них сильно досталось.

Петька размышлял о справедливости. Впервые в жизни он вдруг задумался о том, чего все-таки было больше на свете — то есть в Разгуляевке, в степи вокруг нее, и в лагере для военнопленных — справедливого или наоборот. Вспоминая, когда жизнь обходилась с ним честно, он загибал пальцы на правой руке, а когда нечестно — на левой. Оттого что руки из-за этого оказались заняты, японская повязка окончательно сползла вниз, и Петька перестал ее подтягивать.

У него выходило, что того и другого было примерно поровну. Как воды и картошки в том супе, которым кормила его бабка Дарья. При этом ему всегда хотелось, чтобы картошки было побольше, но бабка щедро подливала воды.

«Меньше места в пузе останется, — говорила она. — Хлебай, ишшо подолью».

На правой руке у него оказалось взятие Берлина, отдельным пальцем — освобождение Будапешта,

на средний и безымянный легли ефрейтор Соколов с американской тушенкой, а мизинец пошел под выздоровление старшего лейтенанта Одинцова от последствий контузии. Петька хотел на эту руку засчитать еще обстрел кашей тетки Алены и поезд с морской пехотой, но пальцев уже не осталось. Еще раз позавидовав привезенному дедом Артемом многорукому азиатскому богу, у которого с одной только правой стороны этих пальцев, наверное, было как минимум штук двадцать, Петька перешел к левой руке.

Здесь у него разместились Валеркина плохая болезнь, исчезновение Гитлера и мамкины руки, когда она сидела вечерами одна за пустым столом, сложив их перед собой, как неживая. Четвертым номером шло наступление на Квантунскую армию, которое все никак не могло начаться, а пятым — красота Таньки Захаровой. Петька вспомнил, как она перебирала тонкими пальчиками свою переброшенную через плечо косу, и решил, что это было несправедливо. Он подумал — почему это именно ей достались вот такие пальчики, и вот такие глаза, и вот такой нос, и такие губы, а у других девчонок, которые никуда не уехали, эти самые губы были толстые, глаза глупые и нос картошкой?

Петька еще много мог насчитать жизненной несправедливости, но и на левой руке пальцы у него тоже закончились. Выходило все-таки, что поровну честное и нечестное в жизни распределялось не потому, что того и другого накопилось одинаковое количество, а из-за того, что пальцев на левой и правой руке у Петьки было равным счетом по пять. Вот если бы на одной было, скажем, восемь, а на другой три, тогда бы еще можно было поспорить.

А так выходило — считай, не считай. Все равно на каждый палец найдется.

Но Петька вообще-то начал свой счет не из-за Гитлера и американской тушенки. Ему было непонятно, почему даже при таком раскладе и с учетом одинакового количества пальцев на обеих руках его японец так сильно получил в лесу от охранников. Ведь это уже был не Халхин-Гол и не высота Безымянная у озера Хасан, а просто один несчастный япошка, который шлялся по лесу и набрел на злых пацанов, и зачем-то спас от них Петьку, а потом появились наши и вломили ему за это по самое первое число. Ведь если бы он прошел мимо и не увел за собой пацанов, то Петька сейчас, скорее всего, покачивался бы на сосновой ветке, как елочная игрушка. А японец давно бы уже был в лагере, и охранники бы, наверное, не разозлились так на него.

Получалось, что на орехи во всей этой истории досталось только двоим — Петьке и старому японцу. Справедливо это или же нет — Петька не мог решить, потому что про себя лично он считал, что получил вполне справедливо — такая у выблядка жизнь, — а вот про японца ему было непонятно.

В общем, мир не спешил раскрывать перед ним свои тайны, и Петька скоро перестал мучить себя. Освободившись от странных размышлений, он, как зенитная установка, быстро перехлопал обнаглевших вконец комаров и прибавил шагу. Мамка дома уже, наверное, совсем его заждалась.

* * *

Бесшумно подойдя к воротам, Петька проскользнул в приоткрытую почему-то калитку и тут же замер. Во дворе все было вверх дном. Дрова из

разметанной кем-то поленницы белели в темноте от сарайчика почти до крыльца. На самом крыльце валялись два пустых ведра и коромысло. Залитые водой ступеньки блестели в лунном свете, как будто кто-то покрыл их лаком. Дверь в дом была настежь открыта.

Сам Петька вообще-то редко называл домом свое с мамкой жилище. Раньше это было обычное зимовье, в котором дед Артем держал свои столярные и бондарские припасы. Зимовье досталось ему еще от старика Брюхова. Потом, когда Нюрка неожиданно, и почти неизвестно от кого родила, бабка Дарья отселила ее туда, велел деду Артему ничего из припасов не убирать. Поэтому первый год пятнадцатилетняя Нюра Чижова кормила своего Петьку из худых одиноких титек посреди гнутых досок и кованых обручей. Запах свежего дерева стоял такой густой, что даже есть ей почти не хотелось. Переждав бабкин гнев и непреклонную брюховскую волю, дед Артем помаленьку начал обустраивать дочери и внуку жилье. Сперва разделил зимовье на две комнаты и пристроил крыльцо. Затем смастерил ворота, потом небольшой палисадничек и, наконец, коняжку на гнутых полозьях. Петька эту коняжку в детстве сильно любил, но дом и сейчас называл «брюховским зимовьем». В Разгуляевке все его так называли.

Стараясь не скрипеть досками, он осторожно переступил через ведра на крыльце и заглянул в сени. Там тоже был настоящий потоп. И еще два пустых ведра. Из комнаты, куда дверь была приоткрыта и слегка поскрипывала на сквозняке, падала дрожащая полоска света.

— Мамка, — негромко позвал Петька. — А, мамка? Ты где?

Ему никто не ответил. По спине у него от этого побежали мурашки, и он как в ознобе передернул плечами.

— Эй, — сказал он.

Потянув на себя скрипевшую дверь, Петька тихонько заглянул из сеней в комнату. На столе горела керосиновая лампа без стекла. От сквозняка огонек дрожал и, казалось, должен был вот-вот погаснуть. Весь пол вокруг стола усеивало разлетевшееся на десятки осколков ламповое стекло. Как будто кто-то снял его с керосинки, а потом шаркнул изо всех сил прямо в середину столешницы, и оно взорвалось, как осколочная граната. Рядом со столом валялась опрокинутая табуретка.

Петька помедлил еще секунду и осторожно двинулся к мамкиной спальне, стараясь не наступить босой ногой на стекло.

«Где теперь новое-то возьмем? — неожиданно подумал он. — Столько денег на него угрохали».

Обойдя стол и перешагнув через лежавшую на боку табуретку, он приблизился к дверному проему, закрытому старенькой занавеской. Там, за этой шторкой, была мамкина спальня. Больше в доме ей спрятаться было некуда.

— Мамка, — снова позвал Петька, почему-то не решаясь отодвинуть занавеску. — Ты здесь?

На застиранной выцветшей шторке прямо перед ним безмолвно раскачивалась его тень. Петька нерешительно протянул к ней руку, но потом отступил на шаг и обернулся на лампу. Огонек трепетал как живой, и у Петьки вдруг появилось странное

тоскливое чувство, будто, кроме этого огонька и его самого, в доме больше не было ничего живого.

Взяв лампу в правую руку, он снова подошел к занавеске и, затаив дыхание, наконец заглянул за нее. С порога в неясном дрожащем свете он разглядел только изголовье мамкиной кровати, а в изголовье, прямо на подушке, — ее боты.

«Чего это она в ботах на кровать забралась? — подумал он. — Да еще с ногами на подушку».

Петька медленно поднимал лампу над головой, и круг света становился все больше.

За ботами шли мамкины ноги. Потом мамкина юбка, и вообще мамкино все. Когда свет добрался до мамкиной шеи, рука ее неожиданно шевельнулась. Петька вздрогнул и едва не уронил лампу. Мамкино горло пересекала широкая темная полоса. К левому уху она загибалась и уходила вверх, исчезая под волосами.

Глаза ее были открыты. Мамка смотрела прямо на Петьку, а он, задржав руку с лампой над головой, молча смотрел на нее.

Наконец она как-то мучительно улыбнулась, и Петьке почудилось, что она хочет попросить у него прощения, но только он не понимал — за что, потому что это ему надо было просить у нее прощения за изничтоженную японцем рубаху и за пробитую спину, которую ей теперь придется лечить.

— Вот так, — еле слышно сказала она. — Всю воду пролила, сына.

Глаза у нее широко раскрылись, и по левому виску за ухо серебристой дорожкой скользнула слеза.

В этот момент позади Петьки вдруг что-то загрохотало, затопало, и прямо из-за его спины в круг желтого света выскочила Михайлова тетка Ната-

ля. Петька до такой степени не ожидал этого, что от испуга подпрыгнул, но она даже не посмотрела в его сторону, а сразу бросилась к мамкиной кровати. В руке у нее был ковшик, из которого, как ртуть, тяжело выплескивалась на пол темная ночная вода.

— На, милая, — задыхаясь, быстро заговорила она. — Попей, попей, родная. Вишь, чего мне удумала... А я-то бегу на колодец и думаю — что же я, дура, ее одну там оставила! Думала — ты опять... А ты, милая, дождалась. Вот, молодец. Ну, пей, пей... Ничо...

Петька, неподвижный, как истукан со своей лампой, огромными глазами смотрел на припавшую к кровати тетку Наталью, на ее пыльные стоптанные сапоги, на дырку в левом голенище, на старый ватник, и на то, как мамка пытается пить, но почему-то все время захлебывается и кашляет, кашляет без конца, и глаза у нее уже такие больные, а тетка Наталья все равно прижимает ее лицо к своему ковшику, и черная вода льется мамке прямо на кофту, и на кровать, и на дрожащие руки, и на пол.

— Ну, чо встал? — резко обернулась к нему тетка Наталья. — Дуй к бабке Дарье! Скажи ей — беда!

* * *

Притихший, умытый и получивший свое за рубаху Петька лежал под одеялом из стареньких лоскутов и тарашил глаза на тени, которые кривлялись на потолке. Время от времени тяжелая, как дверь в погреб, усталость придавливала его, и он, чтобы выскользнуть, отплывал куда-то к печи, но тут же весь взбрасывался, шипел от боли в спине, начинал ворочаться, теревить левое ухо, зевать и

снова прислушиваться к тому, о чем шептались бабка Дарья с теткой Натальей.

Потому что до этого Петька вообще ни разу не видел их вместе. Бабка Дарья михайловский дом всегда обходила за целую улицу. А теперь вдруг сидят за одним столом. Склонились над огоньком и шушукаются. И две большие тени на потолке.

— А я-то чего? — еле слышно говорила тетка Наталья. — Игнат до колодца добежал со своей почты и говорит: Митька твой возвращается. Из Читы по проводам сообщили. Героем, говорит, едет. Всего нашего великого Советского Союза. И с ним ишшо один кто-то из разгуляевских. А кто — не сказал. Но я уже вся в слезах. Не ждала даже. Только, говорит, ноги у его нет. А я: то смеяться, то плакать. Думаю — да бог с ней, с ногой. На одной попрыгаем.

— А Нюрка? — перебила ее бабка Дарья.

— Так Нюрка-то чо? Гляжу на ее, а она так бочком со своими ведрами уже отходит. И потом быстро пошла. А у меня сердце вдруг так и захолонуло. Я думаю — чего это вдруг? Митька мой живой едет, а мне как ножом. Я тогда за ней и пошла. Но быстро уже не могу. Ноги болят, и коромысло на плечи давит.

— Ну?

— А чего ну? Во двор захожу — на крыльце ведра все перевернутые. Дверь нараспашку. Я кричу — Нюра, Нюра, а она, Нюра, — вон уже где. Под потолком.

Тетка Наталья всхлипнула, припомнив то, что увидела, когда вошла в дом.

— И ноги качаются.

Она замолчала, не в силах продолжать, и некоторое время они сидели молча.

— Ну? — наконец глухо сказала бабка Дарья.

— А чего ну? Подхватила ее и держу. А как веревку-то отрезать — не знаю. Так и стоим. Потом уже на стол забралась, отцепила... Ой, Дарья, что же это? — неожиданно завывала она, прикрывая ладонью рот. — Да зачем же такое над собой творить?

Петькина бабка ответила не сразу. Долго смотрела на керосиновый огонек, раскачивалась на потолке огромной костлявой тенью.

— Из-за Митьки все из-за твоего, — наконец сказала она. — Надеялась я, убьют его на войне. Видать, не вышло.

После этого они опять замолчали, и Петьке показалось, что обе старухи окончательно превратились в тени на потолке. Он шевельнулся под одеялом, пытаясь стряхнуть с себя сон, но не сумел и плавно поплыл к этому потолку и к этим печальным бабкам.

Где-то в стене тихо трещал сверчок.

— Да как же это? — сказала одна тень на потолке. — Ты чего говоришь? У меня радость такая... Я тебе дочку от смерти уберегла...

— Ну, уберегла, и спасибо, — ответила вторая тень. — А теперь вон иди. Не о чем нам с тобой разговаривать.

Тени еще раз качнулись и потом исчезли. Во дворе кто-то звякнул пустым ведром. Из мамкиной комнаты не доносилось ни звука.

Петька бы давно заснул, но его беспокоили слова тетки Натальи. Под тяжелыми веками уже вовсю крутились какие-то веселые огоньки, а он все думал и думал — кто же это едет с войны вместе с ее одноногим сыном. Тетка Наталья сказала, что этот второй был один, а Петька ждал с фронта двоих —

дядьку Витьку и дядьку Юрку. Но, может, тетка Наталья ошиблась?

Наконец он провалился куда-то в мягкую темноту, и перед ним распахнулось небо, а в синем небе, как глобус, крутилась планета, и на планете была Разгуляевка, а в Разгуляевке был его дом, и у ворот продолжали ругаться две его бабки. А из Читы на длинном красивом поезде подъезжал одноногий сын, и с ним кто-то еще, но кто — этого Петька не видел. А где-то сбоку была Япония, и там сидела на корточках семья этого чокнутого японца.

— Не отец он тебе, — сказал над Петькиной головой чей-то голос.

Петька с трудом разлепил глаза и увидел сердитое лицо склонившейся над ним бабки Дарьи.

— Не отец, — повторила она.

— Кто? — пробормотал Петька. — Японец?

ГЛАВА 12

Если бы ему была доступна такая роскошь, как отец, Петька ни за что не взял бы на эту должность Митьку Михайлова. Во-первых, потому что тот воевал в штрафной роте; во-вторых, потому что за тащил его мамку в кусты за пакгаузом, когда ей было всего четырнадцать лет; и в-третьих, потому что в отцы себе Петька хотел товарища Сталина.

У Митьки, конечно, теперь на груди сверкала Золотая Звезда Героя, но вот то, что получил он ее в штрафниках, сильно меняло расклад в худшую сторону. В начале тридцатых он по глупости увязался за кордон с бывшими красными партизанами, которые время от времени по старой памяти и по пьянке ходили еще через границу в Маньчжу-

рию, чтобы пощипать ушедших от Советской власти и заживевших там семеновцев. Отряд их быстро разоружили, а Митька, отвечавший за лошадей, пошел под суд, потому что сердитые, но хозяйственные старoverы, подстрелив командира и отпустив остальных, всю скотину, разумеется, оставили себе. На лесоповале Митька горбатился до самой осени сорок второго, а потом, когда по приказу номер 227 на фронте стали формировать штрафные роты и батальоны, написал заявление начальнику лагеря и попросил дать ему возможность искупить кровью. Просьба была удовлетворена.

Впрочем, никакой крови бы не понадобилось, если бы у Митьки в свое время хватило мозгов не лезть под юбку к Нюрке Чижовой. Но ему было обидно, что это не его, а Нюркиного брата отправили в райцентр учиться на тракториста, и поэтому, чтобы хоть как-то насолить Чижовым, он затащил однажды безответную Нюрку в кусты за пакгаузом. Отчего, собственно, и родился на свет Петька — безотцовщина, выблядок и наказание бабке Дарье на старости лет. Чижовы Митьке такой паскудности не спустили, поэтому и пришлось ему уходить в Маньчжурию с бывшими партизанами. Не ушел бы — захлестнули насмерть, и все.

В общем, была бы Петькина воля, он Митьку Михайлова себе в отцы бы не взял. А мамку бы взял. Даже если бы на выбор предлагалось еще пять тысяч мамок.

* * *

Утром он сгонял на сеновал к бабке Дарье и притащил оттуда старый журнал «Крестьянка», который давным-давно спер у почтальона дяди Игната.

— Чего это? — сказала тетка Наталья, спозаранку зачем-то сидевшая на лавочке рядом с их калиткой. — Чего такое?

Запыхавшийся Петька не стал ей ничего объяснять, а просто ткнул пальцем в обложку и выдохнул:

— Картина художника Самохвалова. Эсэмкиров принимает парад физкультурников.

Физкультурники на картине стройными рядами шли мимо С.М. Кирова, а какие-то непонятные девки липли слева к высоченной трибуне и толкали вверх никому не нужные цветы. Во всяком случае, С.М. Киров на них даже и не смотрел. Махал рукой портрету Ленина на горизонте.

Но Петьку интересовали именно эти девки в белых юбках и таких же белых носках. Ночью на станцию начали прибывать эшелоны 6-й танковой армии генерала Кравченко, и после того, что произошло с мамкой вчера, Петька решил немедленно вести ее к танкистам, чтобы она выбросила из головы всякую дурь.

Глядя на счастливых девок с картинки, он был совершенно уверен, что в таком наряде мамка от похода к танкистам ни за что не откажется. Вопрос — где все это найти.

— Юбки белой точно ни у кого нет, — отрезала тетка Наталья. — До войны у Катюхи Пестышевой была, но она ее в райцентре на новый ухват с чугуном променяла. А то, знашь, как любила раньше-то в ей форсить. Беда!

— А носки? — перебил Петька.

— Носки?.. Белые?

Тетка Наталья нахмурилась и почесала лоб под платком.

— Носки знаю у кого есть. У Томки, у председателевой жены... Он их из области ей привез после партийного совещания.

— Даст?

Тетка Наталья с сомнением покачала головой:

— Жадная она. Не знаю. Ты попробуй чего-нибудь ей послужи. Воды натаскай... По дому там что-нибудь... Да скажи — на время. Завтра вернем.

— Ага!

И Петька уже мчался в сторону дома председателя.

* * *

— С юбкой чего будем делать? — спрашивал он через полчаса. — Где возьмем? И туфли еще надо.

— погоди, не мешай, — отвечала тетка Наталья. — Дай подумать.

Петька усаживался на скамейку и, пока тетка Наталья, слюнявя пальцы, листала журнал, вытаскивал из кармана единственные на всю Разгуляевку белые носки и бережно разглаживал их у себя на коленке.

— Не испачкай... Стой, а это чего? — неожиданно говорила тетка Наталья, отодвигая от себя журнал на вытянутую руку. — Что-то не разберу. Глянь, Петька.

— Это машины такие, — объяснял он.

— А это?

— Это дома.

— Такие вот высоченные?

— Так Москва же. Там все в таких живут. Там товарищ Сталин.

Тетка Наталья никак не могла угомониться и все спрашивала Петьку про картинки в журнале, а он,

как кузнечик, без конца прыгал со скамейки и обратно, потому что журнал она отодвигала на полкилометра, и чтобы рассмотреть, про что она каждый раз спрашивает, нужен был полевой бинокль.

Петька злился, но все же помалкивал. Он понимал, что без тетки Натальи про белую юбку и туфли ему ни за что не узнать. А танкисты не сегодня-завтра могли сняться и уйти бить квантунцев.

— Там на обложке, — хитрил он, — тоже одна штука интересная есть.

— Где? — попадалась на уловку тетка Наталья и возвращалась к картине художника Самохвалова.

— Вот, — Петька неопределенно проводил рукой по обложке и быстро менял тактику. — Ну так чо? Где юбку-то белую взять?

— Нигде. Нету такой в Разгуляевке.

— А чо делать?

— Платье пошьем.

— Платье? — удивлялся Петька. — Целое платье?

— Не бойсь, я уже все придумала. У меня ситца белого есть кусок. Синий платок ишшо дам. Как в песне. Сдохнут твои танкисты, точно тебе говорю.

Она манерно отводила в сторону руку и начинала петь:

— Маленький синий платочек
падал с опущенных плеч...

— А скока ты его шить будешь? — перебивал Петька.

— Скока-скока... Завтра к утру пошью.

— Так мне носки завтра отдавать надо.

— Значит, подождут до послезавтра.

— А туфли?

— Тьфу на тебя! Да в кого ж ты такой неутомонный?

Как будто сама не знала в кого.

* * *

На следующее утро в самом начале девятого Петька уже тащил за околицу упирившуюся мамку. Одной рукой она придерживала роскошный тетки-Натальин платок, а другую пыталась освободить из цепкой Петькиной хватки.

— Не пущу, — повторял он и упрямо продолжал тянуть ее на звук танковых моторов. — Сама потом еще спасибочки скажешь. Тоже мне, королева нашлась...

Петькина мамка и в самом деле выглядела как королева. Тетка Наталья, накинув ей под утро на плечи платок, отошла на два шага в сторону, оценила свою работу и даже как будто слегка всплакнула.

— Ну, надо же, Нюра... Какая красавица...

— Я? — растерянно сказала Петькина мамка и осторожно заглянула в зеркало.

Правда, с туфлями получилось не совсем ладно. Петька их по совету тетки Натальи хоть и нашел и даже успел один вечер за них отработать, но все же злился теперь, что они оказались малы. Мамка хромала в этих крошечных белых лодочках, как будто прошла в них сто километров.

— Ладно, ты их поканими, — смилостивился наконец Петька. — Но, как на место придем, обратно наденешь.

— А может, я и там как-нибудь... Без них?

— Нет, — сурово отрезал Петька. — Босиком нельзя. Я за них еще два дня у Кирилловых на огороде вкалывать должен. Чо, думаешь, легко?

Она скинула надоевшие туфли, а Петька поднял их, оглядел и бережно сдул с них пыль.

— Налипло всякой дряни, — проворчал он, и они двинулись дальше.

Жаркое забайкальское солнце уже выглядывало из-за сосен, мягко подталкивая в спину этих двоих.

* * *

Выйдя на край оврага, в котором рычали моторы и над которым поднимался сизый выхлопной дым, Петька остановился, разинув от удивления рот. Его мамка тоже остановилась, но не от удивления, а от того, что остановился Петька.

— Американские, — разочарованно протянул он. — Не наши танки... Они на этом говне, что ли, собираются воевать?

В овраге стояло несколько новеньких танков «Шерман», полученных от союзников по ленд-лизу. Вокруг этих несуразно высоких машин с короткими смешными стволами суетилось много людей. Танкисты пихали в стволы какие-то длинные палки, смеялись, выглядывали из башен, и Петька, захваченный врасплох всей этой картиной, не сразу заметил старшего лейтенанта Одинцова.

— Эй, Петька! — закричал тот, махнув рукой. — Иди сюда!

Петьке стало обидно, что он так и не увидит настоящих «Т-34», о которых так долго мечтал, но потом он вспомнил, зачем пришел, перестал злиться и потянул мамку за собой вниз по склону оврага.

«Ладно, пусть будут американские, — скрепя сердце решил он. — Главное, чтобы она выбросила из головы свою дурь. Вон тут сколько танкистов. С ними не задуришь».

Петька еще не совсем понимал, каким образом танкисты должны помочь мамке, но чувствовал, что они могут.

— Здравсьте, — сказал он, протягивая руку Одинцову. — А это вот моя мамка. Нюрой зовут...

— Здравсьте, здравсьте, — проговорила тетка Алена, неожиданно выходя из-за ближайшего танка. — Ты погляди, кого принесло. Висельников, что ли, с кладбища отпустили?

Она прыснула со смеху, показывая пальцем на одинаковые темные полоски, которые пересекали горло у Петьки и у его мамки.

Оба они от растерянности одновременно прикрыли свои полоски рукой, а тетку Алену это развеселило еще больше.

— Дефективные, — засмеялась она. — Сидели бы на своем кладбище!

— А у меня тоже тут шрам, — густым низким голосом сказал лысый майор, подходя к ним и расстегивая верхнюю пуговицу гимнастерки. — Вот, смотри.

Он склонился к Петьке и показал ему широкий рубец, который пересекал его шею чуть ниже огромного кадыка.

— Тросом однажды прихватило. Думал, совсем башню снесет. А у тебя от чего?

— Фигня, — махнул рукой Петька, не сводя взгляда с орденов на груди майора. — Неважно.

— Понятно, — тот выпрямился и с интересом посмотрел на Петькину мамку, которая плотно закрывала свое горло тетки-Натальиным синим платком. — Позавтракаете с нами?

— Да, — сказал Петька, хотя майор смотрел все не на него.

— Тогда прошу всех к столу, — майор застегнул гимнастерку и протянул широкую крепкую ладонь Петькиной мамке. — Очень приятно познакомиться. Майор Баландин.

Тетка Алена, старший лейтенант Одинцов, а следом за ними и Петька с мамкой направились в сторону сколоченного на скорую руку большого стола, а перепачканные в смазке танкисты, которые суетились вокруг своих тяжелых машин, остановились и на секунду замерли, щурясь от солнца и глядя вслед женщинам в легких платьях.

* * *

— Чего уставился? — пробурчала тетка Алена, заметив, что Петька не сводит с нее глаз. — Только попробуй кинь в меня чем-нибудь. Захлестну за сранца.

Но Петька даже не собирался. Все они сидели теперь под широким длинным навесом и ели наваристые щи. Неподалеку танкисты продолжали выдавливать из танковых стволов застывший смазочный материал, который, как объяснил Петьке товарищ майор, залили туда американцы.

— Для транспортировки, — пояснил он. — Чтобы на море вода в стволы не попала.

Петька быстро доел свои щи, повертел головой, наблюдая за танкистами с их длиннющими палками, погладил свежеструганую лавку, помечтал немного о том, чтобы тетке Алене в зад воткнулась заноза, а потом стал смотреть за тем, кто как ест.

Мамка не ела никак. Просто держала в правой руке ложку и смотрела в стол прямо перед собой. Костяшки пальцев у нее слегка побелели, как будто она зажала в кулаке не ложку, а, например, грана-

ту. Но Петька с самого начала знал, что приблизительно так и будет, поэтому расстраиваться не стал. Главное, что ему удалось ее сюда притащить.

Майор Баландин ел обстоятельно, подолгу прожевывая капусту и мясо, постукивая ложкой по дну тарелки, по-бычьи опуская огромную, как башня у танка, лысую голову. Время от времени он поглядывал на своих гостей и подчиненных. Подмигивал Петьке, смотрел на его мамку, а потом снова переводил взгляд на него и вопросительно поднимал брови. В ответ Петька делал успокаивающий жест, слегка раскрывая левую ладонь и незаметно для остальных показывая майору эту пустую ладошку, словно говорил: «Все нормально. Все хорошо».

Тетка Алена ела, жеманясь и выламывая из себя культурную. Ложку держала не всеми пальцами, а только тремя, оттопырив мизинец и даже безымянный так далеко в сторону, что Петька удивлялся, как это ей вообще удастся донести до рта хоть чего-нибудь. Время от времени она томно вздыхала и культурно закатывала глаза, как артистки в трофейном кино. Правда, кроме Петьки, на нее никто не смотрел, и потому было неясно — кому она тут показывает всю эту красоту.

Поймав на себе наконец удивленный Петькин взгляд, она даже поперхнулась.

— Чего уставился?

Но Петька не стал отвечать. Скорчив ей рожу, он дождался, когда она продолжит есть, а потом покосился на старшего лейтенанта Одинцова.

Тот ел, нахмурившись, как будто отчитывал кого-то или как будто щи ему сильно не нравились, но он должен был их непременно доесть. Локоть правой руки, в которой старший лейтенант держал

ложку, почти не двигался, и от этого Петька вспомнил, как однажды из райцентра в разгуляевскую школу приехал врач и всем по очереди ставил под мышку стеклянный градусник, и каждый сидел вот так же, как Одинцов, с прижатым локтем и напряженным лицом, а все остальные стояли вокруг и ждали своей очереди, потому что градусник был один.

Но старший лейтенант прижимал локоть вовсе не из-за градусника. Справа от него сидела томная Алена, и он боялся случайно коснуться ее плеча. Солдаты в лагере злились на него за то, что он запретил ей появляться на охраняемой территории, а ефрейтор Соколов этим утром на выходе из столовой сделал вид, будто не заметил его, и ушел на построение, не откозыряв. Однако по-настоящему Одинцова угнетало даже не это. Доедая густые танкистские щи, он вынужден был признаться самому себе, что его тоже волнует присутствие беспутной Алены.

— Так откуда у тебя столько японцев, старлей? — неожиданно заговорил с ним Баландин. — Мы вроде в наступление пока не перешли.

— С Халхин-Гола еще сидят, — с готовностью ответил Одинцов, обрадованный тем, что майор прервал наконец затянувшееся за столом неловкое молчание.

— С Халхин-Гола? А мне брат говорил вроде, что всех пленных тогда обменяли.

— Не всех. Кого-то не успели, кто-то сильно раненный был, кто-то сам отказался.

— И такие были? — поднял брови майор.

— Ну да. У них тоже после плена непросто к своим возвращаться.

— А-а, — Баландин слегка нахмурился и кивнул. — Понятно.

— Еще врач у меня один есть. Говорят, из-за раненых в плену остался. Японцы тогда совсем тяжелых сами брать не хотели. Ходит теперь по сопкам, травы какие-то собирает.

— А я его знаю! — встрепенулся Петька. — Старый такой. С котомкой.

— Ну да, — кивнул Одинцов. — Хиротаро Миянага зовут. Вернее, наоборот. У японцев сначала фамилия, потом имя.

— Значит, по-японски я буду Нестерова Алена, — кокетливо хихикнула тетка Алена, отодвигая пустую тарелку. — Прямо как в школе.

— По-японски ты будешь «шалава беспутная», — неожиданно сказала Петькина мамка и сняла наконец под столом измучившие ее туфли.

— Молчала бы уж! — фыркнула та.

— Он и сейчас их лечит, — продолжал Одинцов, стараясь не обращать внимания на женскую перепалку. — Только все бесполезно. Мрут они у меня.

— Почему? — спросил майор. — Плохо кормишь?

— Да нет, по рациону. Видимо, в шахтах что-то не так.

— А что, интересно, там может быть не так?

— Не знаю. Но тут еще до меня повелось, что наши охранники в забой с пленными не спускаются. Местные говорят — там нечисто.

— Точно, — поддакнула тетка Алена. — У нас вон девка одна еще до войны работала там учетчицей, когда беременная была. Так теперь пацан у нее помирает. Вылечить нет никакой возможности. Просто ужас.

Петька вспомнил бабушку Потапиху, ее пироги и свисающую с кровати Валеркину руку.

— Суеверия, — хмыкнул Баландин.

— Возможно. Но то, что японцы на шахтах мрут, — это факт. И ни один врач не может установить причину. Заразы вроде никакой нет.

— А этот их Муганага?

— Миянага.

— Да мне все равно. Он чего говорит?

— Он вообще-то не особенно говорит. Понимает вроде по-русски, но сам сказать может не больше двух слов. Он чаще поет.

— Поет? — удивился Баландин.

— Ну да. Видимо, так русский язык учит. Охранники по вечерам в казарме поют, а он слушает. Я несколько раз его у них под окном заставал. Только сам он поет очень странно. Букву «л» не выговаривает.

— Смешно. И что поет?

— Разное. Но чаще всего «Эх, дороги».

При этих словах старшего лейтенанта майор Баландин неожиданно изменился в лице, вздохнул и как будто о чем-то вспомнил.

— Хорошая песня, — сказал он, помолчав.

Потом опер тяжелую голову на кулак, прикрыл глаза и негромко запел таким голосом, от которого у Петьки по спине побежали мурашки:

— Знать не можешь доли своей.

Может, крылья сложишь посреди степей...

Пропев эти две строчки, он опять замолчал, и за столом некоторое время стояла тишина. Слышно было только, как смеются танкисты возле своих машин.

— Брат у меня эту песню любил, — наконец за-

говорил майор. — В степи тут у вас воевал на истребителе... А вот крылья сложил в Будапеште...

Майор помолчал еще немного, потом снова вздохнул, обвел всех взглядом и улыбнулся:

— Да, старшой, интересный у тебя японец...

Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент в соседнем танке раздался пронзительный крик:

— Стой, стой! Хорош! Замри! Не толкай дальше!

Баладин вскочил из-за стола и бросился к танку.

— Отставить! — закричал он. — Немедленно прекратить!

Танкисты и техники с длинными шестами в руках замерли на месте. Майор вскочил на броню, продолжая напряженно вытягивать руку в сторону своих подчиненных, которые и без того уже стояли, не шевелясь, рядом с торчавшим из ствола шестом.

— Не двигаться, — на всякий случай еще раз предупредил их Баладин и заглянул в командирский люк.

Петька с бьющимся, как у воробья, сердцем вылетел из-за спины тетки Алены и тоже скакнул на броню.

— Куда?!! — сжав зубы, зашипел майор. — Назад!

Подбежавший старший лейтенант сгреб Петьку в охапку и отскочил с ним подальше в сторону.

— Дурак, что ли! — пробормотал он Петьке на ухо сдавленным голосом. — Чужая ведь техника. Неизвестно, чего там у них...

— Держи его! — крикнул Одинцову майор Баладин. — Отойди с ним подальше! И женщин отсюда уводи!

Затем он снова склонился над люком, но в ту же секунду отпрянул, потому что оттуда вдруг выныр-

нула перепачканная в смазке голова одного из танкистов.

— Я же говорил, не толкай, — расстроенно сказал тот, не замечая позади себя командира и показывая притихшим товарищам горлышко от разбитой бутылки. — В стволе была. Прямо в этом их солидоле. Подарок от американских рабочих.

Баландин выхватил у него из руки осколок, понюхал его и расплылся в широченной улыбке:

— Виски, мужики. Американская самогонка.

Затем выпрямился во весь рост и закричал в сторону остальных танков:

— Стой! Отставить чистить стволы! Отставить!

* * *

Через полчаса на столе под навесом стояло около десятка бутылок с иностранными этикетками, а личный состав танкового батальона толпился чуть в отдалении, не решаясь нарушить субординацию и в то же время не находя в себе сил разойтись. Один только младший сержант, первым обнаруживший виски, получил разрешение майора приблизиться к странным квадратным бутылкам — и то лишь для того, чтобы стереть с них необыкновенно вонючий американский солидол.

— Да ты не сильно старайся, — говорил Баландин младшему сержанту. — Донышко-то зачем трешь?

— А пятна на столе останутся, товарищ майор? Нам еще здесь пищу принимать неизвестно сколько времени. Вонять будет.

— Хорош, я тебе сказал. Горлышки протри — и нормально.

Баландин посмотрел в сторону своих танкистов и развел руками:

— Ну, чего уставились? Самогона не видели?

— Если бы самогона, — протянул один из механиков. — А это ж американский продукт, товарищ майор. Европа!

— Сам ты Европа, — махнул на него рукой Баландин. — В Германии, что ли, этих американцев не насмотрелся?

— Так, американцы-то — это одно, а самогон ихний — это уже совсем другое... Может, разрешите на пробу грамм хотя бы по пятьдесят? А, товарищ майор? А то воюешь-воюешь, а виски этого ихнего так и не попробуешь. Все только спирт да спирт. Срамота одна. Ну что мы, скоты, что ли, какие-нибудь?

Баландин, который хотел заныкать редкий продукт до лучших времен и для подарков знакомым связисткам в штабе дивизии, оглядел ждущих его решения танкистов, прищурился, подмигнул Петьке и со смехом сказал:

— Ладно. Но только по пятьдесят. И уберите говно из башен.

Петькина мамка к этому времени уже освоилась среди военных. Переполох вокруг танка и начавшееся после него веселье развлекли ее, и она уже с любопытством посматривала по сторонам. Заговорить с кем-нибудь она, конечно, еще не решалась, но про темную полосу у себя на шее почти забыла. Время от времени она даже убирала левую руку со своего горла, и тогда вдвоем с Петькой они становились весьма странной парой — словно кто-то повязал им на шею по черной ленточке. Только у

Петьки на его бесконечно счастливом лице были еще две большие ссадины и синяк.

Белое платье, которое за ночь сварганила для нее тетка Наталья, сначала стесняло Петькину мамку. Ей казалось, что белое — это слишком. В белом она не ходила даже в те времена, когда учительница Анна Николаевна ласково смотрела на нее из-за своего стола и говорила: «А сейчас Нюра Чижова почитает нам стихотворение». Однако теперь, когда все неожиданно сгрудились кучей вокруг стола и начали выяснять — кто пьет, кто не пьет и кто вместо кого выпьет два раза, она вдруг заметила, с каким интересом посматривают на нее танкисты, и поняла, что Петька был прав и что художник Самохвалов не зря нарядил в белое своих физкультурниц.

— А вас, извините, как зовут? — спросил ее майор Баландин. — А то ваш пацан ведь нам ничего не сказал... И почему вы это... Ходите босиком?

Лицо и вообще весь череп у него при этом то ли от виски, то ли от смущения слегка порозовел.

— Я? — смутилась она вслед за ним и немедленно прикрыла левой ладонью горло. — Меня Чижова Нюра зовут.

— Тоже, глядь, как японцы! — захохотала тетка Алена. — Имя задом наперед говорит. Сидела бы дома, клуша, со своим выблядком.

Петька быстро посмотрел на стол в поисках чего-нибудь, что можно было швырнуть ей в рожу, но тут вмешался старший лейтенант Одинцов.

— А платье у вас такое откуда? Довоенное?

Он, в общем-то, не хотел ни о чем спрашивать Петькину мамку, а если даже и хотел, то совсем не об этом, но ему вдруг стало так стыдно за приведен-

ную им тетку Алену, что он задал первый вопрос, который пришел ему в голову.

— Платье? — растерянно переспросила она. — Это Михайлова тетка Наталья пошила...

— Очень красивое, — неестественным голосом сказал Одинцов и посмотрел на тетку Алену.

Увидев, какими глазами смотрит на нее старший лейтенант, та не то чтобы вся обомлела — она просто готова была разорвать эту Нюру Чижову на мелкие кусочки.

«Да как же так? — думала она. — Что же это такое?»

Нюрка была для нее до такой степени не человек, что ей вообще было непонятно, кому она здесь нужна. А теперь выходило, что эту висельницу замызганную поставили не только вровень с нею, но даже выше ее. И главное — кто? Офицеры! В то время как сама она за всю войну никому старше по званию, чем ефрейтор, дать не смогла. И рожи у этих кобелей во время разговора с ней ни разу от смущения не покраснели. Сохраняли устойчивый естественный цвет.

Нет, надо было срочно что-то предпринимать.

— А у меня зато сегодня день рождения, — с вызовом сказала тетка Алена, как будто этот только что придуманный ею факт мог отменить роскошное белое платье, белые носки и белые туфли, которые Петькина мамка держала теперь в правой руке, опасаясь пропажи взятого в долг имущества.

* * *

Расплачиваться за вранье тетки Алены пришлось майору Баландину. До этого он еще надеялся припрятать для себя лично хотя бы пару бутылок,

но, услышав про день рождения, экипажи немедленно потребовали «по второй», и у Баландина не осталось пространства для командирского маневра.

— За прекрасных дам! — кричали танкисты. — За победу! Даешь империалистический самогон! Ур-р-ра! С днем рожденья!

Через десять минут все, уже пустые, бутылки перекочевали под стол. Последнюю манерно убрала туда тетка Алена.

В расположении батальона царило веселье.

Петька, который знал, что никакого дня рождения нет, все равно поддался общему настроению и перепрыгивал с танка на танк, корчил рожи, кривлялся, а потом даже полез вместе со всеми на склон оврага за багульником для тетки Алены. Он, правда, предупредил захмелевших танкистов, что багульник давно отцвел, но тем было весело, и они наломали огромную охапку прутьев без всяких цветов.

— Мне Васька Геласимов про этот багульник рассказывал, — нетрезво повторял один из них. — Васька Геласимов... Помните его, мужики? Он же из этих мест... Я еще в Польше решил обязательно посмотреть на этот его багульник. Все уши, зараза, мне прожужжал... Васю Геласимова помните, мужики? Три дня до победы не дожил... В Берлине схоронили, помните?

Возвращаясь к навесу впереди сильно отставших танкистов, Петька еще издали увидел, что майор сидит за столом рядом с его мамкой и о чем-то с ней говорит. Впрочем, говорил он по большей части не с ней, а в ее сторону, потому что Петькина мамка смотрела куда-то вбок, изредка кивала и задумчиво проводила пальцем по белым туфлям, которые

стояли перед ней на столе. Одинцов с теткой Аленой без всякой музыки танцевали рядом с навесом.

«Слиплись», — мрачно подумал Петька.

Танкисты шумно вручили раскрасневшейся от счастья тетке Алене огромный, но сильно ободраный веник, а после этого пошли убирать из своих башен американский солидол. Петька остался под навесом.

Через минуту он заскучал.

— А какой самый большой снаряд у танка? — дернул он майора за рукав.

— Тебе зачем? — спросил тот, не поворачиваясь к нему и продолжая смотреть на его мамку.

— Ну вот, думаю, взорвет «тридцатьчетверка» целый дом или нет?

— Смотря какой дом. Фугасным, может, взорвет.

— А два дома?

— И два дома взорвет.

— А целый город?

— Слушай, — майор повернулся к Петьке. — Ты чего такой кровожадный? Иди поиграй.

Но Петька не унимался.

— А бывает такой снаряд, чтобы взорвать луну?

Майор вздохнул и пожал плечами:

— Пушек таких нету.

— А если бомбу на самолете отвезти?

— Не долетит. Да и зачем?

— А всю Землю взорвать можно? Бывает такой снаряд?

Майор помолчал, внимательно глядя на Петьку, а потом качнул своей большой головой:

— На фига тебе Землю взрывать? — наконец сказал он. — Мы-то где будем?

* * *

Через пять минут Петька снова дернул майора за рукав:

— А про свои ордена расскажите.

Баландин замолчал, вздохнул и снова повернулся к нему.

— Может, потом? — сказал он.

Но Петька был неумолим.

— Потом суп с котом.

— Вот, брат, какой ты настырный, — вздохнул майор. — Ну, ладно. Тебе про какой рассказать?

— Про все.

Баландин немного подумал и улыбнулся.

— Давай я тебе лучше про якута расскажу.

— Я про якута не хочу. Хочу про Красного Знамени.

— Нет, лучше про якута. Или вообще не буду.

Петька нахмурился, прикинул свои шансы и с подозрением поднял левую бровь.

— Ну, и что за якут?

— О-о, брат, — засмеялся Баландин. — Это всем якутам якут! Он мне однажды три машины спас. Три новеньких «тридцатьчетверки». Прямо с завода.

— Один якут? — недоверчиво переспросил Петька.

— Ну да. Два «тигра» завалил в одиночку.

— Да ладно, — Петька хмыкнул и понимающе подмигнул майору.

Мол, сами тоже, когда надо, умеем так заливать.

— А чего ты подмигиваешь? — пожал плечами майор. — Я тебе правду говорю.

— Ага, правду. Один человек — два «тигра»? Во сне, наверное.

Петька, специально придуриваясь, засмеялся

так громко, что Одинцов с теткой Аленой перестали танцевать, оглянулись и подошли к столу.

— Вот Фома, блин, неверующий. Честное партийное слово!

Петька резко примолк и насторожился.

— Честное партийное?

— Ну да. Говорю тебе — вот такой вот якут попался.

Петька помолчал.

— А чего он сделал-то? Гранатой их, что ли, взорвал?

— Да куда там гранатой? Ты думаешь, граната «тигр» возьмет?

— Нет, не возьмет, — согласился Петька. — А тогда чем?

— Из противотанкового ружья, — торжественно объявил Баладин. — Бац! И нету, блин, «тигров». Ауфидерзейн. Пишите письма немецким мамашкам. Обыкновенное ПТРД.

— Сразу двух?

Как нормальный пацан, Петька просто не мог поверить в такую ахиною, но майор дал партийное слово и, значит, не врал.

— Ну да. Ко мне этого якута с напарником командир полка прикрепил. «На, — говорит, — Баладин. Он тебе пригодится. Только смотри, чтобы не убили. Головой за него ответишь, если что». А нам тогда новые машины пригнали. И сразу приказ — выбить из деревушки два немецких танка. Сели, поехали, а там — какие два танка? Там «тигры». Против них целым батальоном выезжать.

— Понятно, — вставил Петька.

— Ему понятно, — хмыкнул майор. — А мне в тот момент что было делать? Посидели, покурили, решили пока отойти. А этот якут говорит: «Подожди,

командир, мне на охоту сходить надо». Я говорю: «Какая, на хрен, охота? Мы приказ выполнить не можем, а ты охотиться тут решил?» Но он меня не слушает. С брони соскочил — и в лес. «Добыча будет! — кричит оттуда. — С хорошей добычей домой придем». И отвалил. Я думаю — ну вот, теперь еще за ним по лесу, что ли, гоняться? Дурдом какой-то. А его второй номер мне говорит: «Вы ружье нам, пожалуйста, поближе к деревне подвезите, а то оно сильно тяжелое. Мне одному не дотащить». Я ему говорю: «Самоубийца, что ли? Мы, между прочим, тут воюем, дорогой бронебойщик, а не счеты с жизнью, мать твою, сводим». Но он опять за свое: «Подвезите ружьишко».

Слушая майора, Петька уже забыл о своих сомнениях и в ожидании неизбежного чуда слегка приоткрыл рот.

— И до того он меня заколебал, — продолжал Баландин, явно увлекаясь своей историей, — что я две машины в лесу оставил, а на третьей сам его ПТРД повез. Мне же якута надо было кровь из носу живым возвращать. Короче, подползаем к деревне. Я приказываю мотор заглушить, а этот второй номер у меня просит бинокль. Посмотрел на какие-то там сарайчики и говорит: «Вон туда». И на высокий такой дом показывает. Я говорю: «Что — туда?» Он отвечает: «Ружье туда надо доставить. Только теперь пешком. На танке нельзя по деревне». Я говорю: «Ну, спасибо, что предупредил. А то мы чуть по улице не поехали». В общем, я вижу, ему это ПТРД все равно не дотащить, и приказываю своему экипажу вернуться. «Тридцатьчетверка» моя отходит, а мы с ним вдвоем забираемся с ружьем в огород. А там, е-мое! Кашка цветет!

Баландин откинул назад голову, втянул носом воздух и мечтательно прикрыл глаза.

— Знаешь, такие мелкие желтые цветочки? Шапками большими растут. У вас тут они, наверное, по-другому как-нибудь называются. И такой от нее запах! Чистый мед. Я думаю — приятно, наверное, будет окочуриться посреди такой благодати. Короче, добрались мы перебежками до этого дома, а там на чердаке уже мой якут сидит. Я ему говорю: «Ты куда от меня сбежал, узкоглазый? Мне за тебя перед командиром отвечать». А он каску снял и ружье свое молча в слуховое окно налаживает. Я говорю: «Ты чего удумал?» Он оборачивается и спрашивает: «Танки твои на шум подойдут, командир?» Я говорю: «На какой такой шум?» А он мне отвечает: «Когда нас маленько убивать начнут». И рукой в окошко показывает. Я смотрю, но ничего там не вижу. Он говорит: «Вон туда смотри, командир. Видишь, торчит из-за сарая?» А там — ну ни хрена не торчит. Вообще ничего нету. Я ему говорю: «Ты куда стрелять-то собрался? Где танк?» Но он уже не отвечает. «Патрон», — говорит своему второму. И тот ему протягивает патрон. Короче, я присмотрелся, а там действительно кончик танкового ствола. Чуть-чуть дульный тормоз из-за стены выглядывает...

К этому моменту Петька, от которого остались одни глаза, уши и разинутый рот, уже не просто слушал майора, а буквально сам находился на том чердаке и с замиранием сердца выглядывал из-за плеча упрямого якутского бронебойщика. Он как будто своими глазами видел, как тот стреляет в ствол «тигру» и как оба взревевших немецких танка выползают после этого в проулок на пря-

мую наводку. Петька зажмурился, представив себе, что сейчас произойдет и что останется от чердака, с которого прозвучал выстрел, но потом в какую-то долю секунды сообразил — раз майор жив, то, видимо, все обошлось — и быстро открыл глаза.

— Он поднимает вверх пушку, — замахиваясь правой рукой, продолжал Баландин. — И ка-а-ак жажнет из своих восьмидесяти восьми миллиметров! Я кричу: «Выстрел!» А у него — ни фига! Никакого выстрела! У него вместо выстрела башню сносит, как после прямого гаубичного попадания, а во втором «тигре» от взрыва детонирует боезапас. И они оба начинают гореть, как картонки от обуви. Видал? А ты говоришь — якут!

Баландин с огромным значением ткнул куда-то вверх указательным пальцем.

— Он ему, понимаешь, ствол прострелил. Как булавкой проткнул. А у того начисто потом от своего же залпа все разорвало. Физика, брат! Но как он до такого додумался?! Прямо в хобот ему! Прямо в хобот!

Баландин радостно засмеялся и энергично потер свою большую лысую голову.

Петьке нравилось, как он это делает. Ему вообще все нравилось в майоре — как он сидит, как смеется, как хлопает ладонью по столу и как от этого звенят медали и ордена у него на синей гимнастерке.

— А потом? — нетерпеливо спросил он.

— Что потом?

— Ну, потом-то что было? Как убежали с чердака?

— А-а, — снова засмеялся Баландин. — Да никак. Сидели и отстреливались, пока мои «тридцатьчетверки» не подошли. Я думал — конец нам. Но ничего, вовремя подоспели ребята.

Петька представил себя на том чердаке и стрельнул из невидимого «ППШ».

— Ты чего? — удивился майор.

— Та-та-та, — повторил Петька. — Стреляю.

И упал под лавку.

— В коленку ранили, гады, — простонал он оттуда, схватившись за ногу. — Больно. Надо перевязать.

— Кончай придуриваться, — закричала вскочившая на ноги тетка Алена. — Посидеть людям спокойно не даст!

Но Петька уже не мог остановиться. Тетка Алена так удачно встала прямо над ним, что ему неожиданно открылись все ее женские тайны. Под платьем на ней были перехваченные резинкой синие трусы. Огромные, как парашютный купол.

— Вызываю парашютистов! — закричал Петька. — Высылайте десант! Отряд попал во вражеское окружение!

— Вот придурок!

Она попыталась отпихнуть его ногой, но он, как циркуль, оставаясь головой на одном месте, ловко перебросил свое летучее тело по широкой дуге и продолжал пялиться на ее большие трусы.

— Над нами синее небо! Противник атакует превосходящими силами!

Петьке до такой степени было весело заглядывать ей под платье, что он продолжал заниматься этим даже тогда, когда один из танкистов притащил из командирского танка трофейный патефон и тетка Алена стала учить майора Баландина танцевать танго «Утомленное солнце».

Старший лейтенант Одинцов тоже недолго усидел на лавке, и вскоре они уже вдвоем с Петькой катались по траве под ногами едва танцующей па-

ры. Майор где-то над ними рассказывал тетке Алене о том, как его брат во время боев на Халхин-Голе атаковал однажды гигантского степного орла, приняв его силуэт на фоне солнца за японский истребитель, а Петька с Одинцовым продолжали перестреливаться из своих воображаемых автоматов, хохотали как припадочные, подмигивали друг другу, пялились на большие синие трусы и орали дурными голосами:

— Мне немного взгрустнулось,
Без тоски, без печали...

Все были так заняты этими своими делами, что не заметили появления Валеркиной мамки. Она тихо спустилась в овраг со стороны Разгуляевки, прошла мимо танков, остановилась рядом со столом, посмотрела немного на то, как веселятся Петька и старший лейтенант, а потом села на лавку и сложила на коленях руки. Подол платья у нее был сильно испачкан высохшей кровью.

— Ты чего, Настя, порезалась? — испуганно спросила ее Петькина мамка. — Кровь на тебе.

— Это не моя... Валерка у меня умирает, — она замолчала, продолжая глядеть на Петьку, который ужом вертелся под ногами майора Баландина и непутевой Алены. — Горлом пошла кровь... Дай какую-нибудь Петькину рубашку, а то свои он уже все испачкал. Похоронить будет не в чем.

Петька наконец заметил Валеркину мамку и вскочил на ноги.

— Там на станции Митю Михайлова все встречают, — безучастно продолжала она. — И Аленин муж с ним вернулся. Из области даже начальство приехало... Репортеры какие-то из газет...

ГЛАВА 13

Хиротаро уже двое суток сидел в карцере и размышлял о жизни. Он думал о том, почему происходит мутация у местных растений и почему русские мальчишки пытаются повесить одного из своих друзей. Он вспоминал мертвое лицо младшего унтер-офицера Марута и жалел, что не успел зарисовать его в свою тетрадь. Он ломал голову над тем, как объяснить русским, что шахту рядом с лагерем надо закрыть и что пленные умирают на ней далеко не случайно. А еще он думал о том, что если бы Масахиро не приехал в сентябре тридцать девятого в район боевых действий, то оба они, скорее всего, были бы сейчас в Нагасаки.

Но Масахиро всегда отличался честолюбием. Поэтому когда в редакции газеты «Тинзеи Ниппо» решали вопрос о том, кто поедет в действующую армию, он заявил, что на Халхин-Голе воюет его брат.

Узнав об этой лжи, Хиротаро на мгновение обрадовался тому, что Масахиро назвал его братом, но в следующую секунду тот с улыбкой добавил: «Не обольщайся. Когда отец умрет, ты все равно ничего не получишь».

Его тяжело ранили на следующий день после приезда. Батальон, в котором Хиротаро служил врачом, получил приказ выдвинуться вперед на левом фланге, занять сопку Ирис-Улийн-Обо и удерживать занятые позиции до подхода основных сил. Большинство офицеров понимали, что сражение на Халхин-Голе уже проиграно и этот приказ выполнить невозможно, поэтому Хиротаро умолял своего друга не принимать участия в ночном рейде. Но Масахиро, разумеется, его не послушал. Ему

казалось, что Хиротаро снова хочет занять его место. Он не мог позволить ему вернуться в Нагасаки героем. Отец должен был наконец понять, кто из них его настоящий сын.

В ночь на седьмое сентября батальон занял позиции на сопке, а к вечеру следующего дня был практически полностью истреблен легкими танками противника и артиллерией.

Хиротаро смотрел теперь в зарешеченное окошко на яркое синее небо, старался не обращать внимания на мучившую его жажду и вспоминал, как вытаскивал окровавленного Масахиросу из глубокой норы, боясь, что русские кинут туда гранату. Он вспоминал, как из соседней норы показались двое рядовых, которые тоже подняли руки, дождались, когда к ним подошел советский офицер, а потом бросились на него и закололи снятыми с карабинов штыками.

Еще вспоминался ему треск мотоцикла, который принадлежал полковнику Харада и на котором после прекращения огня ездил по степи вокруг сидевших на земле пленных какой-то высокий советский офицер. Очевидно, он впервые оказался в седле мотоцикла, потому что время от времени падал, но потом со смехом всякий раз поднимался и продолжал свой бесконечный заезд.

Полковник Харада, разумеется, тоже узнал свой мотоцикл, когда прибыл в распоряжение советских войск для обмена пленными, но никак этого не показал. Он расхаживал вдоль рядов японских солдат и торопил прилетевших с ним санитаров, которые быстро и грубо надевали всем пленным на голову большие пакеты из плотной белой бумаги. Десятки облепленных комарами людей сидели на

земле в этих белых пакетах и терпеливо ждали, когда их поведут в самолет.

Масахиро был все еще без сознания, поэтому даже не почувствовал, как его голову резко приподняли и нахлобучили на нее пакет. Лежавший рядом с ним раненый поручик транспортного батальона сам вытянул шею, подставляя голову санитарам. В следующую секунду и Хиротаро перестал видеть то, что происходило вокруг. Бумага, из которой был сделан пакет, очевидно, долго пролежала где-то на складе. Хиротаро уловил запах копченой рыбы и крепкого табака. Впрочем, уже через десять минут сидеть с этим пакетом на голове стало невыносимо. Маньчжурское солнце быстро нагрело бумагу, под пакет набились комары, однако избавиться от них или даже просто вытереть пот, струившийся у него по лицу, Хиротаро не мог. Как только он подносил руку к пакету, рядом немедленно раздавался окрик, запрещающий его снимать. Хиротаро пытался объяснить, что ему очень жарко и что он должен смотреть за ранеными, но ему приказывали сидеть неподвижно, потому что пакет был необходим для его же собственного блага. Иначе ему будет стыдно смотреть в глаза офицерам и солдатам императорской армии, когда самолет доставит его в расположение японских войск.

Ощупывая время от времени лежавшего рядом с ним Масахиро, он прислушивался к звукам погрузки, к реву подлетающих и улетающих самолетов, к отрывистым командам полковника Харада и к смеху советских солдат. Неожиданно его накрыло волной такого зловония, что он с трудом сдержал приступ тошноты. Началась погрузка тел погибших офицеров.

Наконец кто-то толкнул его в плечо, и Хиротаро поднялся, с трудом выпрямляя затекшие ноги.

— Вперед, — произнес чей-то голос.

— А тяжелораненых уже погрузили? — спросил Хиротаро, склоняясь к земле и пытаясь нащупать носилки, на которых лежал Масахирос.

— Они остаются.

Хиротаро на мгновение замер, потом неловко опустился на землю и стянул с головы влажный от пота и лопнувших комаров бумажный пакет. Залитый солнцем мир тут же затуманился набежавшими слезами.

— Встать! — сказал кто-то из этой сияющей полумглы.

Но Хиротаро не шевельнулся. Нащупав правой рукой шершавую рукоять носилок, он вцепился в них мертвой хваткой, а левой ладонью вытер глаза, размазывая по лицу кашу из комаров и собственной крови. Вокруг него почти никого не осталось. Тут и там по полю были разбросаны носилки, на которых без сознания лежало несколько человек. Неподалеку ревел моторами последний транспортный самолет.

— Немедленно встать! — повторил склонившийся над Хиротаро человек и ударил его по голове ножами своего меча.

Вспоминая теперь гнев полковника Харада и сиявшее над его головой солнце, Хиротаро улыбнулся пересохшими от жажды губами. Тогда на Халхин-Голе ему на мгновение показалось, что он рассердил само солнце. Усмехнувшись своему непомерному тщеславию, он снова поднял взгляд на зарешеченное окошко и вздрогнул от неожиданно

сти. Через решетки, тесно прижавшись друг к другу, на него смотрело сразу три лица.

— Воды хоть давали ему? — сказала одно из них.

— Да нет, — протянуло другое. — Ефрейтор Соколов не велел.

— Напоить, накормить и сопроводить в Разгуляевку.

— Мы его сами покормим, — заговорило детским голосом третье лицо. — Помрет ведь Валерка, товарищ старший лейтенант. Нам врач позарез нужен...

* * *

Хиротаро пил из ковшика так долго, что, глядя на него, Петька тоже захотел пить. Он стоял рядом с японцем, задрал голову, и считал сверкающие на солнце огромные капли, которые отрывались от ковшика и летели к земле. Потом он снова поднимал взгляд и следил за костистым, заросшим щетиной кадыком. Кадык бегал по худой шее японца вверх-вниз и все никак не мог остановиться.

Хиротаро чувствовал на себе Петькин нетерпеливый взгляд, но вода в ковшике была так чудесна, что он был не в силах от нее оторваться и продолжал пить про запас, переливая воду в себя, как в резервуар, заполняя себя влагой, как пустынное растение после долгой засухи.

Стиснув от наслаждения зубы, он укусил край ковшика, сморщился от боли, но не перестал пить. Только теперь он до конца понял Овидия с его забавными и печальными персонажами, которые норовили превратиться то в дерево, то в куст, потому что сам он в этот момент тоже вдруг стал типичным ксерофитом — полынью, кактусом, нет, скорее

шалфеем с мощной корневой системой, качающей влагу через свои водоносные сосуды откуда-то из-за пределов уровня грунтовых вод.

Зубы его еще раз стукнулись о край ковшика, он проглотил несколько соринки и отчаянно барахтающегося жучка, перевел наконец дыхание, оторвался от ковша и тяжело, как будто объевшись, посмотрел на старшего лейтенанта Одинцова и замершего рядом с ним Петьку.

— Во дает, — протянул тот. — Я бы уже задохнулся.

— Сахта... закрывать... нада, — прерывисто сказал Хиротаро. — Все рюди опасно...

— Пойдешь вот с этим вот пацаном, — перебил его Одинцов. — Там в деревне другой пацан погибает. Поможешь. Ты ведь врач.

— Я врач, да, врач, — быстро закивал головой Хиротаро. — Русская, японская, всех рецить нада. Сахта опасно... Сахта закрывать нада...

— Да сбрендил он, товарищ старший лейтенант, — вразвалочку подходя к ним, сказал ефрейтор Соколов. — Он мне еще два дня назад про это талдычил. Им волю дай — они бы все наши шахты позакрывали. Диверсант хренов! Разрешите, я его до Разгуляевки сопровожу? У меня не сбежит.

Одинцов нахмурился.

— Почему воду запретили ему давать? — не глядя на ефрейтора, сухо спросил он.

— Виноват.

Соколов замолчал и непонимающе уставился на Одинцова.

— У вас со слухом проблемы? Я повторю, — Одинцов начал говорить медленно, почти по слогам: — Почему этот военнопленный не получал во-

ды? И вообще, как стоите, ефрейтор! Смирно! Отвечать по форме!

Соколов вытянулся, быстро застегнул верхнюю пуговицу и одернул гимнастерку из-под ремня.

— Виноват, товарищ старший лейтенант! Военнопленный номер 251 был лишен продовольственного и питьевого довольствия за постоянные нарушения лагерного распорядка... Бегает он, товарищ старший лейтенант. Травки какие-то собирает.

В голосе ефрейтора Соколова звучали непривычные нотки покорности и даже как будто испуга перед начальством. От его обычной вальяжной манеры почему-то не осталось и следа.

— Охранять надо лучше, — продолжал отчитывать его Одинцов. — Распустились! А это что? — вдруг удивленно сказал он, опуская взгляд себе под ноги. — Что это еще такое?

Хиротаро ползал на корточках рядом с его начищенными по случаю похода к танкистам сапогами и чертил в пыли какие-то рисунки и цифры.

— Встать! — заорал ефрейтор, пнув японца носком сапога в бок.

Но Хиротаро продолжал быстро скрести по земле ручкой ковшика, как будто пинок его совсем не касался, как будто пнули кого-то совершенно другого.

— Встать, я кому сказал!

Соколов снова пнул Хиротаро, и тот скорчился от боли.

— Не бей! — закричал Петька, выныривая между ефрейтором и японцем. — Мне врач нужен! Покалечишь — кто Валерку лечить будет?

— А ну, брысь! — рявкнул ефрейтор, отшвырнув Петьку в сторону.

— Отставить! — закричал на него Одинцов. — Немедленно прекратить!

Ефрейтор послушно вытянулся, а Хиротаро, довольный тем, что успел закончить свои каракули, наконец поднялся с земли и отрывисто поклонился старшему лейтенанту.

— Господин офицер дорзен рисунки смотреть... Оценъ вазный рисунки...

— Господ у нас еще в семнадцатом году всех прищучили, — сказал Одинцов.

Однако остановить Хиротаро было уже невозможно.

— Рюди на сахта бореть будут, умирать будут. Сахта закрыть нада. Сахта работать нерьзя...

Одинцов опустил взгляд на каракули японца.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Могилы какие-то.

Хиротаро действительно нарисовал на земле два могильных холмика с крестами. Под левой могилкой была нацарапана цифра «20», под правой — «3».

— Это наса сахта, — сказал Хиротаро, ткнув ковшиком в левую могилку. — Двадцать церовек умер. А это другой сахта, — он указал на холмик с крестом справа. — Три церовек умер... Двадцать церовек, три церовек — думай. Оценъ борьсой разница.

Хиротаро застыл перед Одинцовым, вытянув вперед правую руку с выставленными на ней тремя пальцами.

— Да чего тут думать, — сказал ефрейтор Соколов. — Работать не хотят, вот и дохнут. Саботируют добычу полезных ископаемых. Им легче подохнуть, чем трудиться на благо коммунизма. Назло ведь нам дохнут, суки.

— Подождите, ефрейтор, — поморщился Одинцов. — Тут действительно что-то не так...

— Товарищ старший лейтенант, — жалобно протянул Петька. — Помрет ведь Валерка. Отпустите японца со мной.

— Разрешите сопровождать их до Разгуляевки? — снова вытянулся Соколов.

— Да погодите вы оба, — отмахнулся от них Одинцов и внимательно посмотрел на Хиротаро. — А в чем причина, по вашему мнению?

— Оценить трудно сказать, — ответил тот, опуская руку с растопыренными пальцами. — Но здесь... эта сахта — мутация. Растения другой стар. Изменился. Неправильный цветок стар... Другой сахта мутация нет. Цветок очень правильный. Хоросий цветок...

— Ничего не понимаю, — пробормотал Одинцов. — При чем здесь цветы?

— Товарищ старший лейтенант, — снова затянул Петька. — Нам врач нужен. Прикажите ему идти.

Одинцов перевел хмурый взгляд на Петьку, о чем-то секунду подумал и наконец кивнул.

— Ладно. Я потом с ним поговорю. После.

— Мне их сопровождать? — услужливо склонился в сторону Одинцова ефрейтор.

— Нет. Отправьте кого-нибудь из рядовых. У вас в лагере забот хватает.

Старший лейтенант развернулся и пошел по плацу в сторону столовой, куда в этот момент строем подходил взвод охраны. Ефрейтор несколько секунд смотрел, прищурившись, ему в спину, затем сплюнул на землю и вразвалочку направился к себе в каптерку.

Впрочем, он все же добился своего. Когда Петь-

ка, Хиротаро и выделенный для конвоирования охранник свернули с лагерной дороги в лесок, он неожиданно вышел из-за куста.

— Свободен, — коротко сказал он охраннику и подмигнул Петьке. — Доставим твоего японца, не бзди.

— Ты же сам только что меня с ними отправил... — заговорил охранник, но Соколов нетерпеливо махнул на него рукой.

— Исчезни, — сказал он. — Вякнешь старлею — неделю будешь у меня драить толчки.

— Чо сразу толчки-то? — пробурчал охранник, подтягивая ремень карабина и поворачиваясь, чтобы уйти.

— И ужин в каптерку мне занесешь! — крикнул ему в спину ефрейтор. — Понял?

— Да понял я, понял, — не оборачиваясь, ответил охранник и скрылся за поворотом.

Соколов снова подмигнул Петьке веселым зеленым глазом.

— Вот так вот. А то будет он мне — нельзя да нельзя. Командир нашелся. До старшего лейтенанта любой дурак дослужиться сумеет. Ты до ефрейтора дослужись!

Соколов засмеялся и безмятежно потянулся всем телом, как будто только что проснулся или закончил тяжелую скучную работу.

— А все почему? Потому что сила, пацан, у ефрейтора. Ладно, повели твоего японца. У вас там, говорят, мужики с фронта вернулись?

— Ага, — кивнул Петька.

— И, говорят, моей Алены муж?

— Ну да. С обеда уже на станцию все ушли. Там их встречают.

— Так пошли тогда в деревню скорей. Может, успею еще разок.

Соколов мечтательно улыбнулся и толкнул Хиротаро в плечо.

— Вперед! Уснул, что ли?

* * *

Хиротаро не очень понимал, куда и зачем его ведут. Мальчик и охранник говорили между собой так быстро, что в его затуманенном сознании весь их разговор отражался как блики на воде в солнечный день. То есть он как будто улавливал отдельные яркие всполохи, дрожащие на водной ряби, однако самого солнца увидеть не мог. Оно постоянно дробилось и никак не хотело складываться в понятный отчетливый круг.

К тому же его сильно мутило. Ковшик воды, жадно выпитый на плацу, булькал у него теперь внутри при каждом шаге, ощутимо и неприятно переливался и вот-вот грозил вырваться наружу. Хиротаро думал о том, что кактус устроен гораздо эффективнее человека, поскольку легко удерживает в себе любую влагу, и что когда он сам наконец умрет, он бы хотел родиться снова обязательно кактусом — чтобы его не тошнило вот так, как сейчас, и чтобы рядом не бегал этот русский мальчишка, а этот охранник не толкал его в спину, потому что там на спине будут большие и острые колючки. Хиротаро представлял себе знойную сухую пустыню, посреди которой он будет прислушиваться к бесконечному шелесту песка, и радовался мысли о том, что у него больше не будет тела.

— А ты Алениного пацана знаешь? — говорил тем временем ефрейтор Соколов Петьке.

— Леньку Козыря? Конечно, знаю, — ответил тот, а затем еще для чего-то соврал: — Мы с ним дружим.

— Понятное дело. А почему его, кстати, Козырем-то зовут?

— Козырный — вот и зовут.

Отставший от них японец негромко промычал что-то, склонился к большому кусту на обочине и содрогнулся в приступе рвоты. Петька остановился, и в этот момент мимо него в сторону Разгуляевки пронеслась председательская бричка.

На облучке Петька успел заметить почтальона дядю Игната. Из следующей брички, которая летела уже в клубах пыли, поднятой первым экипажем, кто-то плюнул в Петьку и весело засмеялся, а сидящий на облучке рядом с кучером гармонист растянул меха и, лихо подсвистывая сам себе, рванул «Яблочко». Следом за этой второй бричкой подпрыгивала на ухабах простая телега, а в ней подпрыгивали пыльные люди в городской одежде. На шеях у них висели фотоаппараты.

Петька вытер со щеки чужую слюну, продолжая глядеть вслед развеселой компании, и увидел, как дядя Игнат обернулся к своим седокам. В следующее мгновение бричка остановилась, и над ее верхним краем показалась голова какого-то мужика в военной форме. На груди у него ярко сверкнула на солнце Золотая Звезда Героя. Вторая бричка и телега с городскими тоже остановились, едва не сцепившись ступицами колес. Хиротаро продолжал блевать у большого куста. Ефрейтор Соколов, прищурив глаза от поднятой пыли, настороженно смотрел на неожиданно остановившуюся процессию.

— Эй, шкет! — нетрезво закричал высунувшийся из брички мужик. — А ну, дуй сюда! Быстро!

Проходя мимо второй брички, Петька увидел в ней Леньку Козыря. Тот сидел на настоящем кожаном сиденье, весело скалился и украдкой показывал ему кулак. Ленька вертелся между красной то ли от стыда, то ли от счастья теткой Аленой и огромным мужиком, который был, наверно, его отец. Петька не помнил мужа тетки Алены, потому что того забрали на фронт совсем давно.

Он бы и своих дядьку Витьку с дядькой Юркой не помнил, но над комодом у бабки Дарьи в светлых красивых рамках висели их фотографии.

Кулаки у мужика, прижимавшего к себе Леньку, были каждый размером с пасхальный кулич.

— Сюда иди! — заорал на Петьку мужик, из-за которого остановилась вся компания. — Чего рот разинул? Долго тебя ждать?

Петька подошел к бричке и увидел, что мужик был одноногий. Слева от него сидел упревший в своем френче председатель колхоза, а справа какая-то размалеванная тетка. Одноногий крепко прижимал тетку к себе, поглаживая ее по бокам.

— Залазь, — склонился он к Петьке, протягивая руку.

Рука на ощупь оказалась крепкая, шершавая и твердая, как лопата.

— Вот так! А ну, двинься, — одноногий ткнул в спину дядю Игната, который и без того сидел на облучке, сильно скособочившись и озираясь назад, как будто боялся пропустить что-нибудь.

Почтальон с такой готовностью бросился на край своего сиденья, что Петька испугался за него — как бы тот не упал. Но дядя Игнат только сча-

стливо оскалился и закивал, как его собственная лошадь, когда она отгоняет мух. Петька перелез через деревянную культу, вальяжно пристроенную одноногим на облучке, и примостился напротив размалеванной тетки.

— Видал? — сказал одноногий, толкая локтем упревшего председателя. — Видал, какой получился? Хорош, а? Похож на героя? А ну-ка, иди сюда!

Он резко дернул Петьку к себе, и тот от неожиданности едва не свалился на дно брички. Чтобы удержать равновесие, он оттолкнул от себя однонокого и крепко вцепился в сиденье.

— Ты чего? — зашипел на него дядя Игнат. — Ты чо творишь-то? Это же, знаешь кто? Это ж Герой Советского Союза! Это же папка твой. Вот дурак... Ничо не понимает...

Петька замер, уставившись на однонокого, и весь мир вокруг него прекратил свое существование. Уходящая к станции дорога; степь, лежащая слева от нее; пыльный кустарник справа; ефрейтор Соколов, который уставился на тетку Алену и на огромные кулаки ее мужа; Хиротаро, которого наконец перестало тошнить, и он выпрямился, и смотрел на Петьку, прикрывая ладонью глаза — все это исчезло в одно мгновение, и остался только шепот дяди Игната: «Дурак... Это отец твой... Папка...»

— Папка, — повторил Петька, и в голове у него стало так странно, как бывает, когда не можешь найти какой-то важный ответ, и бьешься над ним целый день, и потом еще целый вечер, а он никак не приходит, и ты в полном отчаянии, но когда просыпаешься утром и открываешь глаза — ответ уже тут, и ты уже все знаешь, как будто кто-то шепнул,

кто-то прислал телеграмму. Но Петька твердо знал, что телеграф этот работает только ночью, а тут прямо днем, без всякого сна — залез в бричку, и вот он, ответ. Сидит без ноги, пьяный, скалится...

— Ну чо рот разинул? Иди сюда, говорю!

Одноногий со смехом стянул Петьку с облучка и снова толкнул локтем председателя:

— Пересядь! Не видишь — тесно.

Председатель нахмурился, но все же полез на высокое сиденье рядом с дядей Игнатом. Почтальон от такого соседства уполз уже совсем на край облучка и висел там каким-то непонятным своим почтальонским чудом.

— Вот так вот, — дыхнул сладким запахом водки на Петьку одноногий, усаживая его рядом с собой. — Вот здесь теперь самое для тебя место. Рядом с героем. Смотри!

Он выдернул откуда-то из-за спины раздувшийся вещевой мешок, раскрыл горловину и показал Петьке целую кучу денег.

— Бери, мне не жалко. На! — одноногий схватил пригоршню мятых купюр и сунул их Петьке за пазуху. — Гуляй, деревня! Ты вот сюда еще погляди! Глянь, какую я тебе кралю привез!

Он обхватил размалеванную тетку за шею, прижал ее к себе и крепко поцеловал в накрашенные губы.

— Эх, Настюха! Да ты знаешь, кто это? Это же сын мой! Ты понимаешь?

— Я не Настюха, — сказала размалеванная, отталкивая от себя одноногого. — Меня Люба зовут.

— А я говорю — Настюха!

Одноногий неожиданно рассердился и что было сил врезал кулаком по переднему сиденью. Петька

успел испугаться, что достанется председателю, но кулак опустился точно между ним и дядей Игнатом. Бричка вздрогнула, а конь, который уже спокойно щипал траву на обочине, поднял голову и переступил с ноги на ногу.

— А ну, зови сюда своих репортеров! — заорал одноногий на председателя. — Герой хочет фотографироваться! В кругу семьи хочу, чтоб портрет был! Как у людей!

Он обхватил Петьку и свою размалеванную бабу обеими руками и резко прижал их друг к другу. Петька уткнулся головой прямо в ее мягкую грудь, от которой сильно несло потом, одеколоном и почему-то жареными семечками.

— Пусти, — негромко сказала размалеванная, но одноногий продолжал держать их и громко смеяться.

— Видал, какую мамку тебе привез? — шепнул он Петьке в затылок. — Теперь заживем.

Петька представил себе жизнь с одноногим и размалеванной, еще раз втянул запах жареных семечек и молчаливым ужом выскользнул из крепкой хватки.

В бричку уже влезал человек с фотоаппаратом.

— Снимай! — закричал одноногий.

Из-за репортера дяде Игнату и председателю пришлось еще потесниться на облучке. Фотограф нацелил свой аппарат на Петьку, потом на одноногого и, наконец, щелкнул.

— Настюху не сфотал! — закричал одноногий. — А ну, еще раз давай!

Репортер снова поднял камеру, но на этот раз одноногий уже внимательно следил за ним и сразу уловил подвох.

— Куда целишь? Не входит она у тебя! Думаешь, я не вижу?

Он ткнул репортера кулаком в бок, тот сморщился и вопросительно посмотрел на председателя.

Председатель вздохнул, покачал головой, но потом все же кивнул, разрешая сфотографировать и размалеванную тетку тоже.

— Для истории, Настюха! — заорал одноногий, когда репортер опустил свою камеру и выпрыгнул из брички на землю. — Герой Советского Союза домой вернулся! Я тут теперь устрою! За каждый лагерный годок ответят мне, суки! Я покажу им веселую жизнь!

Он привстал, развернулся и, упираясь своим единственным коленом в сиденье, погрозил кулаком куда-то назад, как будто виноватые в его нелегкой судьбе то ли ехали на телеге позади него, то ли прятались где-то в степи.

Под шумок Петька тихонько соскользнул с брички и, нырнув за нее, тихой сапой направился к своему японцу и Соколову. Ефрейтор продолжал сверлить взглядом тетку Алену, которая его совсем как будто не замечала. Она без конца прижималась к своему огромному, как гора, мужу, поправляла на нем то ремень, то гимнастерку, то зачем-то даже медали, и они позвякивали в ответ, сверкая на солнце.

— Ты куда? — заорал одноногий, увидев Петьку уже рядом с ефрейтором. — А ну, давай обратно! В Разгуляевку едем! Гулять будем!

— Я не могу, — сказал Петька, щурясь от солнца. — У меня друг помирает.

— А-а, друг... — осекся одноногий. — А чо с ним?

— Не знаю. Вот доктора к нему японца ведем.

— Ну, ладно, — одноногий махнул рукой. — Еще свидимся. Бывай!

Он опустился на сиденье и толкнул дядю Игната.

— Пошел!

Передняя бричка тронулась, а следом за ней пошла и вторая. Тетка Алена наконец бросила украдкой взгляд на ефрейтора Соколова, а гармонист, сидевший на облучке рядом с кучером, как будто только и ждал этого. Быстро склонившись к ее мужу, он что-то шепнул ему на ухо. Отец Леньки Козыря завертел головой, начал привставать, как будто хотел выскочить из брички, но тут ее немного качнуло, и он рухнул обратно на сиденье.

В этот момент одноногий вдрут заорал:

— Стой! Стой!

Брички остановились, и Ленькин отец опять зашевелился, пытаясь вырваться из цепкой хватки своей жены. Тетка Алена висела на нем, как собачонка, вцепившаяся в медведя. Бричка под его тяжестью закрипела, накренилась, и тетка Алена в отчаянии закричала на кучера:

— Пошел! Пошел!

Тот хлестнул лошадь кнутом, и его бричка, цапнув переднюю, обошла ее справа. Затем она еще раза два покачнулась, набрала скорость и скрылась в клубах пыли, уносясь к Разгуляевке под веселый свист, перебор вновь ожившей гармонии и уже едва различимую на таком расстоянии матерщину.

— Слышь! Тебя как зовут? — закричал одноногий Петьке.

— Меня? — сказал тот. — Петька.

— Молодец! Хорошо назвали. У меня дружок на фронте был Петька. Убили его. Вот такой был мужик!

Одноногий показал большой палец и махнул Петьке рукой.

— Бывай!

Дядя Игнат хлестнул своего коня, тот пошел вперед, а одноногий продолжал смотреть на Петьку сквозь облако пыли, нетрезво покачиваясь над верхним краем брички.

Когда телега с репортерами тоже скрылась из глаз, ефрейтор Соколов, который долго стоял на месте и обдумывал какую-то важную мысль, наконец развернулся и, ничего не сказав, пошел обратно в сторону лагеря.

— Дяденька, — растерянно позвал его Петька. — Нам в Разгуляевку надо...

— Тебе надо, ты и иди, — ответил ефрейтор, даже не обернувшись.

— А японец?

— Сам вернется, не маленький.

Петька еще секунду смотрел ефрейтору вслед, а затем повернулся к Хиротаро.

— Пошли, — сказал он. — Чего встал? Нам Валерку лечить надо.

ГЛАВА 14

В самой Разгуляевке Хиротаро ни разу не был, поэтому, войдя в деревню, с интересом начал озиаться по сторонам. Впрочем, смотреть особенно было не на что. Покосившиеся за войну заборы, позеленевшие от мха и даже проросшей на них травы крыши, заросли лопухов, разбитая — вся в колдобинах — улица, пара тощих собак да какой-то пьяный старичок, безмолвно танцующий на краю большой лужи. Кроме этого одинокого старичка,

на улице больше никого не было. Деревня как будто вымерла, и только с дальнего ее конца доносился визгливый и уже слегка пьяный голос гармони.

— У Нестеровых гуляют, — сказал Петька, не сбавляя шаг. — Или у тетки Натальи. Сейчас Валерку вылечим, я тоже туда пойду. А ты домой, в лагерь. Понял? В лагерь пойдешь сам. Некогда мне с тобой. Понял?

Разговаривая с Хиротаро, Петька невольно повышал голос, и от этого посреди совершенно пустой улицы они выглядели еще более странно — пошатывающийся от измождения пожилой японец и кричащий на него мальчик.

— Понял меня? Один обратно пойдешь! Один!

В подтверждение своих слов Петька показал Хиротаро грязный указательный палец, и тот послушно кивнул.

— Один. Хоросо.

— То-то же. Только Валерку сначала мне вылечи. Не надо, чтоб умер. Понимаешь? Живой надо, чтоб был.

— Зивой, — повторил Хиротаро.

— Да-да, живой. Нельзя ему умирать. Победа у нас, видишь?

Хиротаро снова прислушался к звукам гармони, и в этот момент из дома, мимо которого они проходили, прямо им под ноги стрелой вылетел маленький белобрысый мальчик. Врезавшись на полном ходу в Хиротаро, он отлетел к большой луже, ментально вскочил на ноги и как ни в чем не бывало, даже не оглянувшись на внезапно возникшее на его пути препятствие, умчался туда, откуда доносились звуки веселья.

Опешивший от неожиданной атаки Хиротаро

продолжал сидеть в пыли, впрочем, уже с любопытством разглядывая дом, откуда выскочил опоздавший на праздник мальчишка. Его внимание привлекло небольшое круглое зеркальце, закрепленное над давно не крашенной и поскрипывавшей на сквозняке калиткой. Потемневшая и треснувшая поверхность зеркала была покрыта защитными даосскими знаками.

— Буряты здесь жили, — сказал Петька, увидев, куда смотрит японец. — До войны еще. Потом все куда-то ушли. Говорят, место для них тут плохое. Таких зеркальцев еще штук пять по Разгуляевке висит... Ты давай поднимайся. Чего расселся-то?

Хиротаро с трудом встал на ноги и подошел поближе к калитке, чтобы рассмотреть знаки. Много лет назад он уже видел такое зеркальце. Это был старинный даосский оберег от злых духов.

— Пошли скорей! — нетерпеливо дернул его за рукав Петька. — Потом посмотришь.

Он быстро пошел по пустынной улице, а Хиротаро, ковыляя за ним, продолжал думать о защитных талисманах на треснувшем зеркальце. Ему хотелось зарисовать их потом в свою тетрадь, и он старался запомнить в деталях хотя бы один из них.

Буряты явно неспроста вешали над входом в свои жилища обереги от злых духов. Мутация растений в районе лагерной шахты, повышенная смертность и окончательный уход местного населения из этой зоны были каким-то образом связаны между собой. Хиротаро чувствовал эту связь, улавливал закономерность, однако понять ее природу пока был не в силах. Не мог же он поверить в то, что причиной всему действительно были злые духи.

Зеркальце-оберег он впервые увидел, когда ему

было пятнадцать лет. Господин Ивая повез его тогда вместе с Масахиро в город Есино в префектуре Нара наблюдать за цветением сакуры. Сто тысяч деревьев покрывают уступы горы Есинояма на разных высотах, поэтому весной они цветут, чередуясь, и восхищенные почитатели этого цветения могут долго переходить от одной рощи к другой.

Слегка комичный в своей торжественности Хиротаро бродил среди сияющего моря падающих лепестков, а Масахиро, которому сакура наскучила в первую же минуту, заявил, что хочет посмотреть на могилу императора Го-Дайго. Хромая от рощи к роще, он незаметно забрел в город и оказался у монастыря Кимпусэн-дзи. Вряд ли он зашел бы туда по своей собственной воле или даже просто из праздного любопытства, однако именно в этот момент мимо него в храм пронесли извивающегося от боли человека, а оказавшиеся поблизости зеваки объяснили ему, что местные монахи-отшельники, следующие путем Сюгэндо, могут изгнать злых духов из тела любого страждущего.

Вернувшись домой в Нагасаки, Масахиро перерыл всю отцовскую библиотеку в поисках книг об учении Сюгэндо, и вскоре господину Ивая пришлось вызвать из монастыря Кимпусэн-дзи двух монахов-ямабуси. Масахиро уверил себя, что в его хромоте виновны коварные злые духи и что святые отшельники сумеют наконец избавить его от недуга.

Господин Ивая, который верил отнюдь не в духов, а в хороший урожай и высокие продажи своего табака, воспринял затею сына иронично, но отказать ему не сумел. Зато он настоял на своем присутствии во время обряда. Более того, он привел с собой Хиротаро.

Монахи-ямабуси первым делом потребовали маленькое зеркальце, затем исписали его защитными талисманами и прикрепили над входом в комнату, где должен был совершиться обряд. Господин Ивая тут же негромко отметил, что злые духи, очевидно, будут женского пола, раз им понадобилось зеркало.

Еще больше он развеселился, когда монахи спустили свои одеяния и начали рисовать защитные талисманы друг на друге. Хиротаро было неловко перед отшельниками, но поскольку он был единственным зрителем помимо господина Ивая, то ему приходилось выслушивать его шуточные замечания, которые тот с абсолютно бесстрастным лицом шептал ему на ухо.

— Спорим, что им щекотно, — бормотал господин Ивая. — Просто они виду не подают. За те деньги, что они у меня потребовали, я бы тоже согласился, чтобы меня так разрисовали.

Масахиро, который лежал на циновках и терпеливо ждал, когда злые духи покинут наконец его тело, время от времени бросал в сторону Хиротаро и своего отца яростные взгляды, но господин Ивая не унимался. Он шепотом объяснил, что один из монахов собирается покинуть свое тело, чтобы войти в мир духов и как следует отмузуть тамошний сброд. Господин Ивая так и выразился: «отмузуть тамошний сброд». Хиротаро при этих словах едва не прыснул от смеха, но все-таки сумел удержаться. С одной стороны, его очень смешили замечания господина Ивая, но, с другой стороны, ему было искренне жаль своего друга. Масахиро на самом деле верил в могущество монахов-отшельников.

Когда один из них начал окружать другого раз-

ноцветными флажками, господин Ивая снова склонился к уху своего ученика.

— Флажки нужны, чтобы пустое тело не убежало без своего хозяина, — шепнул он. — В противном случае нам придется ловить его по всему дому.

Хиротаро скривился, чтобы скрыть произвольную улыбку, и в этот момент Масахиро посмотрел на него. Приняв гримасу своего друга за издевательство над собой, он погрозил ему кулаком, но господин Ивая продолжал шептать, и Хиротаро все трудней было сдерживаться.

— Знаешь, зачем ему нужен мешок? Я думаю, он собирается принести нам оттуда подарки. Как думаешь, можно ему заказать что-нибудь? Ты что хочешь? Я бы не отказался от маленького чертенка. Посадим его в магазине, пусть продает табак. Или твой отец будет против?

Хиротаро уже закрывал рот ладошкой, а монах, который собирался отправиться в мир духов, сердито косился на них, подвязывая к поясу огромный пустой мешок. Затем он взял в руки зонтик, раскрыл его и забрался на стол.

Очевидно, такого поворота событий не ожидал даже господин Ивая. Во всяком случае, он наконец замолчал и в настоящем уже удивлении смотрел на монаха с зонтиком.

Тот сделал несколько жестов кистями рук, сопровождая их странными и не связанными между собой словами, а затем вдруг прыгнул со стола. Приземлившись точно в центр очерченного флажками круга, он закрыл глаза и замер, как будто окаменел.

Господин Ивая с интересом разглядывал неподвижного монаха, ожидая, что будет дальше. Маса-

хиро испуганно прислушивался к чему-то у себя внутри. Хиротаро затаил дыхание.

Неожиданно у него сильно засвербело в носу, и он испугался, что сейчас чихнет. В следующее мгновение ему пришло в голову, что злые духи, которых распугал в их собственном царстве соскочивший туда со стола монах, пытаются сбежать через его маленький нос. Хиротаро крепко зажал обе ноздри, чтобы не пропустить духов, но, очевидно, монах был с ними слишком суров. Через две-три секунды из глаз Хиротаро бежали слезы, и он не мог больше сопротивляться. Широко открыв рот, он оглушительно чихнул.

Монах открыл глаза, сердито отбросил зонтик, встал и ушел. Господин Ивая начал громко смеяться, а Хиротаро виновато посмотрел на злого как черт Масахиро и прошептал:

— Извини, я нечаянно.

Поднимаясь теперь следом за Петькой на какое-то покосившееся крыльцо, он вспоминал, как господин Ивая отсчитывал второму монаху обещанные деньги, качал головой и все еще время от времени усмехался.

— Сюда проходи, — указал ему Петька в прохладную темноту, окончательно возвращая его из мира теней. — Вон там вон Валерка, на кровати.

Хиротаро вошел в просторную комнату, где рядом с большой кроватью, сгорбившись на табуретах, сидели две молодые женщины. Петька вынул из-за пазухи пригоршню мятых купюр.

— Мамка, — негромко сказал он. — Смотри, сколько деньжищ приволок. Целую кучу.

* * *

Все то время, пока Хиротаро витал в своих невообразимых далях, Петька мучительно размышлял над одним крайне важным для него теперь вопросом. После встречи с одноногим мужиком и после слов почтальона дяди Игната у него возникли большие сомнения в своем статусе. Петька никак не мог понять — выблядок он теперь или уже нет.

Валеркина болезнь, конечно, заботила его тоже, однако новизна собственного положения занимала почти весь его беспокойный ум. Мысли его перескакивали с одного на другое, метались, плутали в каких-то новых неведомых дебрях, и от этих метаний у него время от времени сладко холодело под ложечкой. Неясно мерещилось ему туманное будущее с одноногим, и даже то, что они вместе снова пойдут на войну, и зависть Леньки Козыря, у которого отец вернулся хоть и с обеими ногами, но зато без Звезды Героя. Потом Петька вдруг спохватывался и думал — что, если одноногий его не признает? То есть признает за Петьку Чижова, нормального разгуляевского пацана, а вот сыном назвать не захочет? И от этого поворота его беспокойных встревоженных мыслей на сердце у него внезапно становилось так тяжело, как бывало только раньше, еще до Победы, когда диктор дяденька Левитан мрачным голосом говорил из черного репродуктора: «После тяжелых кровопролитных боев...» — и по одному его голосу уже становилось понятно, что отступаем. В Петькину жизнь, которая до встречи с бричками на дороге состояла из абсолютно ясных для него вещей, людей и событий, вмешалось вдруг что-то новое. Валерка с его болезнью, вечно молчаливая мамка, дед Артем с контрабандным спиртом и Ленька со своей шпаной — весь этот прочный,

давно сбалансированный мир неожиданно накрепился и заходил ходуном под тяжестью лишней одноногой фигуры. Поэтому, приведя японца к Валерке и отдав мамке деньги, Петька смог усидеть на одном месте не больше минуты. Выскочив из Валеркиного дома, он помчался к тетке Наталье.

Во дворе у Михайловых было столпотворение. Чтобы калитка не скрипела и без конца не хлопала, ее сначала прижали кирпичом, а потом вообще сняли с петель и прислонили к палисаднику. Народ шел валом со всей Разгуляевки. Петька прошмыгнул во двор, нырнул под стол, который со смехом вытаскивали из дома принарядившиеся девки, и юркнул в полутемные сени, где курили приезжие репортеры в городских пиджаках.

— Надымили-то, надымили! — закричала на них тетка Наталья, протискиваясь из дома с большой банкой соленых огурцов. — На дворе, что ли, места нету? Черти окаянные! Ишшо в газете работают! Тоже мне, культурные называются!

Репортеры, которые смотрели не на тетку Наталью, а на смеющихся вокруг стола девок, начали по одному протискиваться наружу, и Петька сумел проскочить в дом.

Внутри дым уже стоял коромыслом. Кто-то пел, кто-то смеялся, кого-то хватали за волосы, председатель пытался сказать речь, а одноногий выталкивал из дома взашей гармониста, которого Петька видел на бричке с теткой Аленой и ее мужем. Гармонист был не разгуляевский, поэтому не понимал, за что его прогоняют.

— Да ты знаешь, кто я? — ревел на него одноногий. — Я — Митька Михайлов! Да лучше меня в Разгуляевке на гармони никто не играл и играть не

будет! Пошел отсюда! Куражится он тут передо мной со своей гармошкой!

Одноногий умудрялся не только руками выталкивать гармониста в сени, но даже каким-то невероятным образом подпрыгивал на своей одинокой ноге и, судя по всему, довольно чувствительно бил его деревянной культей по коленкам.

Петьку одноногий не заметил. Изгнав соперника на улицу, он торжественно вернулся в дом и заорал, перекрывая своим голосом общий гомон:

— А ну, тихо! Давай все во двор! Мать там на стол накрывает. Нечего тут!

Все, кто набился в дом, шумно двинулись в сени, и Петьке пришлось прижаться к печи, чтобы его не вынесли на улицу. Он хотел остаться в доме, потому что одноногий тоже не спешил выходить. Подталкивая своих гостей к выходу, тот успевал обмениваться с ними шуточками, подмигивал, весело стучал в пол деревяшкой и мимоходом прихватывал баб. Последним он вытолкнул председателя.

— А ты чего здесь? — повернулся он к Петьке, когда у выхода уже никого не осталось. — Ты чей?

В этот момент со двора его позвала тетка Наталья, и одноногий тут же забыл про чумазого, прижавшегося к печке пацана.

Оставшись один, Петька заглянул в комнату и увидел там у окна тетку с накрашенными губами, ехавшую вместе с одноногим со станции. Она почему-то не пошла со всеми к столу, а сидела теперь одна в пустой комнате, глядя не во двор, где уже радостно шумели пьяные гости, а на улицу, по которой бегала свора больших разгуляевских псов.

Услышав за спиной шорох, она обернулась и посмотрела на Петьку.

— Ты его сын? — спросила она, помолчав немного.

— Не знаю.

Петька пожал плечами и тоже замолчал.

* * *

Гости не разошлись, даже когда совсем стемнело. Шум во дворе у Михайловых стоял такой, как будто наши снова взяли Берлин. Тетка Наталья вынесла из дома керосиновую лампу, но на дальнем конце стола эта лампа никого не освещала. Оттуда, из темноты, как из преисподней, неслись крики, звенели стаканы, тянулись руки, и Петька, который умудрился примоститься к столу недалеко от одноногого, тарасился туда, представляя себе то чертей, то упырей в городских костюмах с фотоаппаратами и в шляпах.

Он все ждал, когда одноногий узнает его или хотя бы расскажет про то, как получил Звезду, но тот дул стакан за стаканом, орал тосты за штрафников, плакал по убитым братьям и ничего рассказывать не хотел. Зато бабы рядом с Петькой успели порассказать друг дружке немало. Говорили они тихо, чтобы одноногий их не услышал, но Петька все разобрал. Оказалось, что тетка с накрашенными губами уже раньше была в Разгуляевке, и даже не просто была, а жила с Митькой. Только тогда она была тронутая умом. А как немного поправилась, так Митьку сразу же и отшила, потому что он был еще сопливый пацан, а потом и вовсе исчезла. А Митька с горя напился и руку сломал. Из-за чего в трактористы его и не взяли, а в райцентр учиться вместо него поехал чижовский пацан.

До этого места Петька слушал баб невниматель-

но, но как только услышал про свою родню, навострил уши. Как будто почувствовал, что скоро в этой истории должен возникнуть он сам и что размалеванная тетка, которую, как развели бабы, одноногий добыл на одном из московских вокзалов, каким-то образом связана с ним самим, и с его мамкой, и вообще с тем, что он появился на свет.

— Так вот, если бы не эта самая, прости меня господи, Настюха, уехал бы он себе тогда, окаянный, в райцентр, — негромко, но все же взволнованно продолжала одна из баб. — И не было бы никакого сраму. А теперь-то чего? Испортил со зла чижовскую девку, да еще эту вон проститутку с собой приволок. Тьфу на него!

— Тише ты! — прикрикнула на нее другая баба. — Услышит.

Петьке хотелось узнать побольше об этой истории, но бабы, сидевшие рядом с ним, замолчали и налегли на холодец. Тетка Наталья к приезду сына действительно расстаралась — такого стола Петька не видел еще ни разу за всю свою жизнь.

— Чего? — закричал вдруг одноногий, склоняясь к матери. — Громче говори, не слышу!

Тетка Наталья притянула его к себе и начала что-то быстро говорить ему на ухо, то и дело поглядывая на Петьку. Одноногий тоже уставился на него, и Петька понял, что тот наконец его узнал.

Митька привстал со своего места, покачнулся и властно махнул Петьке рукой, подзывая его к себе. Тетка Наталья тут же освободила табурет рядом с ним и пересела подальше, а Петька взгромоздился на ее место. Одноногий обхватил его за плечи рукой и жарко дыхнул ему в ухо:

— Ну так чо, обижают тебя здесь?

— Да нет, все нормально.

Петька для верности помотал головой, но одноногий ему все равно не поверил.

— Врешь. Знаю, что обижают. Но ты молодец, что не стучишь. Я стукачей, знаешь, вот так...

Одноногий взял пустой стакан и что было сил треснул им по столу. Стакан разлетелся на мелкие сверкнувшие осколки, и на секунду во дворе воцарилась мертвая тишина.

— Гуляй дальше! — крикнул одноногий, отнимая порезанную руку у тетки Натальи, которая мгновенно подскочила с полотенцем, чтобы ее перевязать.

— Понял? — спросил он у Петьки.

— Ага, — ответил тот, хотя не знал, что он должен понять.

— Вот так! И заруби себе на носу, — продолжал одноногий. — Потому что ты моя порода и, следовательно, знать должен, что русского человека так просто голыми руками не возьмешь. Это немца можно, румынца там какого-нибудь, а русский человек — его много. Он ведь почему буйный? Да потому, что он в себя целиком не помещается. Немец — тот не только в себя уместится, там еще человек пять войдет. А русскому в себе тесно, вот и рвется наружу. Сильно много русского человека. Оттого и бушует.

Одноногий слизнул кровь с порезанной ладони и подмигнул Петьке.

— А будут еще к тебе лезть, вот сюда зубами вцепись, — он ткнул пальцем в Петькину шею, на которой все еще синела полоса от веревки. — И рвани. Да покрепче рвани, чтобы кровью, блядь, своей захлебнулись. Теперь понял?

Не дожидаясь Петькиного ответа, он встал, поднял чужой стакан и крикнул на весь двор:

— За Победу!

Гости стали дружно вставать, тянуться к нему своими стаканами, но в этот момент за воротами вдруг раздался истошный вопль:

— Помогите! О-о-о-ой, господи, убивают!

Те, кто сидел ближе к воротам, кинулись на улицу. Остальные тоже побросали свои вилки и ринулись в узкую калитку. Ужом протиснувшись между ними, Петька увидел окровавленную тетку Алenu, которая металась в темноте по улице, стараясь увернуться от мужа. Тот, огромный и страшный, как расшвырявшая вдруг гора, размахивал над головой поленом и время от времени попадал им по тетке Алене, сколько бы та ни старалась отскочить от него подальше. Всякий раз, когда сучковатое полено с глухим стуком опускалось ей на плечи или на голову, она тяжело вскрикивала, но все же продолжала свой бег, понимая, что стоит остановиться — и все, уже ничего не поправишь.

— Убью, — негромко вздыхал ее муж, пытаясь оттолкнуть от себя Леньку Козыря, который висел на нем бесцветной болтающейся тряпицей.

После очередного такого толчка Ленька отлетел далеко в сторону, стукнулся головой об забор и, вытирая с лица кровь и злые беспомощные слезы, закричал из последних сил:

— Беги, мамка! Беги!

Он, очевидно, тоже успел понять, что добром для нее все это уже не кончится.

Митькины гости, на секунду замершие у ворот, наконец пришли в себя и бросились на Ленькиного батю. Тот с легкостью расшвырял их по сторонам, но этих мгновений хватило тетке Алене, чтобы шмыгнуть в проулок и скрыться за высоким черемуховым кустом.

— Все равно убью, — упрямо повторил ее муж и побежал следом за нею.

Остальные тоже кинулись в проулок.

Постояв немного у ворот и послушав, как удаляются рев, матерщина и крики, Петька повернулся к Ленке. Тот по-прежнему сидел у забора и плакал.

Чтобы удостовериться в том, что Козырь действительно плачет, Петька подошел к нему и присел перед ним на корточки. Ленка был одет в синюю нарядную рубаху, которую отец, видимо, привез ему с фронта и которая теперь была изорвана в клочья на плечах и на груди.

— Трофейная? — спросил Петька.

— Да пошел ты, — всхлипывая, ответил ему Козырь.

В этот момент из калитки, слегка покачиваясь, вышел одноногий.

— Что за шум, а драки нет? — сказал он, оглядываясь по сторонам.

— Все убежали, — ответил Петька.

— Понятно, — протянул одноногий, подходя к пацанам. — Весело, гляжу, тут живете. А это еще кто?

— Ленка Нестеров, — сказал Петька. — Тетки Алены сын. Она в лагерь к охранникам всю войну блядовать ходила, вот его папка убивает ее теперь.

— Правильно делает, — одобрил одноногий. — Блядовать нехорошо... А это, значит, и есть тот самый фраерок, который тебе спуску не давал? Это про него мне мать нашептала?

— Ага, — кивнул Петька.

— Ну так это же замечательно. Теперь поквитаться. Давай вмажь ему хорошенько. Пусть, сука, узнает, кто в доме хозяин.

Петька нерешительно посмотрел на отца, а по-

том перевел взгляд на Леньку. Тот, все еще всхлипывая, исподлобья смотрел на него.

— Я не буду, — сказал Петька.

— Чего так?

— Я первым не бью.

Одноногий схватил Петьку за шиворот и с неожиданной для него силой швырнул его на землю. Затем сам быстро опустился рядом с ним на колени, ловко отбросив свою деревяшку в сторону, уцепился за Ленькину руку и ткнул ею Петьке прямо в лицо.

— Ну все, теперь ты не первый. Он тебе врезал. Давай... Я кому говорю — бей!

Но Петька медлил. Он смотрел на Козыря, который беспомощно ждал его решения, шмыгая носом и косясь на одноногого. Петька хмурил брови, морщился и, как река в половодье, наливался изнутри гневом.

— Бей! — заорал одноногий, хватая Петьку за правую руку и пытаясь ткнуть этой рукой в лицо Леньке Козырю.

Петька рванулся, освобождаясь из цепкой хватки отца.

— Еще раз, сука, меня тронешь, — закричал он ему, вскакивая на ноги, — я тебе ухо откушу!

Одноногий на секунду опешил, но потом засмеялся.

— Моя порода! — сказал он и потрепал сына по щеке.

Петька, не раздумывая, вцепился зубами ему в ладонь, стиснул их до боли в деснах, а потом рванулся в сторону и побежал к Валеркиному дому, сплевывая себе под ноги не нужную ему, чужую кровь.

ГЛАВА 15

Во дворе у Валерки стояла запряженная в телегу Звездочка. На крыльце курил дед Артем. Увидев внука, он сильно затянулся своей самокруткой. Лицо его в темноте осветилось, и на секунду он стал похож на маску китайского черта.

— Говенный твой доктор, — покачал дед Артем косматой головой. — Не может он ни хрена.

Петька на мгновение замер рядом с ним на крыльце, как будто хотел что-то спросить, но потом молча скользнул в приоткрытую у него за спиной дверь.

В комнате ничего не изменилось. Валеркина и Петькина мамки все так же сидели, сгорбившись, на своих табуретах рядом с кроватью. Хиротаро неподвижно сидел у стола. В свете керосиновой лампы казалось, что он спит, положив руки себе на колени. Единственное, что отличало его от обеих женщин, — это неестественно прямая спина. Он сидел так, словно у его табурета была высокая невидимая спинка. Ничто в комнате не нарушало мертвой неподвижности этих трех фигур, и Петька тоже невольно замер, сливаясь с ними в одно окаменевшее целое.

Потом на крыльце завозился, поднимаясь на ноги со ступенек, дед Артем, и это вернуло Петьку к жизни.

— Чего сидите-то? — сказал он. — Ему в лагерь надо.

— Так мы не знали, что с ним делать, — негромко откликнулась Петькина мамка. — Как его без тебя отпустить? Разве можно?

— А я ему нянька, что ли?

Петька толкнул Хиротаро в плечо, и тот сразу открыл глаза.

— Домой иди, слышишь. Нечего тут. Иди обратно. Хиротаро встал, но не двинулся с места.

— Оглох, что ли? Пошел, говорю. Не нужен ты здесь.

Японец взял со стола стакан с темной жидкостью и протянул его Петьке.

— Чего? — сказал тот. — Не хочу я пить.

— Это он для Валерки отвар сделал, — сказала Петькина мамка. — Трав каких-то в огороде собирал.

— Сам пусть пьет. Не нужны нам его припарки.

Хиротаро показал на Валерку, который неподвижно лежал на кровати, и снова протянул Петьке стакан.

— Каздый цас давать нада. Спать будет. Спать хорошо.

— Сам дрыхни. Тоже мне доктор. Вылечить не может — припарок заместо этого наварил. Иди отсюда.

Хиротаро поставил стакан на стол и молча направился к выходу. Навстречу ему со двора вошел дед Артем. В сенях они оба остановились.

— Вишь, паря, — вздохнул дед. — Нету силы в твоей науке. Хоть японская, хоть нашенская, все одно — помрет сорванец. А жалко, ети его...

Хиротаро ничего не ответил и вышел во двор.

Прогнав японца, Петька взял со стола керосиновую лампу и осторожно подошел к Валеркиной кровати. В неверном призрачном свете он не увидел стоящего на полу жестяного таза, запнулся об него, но Валерка от этого грохота даже не пошевелился.

Петька склонился над ним. Лицо у Валерки изменилось так сильно, что в первую секунду Петьке показалось, будто он смотрит на маленького сморщенного старичка.

— Это же надо, чего немочь проклятая с человеком делает, — негромко сказал у него за спиной дед Артем. — Какие тут доктора, ети их... Ему хороший бурятский шаман нужен. Бесы в ем злые. Тайлаган собрать надо, лошадь на костре пожарить — глядишь, и оклемается паренек. Плохое тут место. Ой, нечистое... Даром, что ли, буряты по всей Разгуляевке своих зеркал повешали?

Услышав про зеркала, Петька вдруг резко выпрямился.

— Ты чего? — удивился дед Артем. — Или померещилось что?

— Зеркала? — Петька уставился на деда, лихорадочно соображая о чем-то.

— Ну да... Вона скока их тут висит, и закорючки на всех ненашенские...

Петька не стал дослушивать деда, сунул ему в руки лампу и бросился вон из дома.

— Чего это он? — удивленно посмотрел дед Артем на Петькину мамку. — Куды побежал?

* * *

Петька сумел догнать Хиротаро как раз у того дома, где вечером японец остановился из-за бурятского зеркальца. Теперь он медленно брел по улице, стараясь разглядеть огромную лужу, чтобы не угодить в нее в темноте.

Петька еще издали увидел его нелепую тощую фигуру и закричал во все горло:

— Стой! Подожди!

Хиротаро остановился.

— Зачем... зеркала... на воротах... висят? — задыхаясь от быстрого бега, прерывисто спросил Петька, останавливаясь рядом с ним, склоняясь вперед и упираясь руками в колени.

— Я не знаю.

— Врешь... Знаешь... Я видел, как ты вечером на то вон зеркало смотрел.

Петька выпрямился и схватил японца за рукав.

— Говори давай, что там написано!

— Это ницево... Ницево не написано, — замахал свободной рукой Хиротаро. — Просто знаки.

— Какие еще знаки? Зачем?

— Зрых духов прогонять... Тарисманы...

— Тарисманы? — повторил Петька.

— Нет, тарисманы.

— Ну, я и говорю... А ты эти тарисманы читать умеешь? Можешь духов своих прогнать?

— Не мои духи... Духов нет...

— Как это не твои?

Петька потянул его за руку, подводя к воротам, над которыми было закреплено зеркальце.

— Вот смотри, — он ткнул пальцем в бурятские знаки. — Ты русские буквы здесь видишь? Нету их здесь. Ваши одни закорючки. А значит, и духи ваши.

Петька запрыгнул на скамеечку у ворот, дотянулся до зеркальца и снял его с подставки.

— Пошли обратно к Валерке, — сказал он, убирая зеркало в карман. — Шаманить будешь. Чертей своих разгонять. Понимаешь меня? Чего замолчал?

Хиротаро понимал Петьку. Он смотрел на этого русского мальчика, который вбил себе в голову несусветную чушь, и просто не знал, что ему делать. Сидя еще этим утром в лагерном карцере, он даже представить себе не мог, в какую нелепую ситуацию он угодит, и самое главное — как странно эта глупая ситуация будет связана с его собственным прошлым. Ирония господина Ивая, с которой тот воспринял когда-то обряд экзорцизма и которую

Хиротаро с такой легкостью тогда поддержал, извернулась теперь длинной многолетней змеей, распрямила свои давние кольца и ужалила его самого, словно только и ждала подходящего момента все эти долгие годы. Кропотливое изучение медицины в Киото, а потом в Париже, бесконечные научные поиски, сложнейшие и принципиальные споры с коллегами — все это теперь не имело никакого смысла. Перед ним стоял упрямый русский мальчик, который хотел, чтобы потомок павшего самурайского рода, доктор медицины Миянага Хиротаро изгонял злых духов.

— Чего замолчал-то? — повторил Петька. — Пошли.

— Я не могу, — покачал головой Хиротаро. — Я уценый.

— Ну и что с того, что ученый? Тебя молиться, что ли, не научили? Пошли, я тебе зеркальце подержу.

Петька снова потянул его за руку, но тут же остановился.

— Нет, стой! К бабке Дарье сначала зайдём. У меня там бог лежит ваш. Такой, знаешь, с руками. Возьмем — вдруг пригодится.

* * *

Оставив японца во дворе и строго-настрого наказав ему не двигаться с места, Петька осторожно вошел в дом. Он знал, что дед Артем сейчас у Валерки, а значит, бабка Дарья была опасна вдвойне. Без отвлекающих маневров деда она могла нанести сокрушительное поражение любому противнику. Воевать с Петькой у нее сейчас особых причин

вроде не было, но хороший командир к бою готов всегда.

Стараясь не скрипнуть ни одной половицей, Петька прошел из сеней в большую комнату. Несмотря на то что на столе горела керосиновая лампа, самой бабки Дарьи в комнате не было. Петька затаил дыхание, прислушался, а потом двинул в спальню. Дед Артем держал многорукого бога под кроватью в куче шпаклевочного тряпья. К рабочим материалам деда бабка Дарья никогда не совалась, поэтому бог там был в полном ажуре. В любом другом месте он мог запросто недосчитаться пары своих китайских рук, а то, глядишь, и башки. Чужую веру бабка не уважала.

Оставленный во дворе Хиротаро послушно стоял на месте, изредка отмахиваясь от комаров. Их звонкое напористое гудение было похоже на странную музыку, в которую время от времени вплетались долетавшие издалека грубые крики, обрывки мелодии, собачий лай, чей-то смех и жалобный плач младенца. Все эти разрозненные, казалось бы, звуки по каким-то непонятным законам сливались в единое целое, и Хиротаро прислушивался к ним, неожиданно для себя наслаждаясь этой неуклюжей и одновременно восхитительной ночной симфонией.

Внезапно общую гармонию нарушили посторонние звуки, которые доносились из небольшого сарайчика. Хиротаро насторожился и различил едва слышное металлическое позвякивание, плеск воды и даже шум какой-то борьбы. В следующее мгновение от мощного удара изнутри дверь сарайчика распахнулась, и оттуда с громким перестукиванием копыт выскочили несколько перепуганных коз. Обогнув безмолвно стоявшего Хиротаро, они

сначала разбежались по всему двору, а затем, белея в темноте своими хвостами, дружно кинулись в маленькую калитку.

В дрожащем свете лучины, воткнутой между бревен сарайчика, Хиротаро увидел стоявшую на коленях, безобразную, как маска демона, старуху, которая пыталась что-то утопить в большом жестяном ведре. То, что она пыталась топить, изо всех сил ей сопротивлялось, разбрызгивало во все стороны воду, рычало и тонуть явно не собиралось.

Старуха подняла голову, чтобы посмотреть, куда умчались ее козы, но вместо них вдруг увидела стоявшего посреди ее двора японца. Эта картина оказалась для нее до такой степени неожиданной, что она замерла на мгновение, всплеснула руками, из-за чего из ведра тут же выскочил большой черный щенок, и пронзительно закричала.

Так в классической пьесе театра Но кричат демоницы, сменившие маску дэйган на маску ханья. Ревность или жажда мести терзает им сердце, и даже самый ужасный крик не в силах выразить обуревающую их боль.

Мокрый щенок, роль которого в этой пьесе была окончена и который мог теперь спокойно удалиться за кулисы, отряхнулся, веером разбрызгивая воду по сторонам, чихнул и неторопливо побежал к дому. Навстречу ему на крыльцо вылетел Петька. Крик бабки Дарьи пробудил в нем самые нехорошие предчувствия, поэтому, даже не будучи поклонником театра Но, он выскочил из дома как ошпаренный. В левой руке он держал фигурку многорукого бога.

— Ты чего? — заорал он на бабушку Дарью, в одно мгновение охватив взглядом и своего мокрого питомца, и ведро с водой, и стоящую перед ним на ко-

леньях утомленную внезапным испугом демоницу. — Ты зачем?

— Японец! — прохрипела бабка Дарья, ткнув пальцем в сторону застывшего посреди двора Хиротаро.

— Да знаю я, что японец! Ты зачем щенка моего топила?

— Щенка? — повторила бабка Дарья, уже входя в себя и начиная соображать в привычном для нее ракурсе. — Я те покажу щенка!

Она закричала и с трудом поднялась на ноги.

— Я те щас такого щенка задам — ты у меня кверху тормашками лететь будешь!

Для остротки она пнула ногой ведро, опрокинув его, а Петька подхватил свободной рукой волчонка и на всякий случай переместился ближе к воротам.

— Волка в дом притащил, — продолжала бабка Дарья, наступая на него и угрожающе размахивая пустым ведром. — Вишь, чо удумал! Дуру себе нашел! Потапиха давеча зашла и сразу сказала — волк у тебя. Ефим-то у нее охотник был. Думаешь, если я, старая, не вижу — так никто не поймет? Захлестну засранца!

Она постепенно подобралась к Петьке на дистанцию прямого удара и широко замахнулась ведром.

— Беги! — закричал Петька японцу, ныряя в распахнутую козами калитку. — Драпай! Чего стоишь?!!

Хиротаро сорвался с места и, неуклюже расклевываясь, побежал следом за Петькой. Позади них звонко грохнулось об землю пустое ведро.

— Захлестну! — вопила на всю Разгуляевку бабка Дарья, и крик ее поднимался удивительным по красоте крещендо в бесконечной ночной симфонии.

* * *

— Если б не ты, она бы его точно кокнула, — сказал Петька, переводя дыхание, когда они отбежали подальше. — Ты чем ее так напугал?

— Я не знаю, — сказал Хиротаро. — Я стояр...

— Ну и молодец, что стоял. Благодарность тебе от лица командования. Видал, чего у меня есть? — он показал японцу многорукую статуэтку. — Щас всех твоих духов прогоним, и будет Валерка живой.

Петька заметил невдалеке одну из бабкиных коз и засмеялся:

— Пусть теперь до утра их собирает. По всей деревне разбежались, дуры.

Они молча прошли несколько шагов, и Петька заговорил снова:

— Слышь, а этот бог как называется?

— Это богиня Каннон.

— Богиня? — удивился Петька. — А я думал — мужик.

— Он в Китае мужской пол... В Индии тозе...

— Ну вот, а говорил — ничего про это дело не знаешь. Тоже любите прибедняться. Ты лучше скажи — на фига ей столько рук?

— Памагать, — отрывисто сказал Хиротаро.

— Кому помогать?

— Всем.

Петька помолчал, прикидывая, что восьми рук на всех явно не хватит и что японец крепко загнул, но вслух говорить ему об этом не стал. Тому предстояло серьезное дело, и сбивать его с правильного настроения своими сомнениями Петька не хотел. Под руку ведь только последние гады говорят, а Петька гадом никогда не был. К тому же он и сам любил прихвастнуть — с кем не бывает. Да и затея со все-

ми этими руками ему очень нравилась. Он быстро представил себе, кому бы он помог, окажись у него восемь рук, а кому наkostenял бы по шее, и после этого, вполне довольный собой, молча зашагал дальше.

Хиротаро тоже молчал, погруженный в свои мысли. С одной стороны, он очень хотел помочь Петьке, но с другой — ему было мучительно стыдно. Он искренне страдал от осознания того, что вот сейчас он снова войдет в дом к этим отчаявшимся наивным людям и вместо лечения предложит им полную чепуху, в которой он к тому же совершенно не разбирался. Мало того, что он абсолютно не верил ни в какой экзорцизм — к несчастью, он даже не помнил деталей той высмеянной господином Ивая процедуры. Ироничные реплики отца легковерного Масахино врезались ему в память гораздо глубже, чем сакральные жесты и действия монахов-ямабуси.

Чтобы заглушить эти неприятные мысли, Хиротаро стал размышлять о том, откуда у русского мальчика могла оказаться статуэтка богини Каннон. Строго говоря, это была не столько Каннон, сколько ее китайское соответствие Гуань Инь, но Хиротаро было легче назвать Петьке ее японское имя. Впрочем, и то, и другое божество, насколько он знал, являлись воплощением бодхисаттвы Авалокитешвара.

Хиротаро вспомнил свои ранние детские посещения храма Кофукудзи, во время которых ему рассказывали о божествах буддийского пантеона. Авалокитешвара был бодхисаттвой, давшим великий обет выслушать молитвы всех, кто обратится к нему в минуты страданий. Он решил отказаться от

своей сущности будды до тех пор, пока не поможет каждому существу.

Дойдя в своих размышлениях до этой точки, Хиротаро внезапно остановился, и Петька встревоженно посмотрел ему в лицо.

— Ты чего? — сказал он. — Опять за свое? Пойдем. Ближе уже.

Он подул в ухо своему волчонку, который весело прикусывал его за пальцы, а Хиротаро протянул руку к фигурке Гуань Инь.

— Дай, — сказал он, и Петька послушно отдал ему многорукую статуэтку.

Несколько секунд Хиротаро вглядывался в лунном свете в смиренное лицо божества, затем вернул его и зашагал к Валеркиному дому так быстро, что Петьке пришлось перейти на легкую рысь.

* * *

Решительно войдя в дом, Хиротаро прямо с порога потребовал чернила и куриное перо. Петька шикнул на свою удивленную мамку, чтобы та шевелилась, и через минуту японец с пером в руке приблизился к Валеркиной кровати. Дед Артем, который светил японцу керосиновой лампой, вопросительно посмотрел на внука, но тот уверенно кивнул ему.

Опустив волчонка на пол, Петька вынул из кармана бурятское зеркальце и поднял его над головой. В другой руке он держал фигурку китайского бога. Валеркина мамка, все еще сидевшая рядом с кроватью, оторвала взгляд от сына и безучастно посмотрела на Петьку. Тот стоял за спиной Хиротаро с таким серьезным лицом, как будто держал в руках не покрытое какими-то закорючками старое зеркальце и кусок деревяшки, а две противотанковые гра-

наты, и как будто из Валерки сейчас должны были полезть не духи, а как минимум немецкие «тигры».

Хиротаро оглянулся и тоже посмотрел на ужасно серьезного Петьку. Невольно вспомнив себя и свои собственные попытки удержаться от смеха, когда это было так важно для Масахиро, он вдруг испытал чувство безграничной признательности к этому русскому мальчику и понял, что раз уж тот встал у него за спиной со своим странным «оружием», то злым духам — неважно, есть они или нет — сейчас придется несладко. Во всяком случае, это как-то оправдывало его самого, и то, что должно было сейчас произойти, могло стать его последней и самой важной попыткой получить прощение у Масахиро.

Хиротаро откинул Валеркино одеяло и быстро написал что-то по-японски куриным перышком на его впалом животе.

— Это чего такое? — прошептал дед Артем, склоняясь к Петьке, который даже слегка покачивался от напряжения.

— Тарисманы, — едва слышно выдохнул тот.

— Чего?

— Защита от злых духов.

— А-а, — понимающе качнул головой дед Артем. — Хорошее дело, эти его. Точно тебе говорю.

Хиротаро выпрямился и перечитал иероглифы, написанные его рукой на Валеркином теле.

«Проснись...

Будь снова другом моим,

Уснувший в траве светлячок».

Это хокку было первым, что пришло ему в голову, когда он склонился над умирающим мальчиком. Он больше не мучился от стыда перед этими людьми.

ми. Если поэзия обладала хоть какой-нибудь силой, то она обязана была проявить эту силу сейчас.

— Бумага, — негромко сказал Хиротаро, отходя к столу.

Петькина мамка торопливо оторвала листок от настенного календаря и протянула его японцу.

Хиротаро присел к столу и в свете лампы, которую держал у него над головой дед Артем, написал прямо на каком-то рисунке еще одно хокку.

«Жаворонок в вышине...
А лишь вчера резвился
На том же месте другой».

Затем он повернулся к деду, снял колпак с лампы и поджег календарный листочек. Все как замороженные смотрели на этот второй огонек, а японец, дождавшись, когда он прогорит, бросил его в пустой стакан.

— Вада, — отрывисто сказал он.

Петькина мамка плеснула в стакан из ковшика, и Хиротаро помешал в нем ложкой, стараясь растворить весь пепел.

— Степь ехать нада, — наконец, сказал он. — Когда солнце придет, эта вада ему пить нада.

— В степь так в степь, — сразу согласился дед Артем. — У меня вон и Звездочка ишшо стоит запряженная. Поехали, чего уж там.

* * *

В лагерной охране к этому моменту про Хиротаро никто даже не вспомнил. Старший лейтенант сидел за столом у себя в комнате и мучительно составлял рапорт с просьбой о переводе в действующую армию.

Днем, когда они с Аленой Нестеровой, Петькой и его матерью были у танкистов, размякший от дармового виски и от предчувствия новой победы майор Баландин не то чтобы намекнул ему, а почти впрямую сказал, что не сегодня-завтра будет наступление и что японцев ожидает очень большой сюрприз.

Одинцов уныло посмотрел на лежавший перед ним лист бумаги, обмакнул ручку в чернильницу и перечеркнул фразу: «Состояние моего физического состояния не требует дальнейшего...» Испорченный лист он аккуратно положил в стопку таких же листов и тщательно подровнял их по краям, как будто не хотел видеть того, что было написано на предыдущих. Однако стоило ему убрать руки, как налетевший вдруг из открытого окна ветер расшвырял все листы по столу. Одинцов обвел их взглядом и закурил.

«Прошу учесть мой...» — выглядывало на одном листе.

«...А также все вышепоименованные...» — смотрело с другого.

Ему хотелось в простых и ясных словах объяснить своему начальству, что, пропустив по ранению одну победу, вторую он пропустить уже совершенно не мог, но простых и ясных слов он не находил.

Наконец, перекинув папиросу из правой руки в левую, старший лейтенант снова взял со стола ручку и написал на чистом листе: «Кровь моя кипит».

В этот момент за окном прозвучал то ли смех, то ли кашель. Одинцов резко поднял голову и увидел прямо перед собой ефрейтора Соколова. Тот действи-

тельно кашлянул, чтобы привлечь внимание офицера, но Одинцову показалось, что над ним смеются.

— В чем дело, ефрейтор? — сказал он, багровея и поднимаясь из-за стола. — Вы что себе позволяете?

Но Соколов словно и не заметил его внезапного гнева.

— Убьет он ее, товарищ старший лейтенант, — обреченно сказал он.

Одинцов опешил и несколько мгновений непонимающе смотрел на своего подчиненного. В тишине, возникшей вдруг в комнате, было слышно только, как ветерок из окна шелестит исписанными листами.

— Кто убьет? — наконец сказал он. — Кого убьет?

— Муж Алену убьет... Колотит он ее смертным боем... И все из-за нас.

— Из-за нас? — от удивления Одинцов даже слегка к нему наклонился. — А я-то при чем? И откуда вам об этом известно?

— Я в Разгуляевке был, — вздохнул Соколов.

— Я же приказывал вам остаться.

— Ну, чего уж теперь-то? — Ефрейтор вынул папиросу и тоже закурил. — Я сначала не хотел идти. Вернулся даже с полдороги. А потом думаю — нет, лучше схожу. Ну, и сходил...

Соколов нахмурился, глубоко затынулся и покачал головой.

— Захлестнет он ее, товарищ старший лейтенант. Сколько в ней там здоровья?

Одинцов сел и на секунду о чем-то задумался.

— Вы сами видели, как он ее бьет? — спросил он ефрейтора.

— Ага, — невесело усмехнулся тот. — Мне еще жить охота... У баб разузнал.

— Н-да... Заварили вы кашу.

— Не я один, между прочим...

— Слушайте, вы перестаньте мне это...

Одинцов вдруг осекся и уставился куда-то за спину Соколова. Тот быстро оглянулся. В темноте недалеко от него неподвижно стоял один из японских военнопленных.

— Тьфу, напугал, косоглазый! — чертыхнулся ефрейтор. — Ты чего подкрадываешься? Кто такой? Не вижу!

— Ивая Масахиро! — вытянулся японец.

— А-а, хромой, — протянул ефрейтор. — Чего тебе? Отбой уже был. В карцер захотелось?

Масахиро молча смотрел на него.

— Ну, чего молчишь? Язык проглотил, что ли?

— Миянага Хиротаро... Два дня карцер сидер... Теперь карцер нет, барак тозе нет...

— Ушел он, — сказал ефрейтор. — Пацана местного лечит в Разгуляевке.

Японец перевел недоверчивый взгляд на старшего лейтенанта.

— Вам ведь ясно сказали, — пожал плечами Одинцов. — С ним все в порядке. Он скоро придет. Возвращайтесь к себе в барак.

Масахиро помедлил еще секунду, потом повернулся и, сильно хромя, растворился в темноте.

— Вот люди, — сказал Соколов, оборачиваясь к Одинцову. — То грызутся как псы, то уснуть друг без друга не могут. Хрен их поймешь.

Одинцов ничего не ответил, аккуратно складывая свои листочки.

— Ну, так чего, старлей? — заговорил Соколов после недолгого молчания. — Надо Алене как-то помочь... Заступить бы нам за нее... А? Ты чего скажешь?

Одинцов поднялся из-за стола.

— Я думаю, она заслужила то, что с ней происходит, — сказал он и закрыл окно перед лицом Соколова.

* * *

До рассвета оставалось уже меньше часа. Понурая Звездочка медленно брела по степи без всякой дороги, а дед Артем напряженно всматривался в траву перед ней. Он боялся, что лошадь не заметит в предрассветных сумерках тарбаганьей норы, провалится и сломает ногу.

Рядом с ним сидел Петька, который изо всех сил старался не расплескать из стакана чудесную воду. Когда Валерку выносили из дома, дед Артем сказал, чтобы Петька отдал стакан мамке, но тот молча закинул в телегу своего волчонка, потом забрался туда сам и нахохлился в ожидании, когда усядутся остальные.

Теперь он время от времени покачивался на ухабах и всякий раз в этом случае поворачивался к деду бочком, чтобы тот не увидел, как вода из стакана выплескивается ему на руки. Петька осторожно косился на деда и не узнавал его в молочной полумгле, установившейся в степи в этот час. Белая всклокоченная борода растворялась в полупрозрачном воздухе, и от этого дед сам становился слегка прозрачным и похожим на сон. Петька оглядывался назад и смотрел на склоненные головы обеих женщин, на неподвижно лежавшего под одеялом Валерку, на Хиротаро, который, не моргая, напряженно глядел куда-то вбок, и все они тоже казались ему сном, плывущим над степью. Чтобы прийти в себя и удостовериться, что дед сейчас не исчезнет, Петька

несмело протягивал к нему руку, но телегу снова подбрасывало, вода из стакана проливалась ему на колени, и он понимал, что все это не сон.

— Ну так что? Может, здесь? — сказал дед Артем, останавливая лошадь и с надеждой оборачиваясь к сидевшему позади него Хиротаро. — Ты уж давай выбирай место, ети его. Сколько можно...

Он останавливался так уже пять или шесть раз, но японец по известным только ему одному причинам отказывался приступать к ритуалу.

— Прохое место, — отрывисто говорил он, даже не оглядываясь по сторонам, и дед Артем со вздохом понукал смертельно уставшую лошадь.

Однако на этот раз Хиротаро ничего не ответил. Посмотрев на белеющие вокруг глыбы каменной соли, он молча спрыгнул в траву.

— Ну, слава те, господи, — забормотал дед, спускаясь с телеги. — Я уж думал, уморить, супостат, решил мою Звездочку. Сутки, считай, по степи ходит коняга... В райцентр вчера председатель с утра уснул. Водки им для героев мало... Тоже нашли героя — Митьку Михайлова... Дрын по нему осиновый плачет... Могли бы у меня, между прочим, спиртику прикупить. Нет, поезжай, Артемка, по государственной надобности... А сена у них попросить — так сразу и шиш... Ничо-ничо, Нюрка, вернутся братья твои с Берлина — они ему покажут, где у кобылы хвост... Узнает ишшо...

Дед продолжал бормотать, заботливо кружась вокруг лошади, а Хиротаро с китайской статуэткой в руке неподвижно смотрел на восток. Небо над степью в той стороне уже посветлело, и облака вытянулись над горизонтом, как лиловые острова в розовом океане.

— Деда, — позвал Петька. — Ну так чо? Валерку снимать?

— Снимай, снимай, — откликнулся тот и подошел к внуку. — Ты чего сам не слазишь? Приехали. Вишь, японец твой успокоился наконец. А то все — вперед да вперед...

— А ты чего плачешь? — спросил Петька.

— Я-то? Я не плачу, — сказал дед Артем, вытирая со щеки слезу. — Обидно мне просто, да и все.

— Чего обидно?

— Эх, — вздохнул дед, — Не поймешь ты... Ну, оно и не надо. Подмогни лучше Валерку стащить.

Петька поставил наполовину пустой уже стакан в телегу и подхватил своего друга за плечи.

— А вы, бабы, чего расселись? — прикрикнул дед Артем. — Сымайте его.

Втроем они вынули Валерку из телеги, неловко потоптались с ним на руках за спиной у Хиротаро, ожидая каких-нибудь указаний, но японец не оглянулся, и они положили Валерку в траву между двух кусков каменной соли.

— Надо было одеяло, ети его, сперва постелить, — сказал дед Артем.

— Пусть так, — едва слышно откликнулась Валеркина мамка. — На траве лучше.

Она поставила рядом с головой сына стакан и опустилась на землю. Все замолчали. Где-то рядом проснулся первый жаворонок. Птица шумно вспорхнула к небу и застыла там, трепеща крыльями, пока еще невидимая в серой мгле.

— Ладно, Нюра, — заговорил дед Артем. — Поехали... Коз надо всех к утру по деревне собрать. Не то бабка хвост нам накрутит.

— А мы? — сказал Петька.

— Потом заберу. Японец твой все одно не торопится.

Дед Артем с Петькиной мамкой снова уселись в телегу и успели отъехать метров на пятьдесят, когда Петька вспомнил про своего питомца. Догнав их, он выхватил сладко спавшего волчонка из телеги и остановился, а дед Артем даже не заметил его, вздыхая о чем-то и беспрестанно покачивая косматой головой.

Хиротаро по-прежнему стоял неподвижно, глядя туда, где скоро должно было взойти солнце. Предраассветная степь лежала перед ним, безмолвно обещая множество путей, маня его сделать шаг, раствориться в ней, стать полынью. Воздух был неподвижен, как скорбь, как утрата близкого человека или как великий артист, которому не нужны жесты, чтобы выразить самые глубокие чувства.

Хиротаро задумался об этой неподвижности и вспомнил старуху, которая, увидев его у себя во дворе, вот так же, как этот воздух, замерла над своим ведром. Он снова увидел ее застывшее, как маска, лицо и наконец понял, что ему надо делать.

Хиротаро обернулся и посмотрел на женщину, сидевшую рядом с больным мальчиком. Взгляд его изменился. Подняв руку, он сделал ею плавное движение, а затем двинулся вокруг них быстрым скользящим шагом, негромко и нараспев произнося текст классической пьесы Но.

Разумеется, он не знал наизусть монологов из этой пьесы, но сейчас это было неважно. Древняя история об изгнании бесов сама собой пришла ему на ум, и в каком-то внезапном восторге он разыг-

рывал ее теперь то ли перед своими измученными усталостью зрителями, то ли перед самой степью.

Неумело, но вдохновенно повторяя движения театрального танца, он рассказывал им о страданиях госпожи Аои, которую терзал дух ревнивой и мстительной Рокуго. Хиротаро превращался то в придворного чиновника, то в колдунью Тэрухи, то в самого демона, то в монаха, которому удалось его изгнать, а Петька и Валеркина мамка не отрывали от него глаз в ожидании чуда. Они были совершенно уверены, что японец колдует.

В пьесе рассказывалось о том, как жена принца Гэндзи госпожа Аои смертельно обидела свою соперницу, не позволив ей встретиться с мужем, и та настолько разгневалась, что дух ее еще при жизни покинул тело и стал терзать беременную Аои. Знахарка Тэрухи смогла заставить злой дух явить себя, и Рокуго, отвергнутая принцем Гэндзи ради любимой жены, заявила, что будет мстить.

В этом месте Хиротаро испытал затруднение, потому что не знал, каким образом изобразить маску дэйган, свойственную в театре Но образу мстительной женщины, однако уже в следующую секунду он снова вспомнил старуху с ведром и скроил такую рожу, что Валеркина мамка вздрогнула, а Петька разинул рот и выпустил из рук своего волчонка.

Подойдя к моменту изгнания злого духа, Хиротаро был уже совершенно уверен в себе. Он исполнял даже партию хора со всеми необходимыми комментариями по ходу пьесы. Движения его стали точны, он чувствовал, что перестал ошибаться. Плавно перемещаясь вокруг своих замерших зрителей, он с легкостью передавал пластику настоящих актеров,

которые способны выразить глубокое значение своего танца одним взмахом рукава. Ему казалось даже, что он на самом деле облачен в кимоно, и он самозабвенно декламировал наполовину выдуманный им прямо на месте монолог монаха, подчеркивая смысл его слов многозначительным покачиванием широких несуществующих рукавов.

Когда Рокуто появилась перед Петькой и Валеркиной мамкой в образе демона, Хиротаро решительно вступил с ней в диалог от лица монаха и победил злую волю разгневанного духа. Издав на прощание печальный крик, демон исчез, Хиротаро замер, безмолвно передавая своей позой торжество победителя, и в предрассветной степи снова воцарилась тишина.

Петька заворуженно смотрел на японца и ждал, что будет дальше. Вынудив этого бесполезного доктора заняться изгнанием бурятских злых духов, он даже представить себе не мог, во что выльется его затея. Японец отчебучил такое, что духам на том свете наверняка стало тошно.

Петьке нестерпимо захотелось вскочить на ноги и самому повторить хоть что-нибудь из того, что сделал японец — с криками, с топаньем, с завыванием. Его переполняла какая-то неумемная дикая радость, и несмотря на то что Валерка даже не шевельнулся, ему все равно хотелось завывать, заорать, запрыгать.

Наверное, он бы и заорал, не удержавшись на месте, но Валеркина мамка тихонько прикоснулась к его плечу и прошептала:

— Петя, смотри...

Он оглянулся и тут же забыл про японца.

Позади них большим полукругом сидела целая

стая волков. Петька сначала не поверил своим глазам и даже сморгнул, чтобы избавиться от видения, но волки не исчезали. Они сидели, разглядывая людей, и почему-то не двигались с места.

«Сожрут, — мелькнуло в Петькиной голове. — Так и не успею на танке прокатиться».

Хиротаро медленно опустился на землю, а Валеркина мамка зачем-то взяла в руки стакан.

— У тебя ворк, — прошептал японец, не отрывая взгляда от сидевшей всего в нескольких метрах стаи. — Они хотят ворк.

Петька сначала не понял его. Он даже подумал, что японец хочет скормить волкам его питомца, но Хиротаро показал на самку, которая расположилась в самом центре волчьего полукруга. Рядом с ней пушистыми шариками замерли трое волчат. Все они были примерно одного возраста с Петькиным Испугом.

— Иди сюда, — еле слышно сказал он, потянув к себе заспанного волчонка.

Два или три волка привстали, наблюдая за Петькой. Один из них оскалил клыки.

— Не надо, Петя, — прошептала Валеркина мамка. — Может, уйдут.

Петька ничего не ответил, прижимая волчонка к груди, и встал на ноги. Остальные волки тоже поднялись со своих мест.

— Петя... — умоляюще прошелестела Валеркина мамка, но Хиротаро положил руку ей на плечо, и она замолчала.

Сердце у Петьки колотилось, как барабан. Он чувствовал, как оно бьется у него даже в коленках и пальцах ног. Сделав шаг, он остановился, не в силах двигаться дальше, и смотрел на огромного пе-

реднего волка, который пригнул голову, оскалился, вздыбил на загривке шерсть и медленно, шаг за шагом, стал приближаться к нему. Когда волк уже перед самым прыжком на мгновение замер, Петька закрыл глаза.

«Прости меня, мамка», — успел подумать он и на мгновение увидел ее печальное лицо.

В этот момент где-то недалеко вдруг взревели моторы. Степь как будто вздрогнула, вздохнула и загудела от мощи танковых двигателей. Волки прижались к земле, заметались, а вожак прыгнул в сторону, уводя стаю за собой.

— Наши... — негромко сказал Петька. — Ура... Наступление...

Он без сил опустился на землю, локтем вытирая слезы и по-прежнему не выпуская волчонка из рук. Хиротаро бросился к нему, а Валеркина мамка уронила стакан, закрыла лицо руками и сидела, не шевелясь.

Внезапно волчица, которая из-за своих волчат сильно отстала от уходящей в степь стаи, повернула назад. Подбежав к Петьке и Хиротаро, она крунулась на месте, заскулила и припала к земле. Петька протянул ей волчонка, она схватила его за загривок и понесла прочь.

В эту секунду над степью взошло солнце.

Петька вскочил на ноги, засвистел, заорал и, размахивая руками, как сумасшедший начал бегать вокруг Хиротаро. Он вопил, стараясь перекричать гул танковых моторов, а Хиротаро улыбался взошедшему солнцу. Наконец он тоже прокричал что-то гортанное и бросился следом за Петькой.

Эти двое носились по кругу между валунов каменной соли, выкрикивая что-то несуразное, ма-

хая руками, отбрасывая гигантские длинные тени на розовую траву. Неожиданно Петька развернулся и в полном восторге прыгнул на спину Хиротаро. Тот пробежал еще немного, а потом увидел, что их тени слились в одну, и остановился.

Постояв так секунду, он развел руки в стороны. Чтобы не упасть, Петька прильнул к нему, не отрывая взгляда от их общей тени, а затем сам раскинул руки. Теперь от ног Хиротаро далеко в степь убежала длинная тень с четырьмя руками, похожая на фигуру китайского бога.

Японец постоял так еще мгновение, а потом двинулся вперед. Из-под ног у него вспорхнул жаворонок, и Хиротаро закружился на месте, задрав голову, смеясь и стараясь разглядеть в сияющей высоте испугавшую его птицу.

Но жаворонок там был уже не один. Разбуженные лучами солнца, все эти птицы с шумом взлетали из густой травы и замирали, трепеща крыльями, на такой высоте, что им было видно практически все. Они видели Валерку, открывшего глаза, и его мамку, которая в слезах склонилась над сыном. Им было видно, как уходит в сторону сопок стая волков, а от лагеря к Разгуляевке по пыльной дороге бежит одинокий ефрейтор. Им было видно, как приближаются к реке ревущие танки и как спешит за ними, беззвучно что-то крича, старший лейтенант Одинцов. С высоты жаворонки видели и пожилого японца с русским мальчиком на спине, и убегавшую от этих двоих до самого горизонта смешную многорукую тень.

ЭПИЛОГ

В то утро 9 августа 1945 года наши войска пересекли государственную границу и перешли в наступление. Примерно в это же время в Нагасаки прозвучала воздушная тревога. В половине девятого утра она была отменена. Еще через два с небольшим часа над городом появились два американских бомбардировщика «В-29». Противовоздушная оборона приняла их за разведывательные самолеты, поэтому новая тревога так и не была объявлена. Никто не спустился в бомбоубежища. Через семь минут, ровно в 11:00, с одного из бомбардировщиков на трех парашютах был сброшен блок с измерительной аппаратурой, а в 11:02 другой самолет сбросил атомную бомбу.

Семья Хиротаро в числе еще сорока тысяч человек сгорела в первые же секунды после взрыва. Они испарились как случайные капли на раскаленной сковороде. Сидя в своем бараке для военнопленных и записывая историю своей семьи в клеенчатую тетрадь, Миянага Хиротаро долгое время был уверен, что пишет послания из мира мертвых в царство живых. Но оказалось наоборот.

В пятьдесят втором году он опубликовал в Токио книгу «Лекарственные травы Сибири и Дальнего Востока», снабдив ее иллюстрациями из той самой тетради, которую вёл в плену и которую хотел порвать в тот день, когда узнал об атомной бомбарди-

ровке Нагасаки. Тетрадку тогда спас Петька. Уничтожить столько годной на раскурку бумаги ему показалось ужасным расточительством. Впрочем, он скурил только те страницы, которые оставались чисты. Рисунки и записи он вернул Хиротаро, как только тот окончательно пришел в себя и спросил о них.

Валерка умер в сорок седьмом, когда при Первом Главном геологическом управлении Министерства геологии СССР была создана секретная Сосновская экспедиция. В ее задачи входили поиск и разведка урановых руд в Забайкалье. Петькин отец пробовал туда устроиться, рассчитывая на государственный паек и высокую зарплату, но ему отказали. Он еще несколько лет продолжал шуметь в Разгуляевке, пьяный врывался в правление колхоза, колотил своей деревянной ногой по председательскому столу, качал права, и в конце концов до чертиков всем надоел. После очередного скандала его упекли в районную каталажку, откуда он почему-то снова попал в лагерь. Там он по привычке начал куражиться перед ворами, и те зарезали его на лесопилке в обеденный перерыв.

Петькина мамка уехала из Разгуляевки с майором Баландиным. Получив орден за победу над империалистической Японией, он появился в доме у бабки Дарьи в парадной форме и попросил разрешения жениться.

Сам Петька уехал учиться на геолога. В шестьдесят третьем он попал на работу в Сосновскую экспедицию, которую к этому времени все называли «Сосна», и вместе со своими товарищами нашел рядом с Разгуляевкой уран.

Вот так все встало на свои места.

РАЗГУЛЯЕВКА

КОНТРАБАНДИСТ БРЮХОВ

Возить из Китая контрабандный спирт дед Артем придумал не сам. Опасному промыслу его обучал тесть — Иван Николаевич Брюхов. Ну, а того, в свою очередь, обучила жизнь.

От высылки в Казахстан, где в тридцатые годы сгноили не одну и не две сотни казацких семей из Забайкалья, Брюховых уберегло только то, что добро они наживали своими руками. Стадо из двадцати коров и семнадцати лошадей просто конфисковали в колхоз, как украденное у народа, а самим разрешили остаться в Разгуляевке, поскольку батраков они не держали. Четыре женатых сына с невестками, сам старик Брюхов, жена и единственная дочь Дашка с непутевым зятем в этом большом хозяйстве трудились одни. Со стороны никого не нанимали.

Помог, как ни странно, и зять, которого старик Брюхов не уважал, а к третьему ковшику браги мог под веселую руку запросто и побить. После ухода атамана Семенова и Азиатской дивизии Унгерна в Маньчжурию Артемка Чижов стал главным заводилой в разгуляевском комсомоле. Он любил выступать перед народом, орать песни, чем, очевидно, и покорило сердце дочери Ивана Николаевича.

Решение не высылать Брюховых разгуляевский комбед принял во многом из-за него.

«Ты балабол, — говорил ему Иван Николаевич. — У тебя тока корочки партейны в кармане, вот за счет их и живешь. А балаболы да болтунишки отобрали у нас добро».

Артемка в ответ гнал на тестя контрреволюцию, называл его «семеновцем», «карателем» и «кровососом». Старик Брюхов бросался на него с кулаками, завязывалась драка, в которой Артемка всегда терпел поражение.

«Яичком по глазу покатай, — бросал старик Брюхов, усаживаясь обратно за стол. — Снимает синяки-то. А то, гляди, ишшо наподдам».

Сдав в колхоз не только скот, но и единственную в Разгуляевке конную сенокосилку, записываться туда сам Иван Николаевич категорически не пожелал.

«А мне от вашей власти ничо не надо. Я один проживу. Тока моими лошадами, смотрите, не подавитесь».

Природная чолдонская злость и упрямство нашептывали ему собрать всех детей с внуками и немедленно двинуться через границу в Китай, но старик Брюхов решил пока подождать. Он проглотил самую страшную за всю свою жизнь обиду и начал искать пережогинское золото. В Разгуляевке многие считали, что оно все еще где-то поблизости. Во всяком случае, ни японцы, ни чекисты, ни белые его так и не нашли. Вот с этим-то золотом уже можно было думать о том, чтобы перебраться на ту сторону.

* * *

Пережогин вошел в Разгуляевку летом 1918 года. Его отряд остановился здесь по дороге в Читу. Высокий, почти под два метра, он расхаживал по станции с длинной дубинкой и агитировал против Советов. Бабам нравились его густые седые кудри, а на мужиков производила сильное впечатление огромная, с чайный стакан, трубка с полуметровым чубуком. Впечатляли и две бомбы, висевшие на ремне.

«Анархия, — говорил Пережогин красивым голосом, опершись на чей-нибудь палисадник, — это вам, братцы, не комиссарская власть. За анархию умереть не жалко».

В Разгуляевке умирать никто не хотел, но помимо всеобщего торжества анархической идеи Пережогин обещал деньги.

«И не паршивые керенки, — говорил он, постукивая дубинкой по своим необыкновенно высоким сапогам. — Золото, братцы. В монете и в слитках. Так что седлайте коней».

В качестве аванса он раздавал кусочки золотой утвари. Те, кто бывал в Маньчжурии, понимали, что это золото из буддийского монастыря, но чужого бога никто не боялся. В Читу с пережогинским отрядом из Разгуляевки отправилось тогда пять человек.

Наталья, жена Егора Михайлова, вынесла из дома своего новорожденного Митьку и положила его на дороге. Егор подъехал к ней, стегнул ее плеткой, спрыгнул с коня, подобрал копошащийся сверток и переложил его на обочину. Отряд двинулся мимо надрывавшегося от крика Митьки, заглушая его

вопли лихой казацкой песней со свистом, криком и улюлюканьем.

Через два дня в Разгуляевку вошел отряд японцев. Они грозились расстрелять Пережогина за нападение на дацан и убийство буддийских монахов. Узнав, что анархисты ушли в Читу, японцы долго ругались между собой, а после этого развернулись обратно в китайскую сторону. Красных в Чите было так много, что полсотни япошек там передавили бы как клопов.

Пережогин тем временем добрался до Читы, потребовал предоставить ему неограниченное право проводить реквизиции и конфискации, попытался арестовать военного комиссара Казачкова, но был арестован сам. Ближе к осени, когда к городу подошел молодой атаман Семенов, всех «политосужденных» выпустили из тюрьмы, чтобы они не пострадали от рук белогвардейцев.

Но Пережогин с эвакуацией не спешил. Узнав, что красные перед уходом решили расплатиться с железнодорожниками и рабочими, он снова собрал поджидавший его освобождения отряд и напал на Госбанк. Финансовый комиссар Прокофьев, который в ту ночь пересчитывал брезентовые мешки с золотыми монетами, не успел даже отдать приказ открыть огонь.

В два часа ночи к банку подкатила грузовая машина. Пережогин выпрыгнул из кабины и со словами: «Братва, вот наши деньги!» — первым ворвался в помещение банка. Поднявшись по лестнице с пистолетами в руках, он два раза выстрелил в потолок и оттолкнул стоявшего у дверей кладовой управляющего банком.

На всю «реквизицию» потребовалось не больше

пятнадцати минут. Анархисты выстроились в цепочку и быстро покидали мешки и ящики с золотом в свой грузовик. Таким образом, практически без стрельбы, никого не убив и даже не ранив, они забрали все золото красных, большая часть которого предназначалась для организации подпольной работы и закупки оружия.

На вокзале Пережогин разрезал для проверки один из мешков и, удостоверившись, что в нем действительно золото, приказал грузить все в мягкие пульмановские вагоны. Анархисты комфортно разместились в поезде, постреляли для остротки из окон, кинули несколько гранат и укатили в Благовещенск. Красные, занятые эвакуацией, не успели даже ничего сообразить.

Наутро по привокзальной площади ползали десятки людей, собиравших золотые монеты из разрезанного Пережогиним на пробу мешка. Красные попытались разогнать «золотоискателей», но потом махнули на это дело рукой и тоже помчались в Благовещенск. На окраинах Читы уже маячили передовые казачьи разъезды атамана Семенова.

В Благовещенске Пережогин с компанией на две недели загулял, расплачиваясь за водку и продовольствие читинским золотом. Здесь к нему присоединилось еще несколько десятков человек. Монету анархисты старались не тратить, поэтому рубили шашками слитки на глаз. Водку им доставляли бочками. Пережогин давил на благовещенских комиссаров, требуя выдать ему ценности еще и местного банка, а разбитые под Читой красные не могли собрать достаточно сил, чтобы арестовать его снова. В конце концов, Дальсовнарком выслал против него местную воинскую часть и курсантов

школы красных командиров. С ними в поход на Пережогина отправились сам председатель Дальсовнаркома Краснощеков и военный комиссар Дионисий Носок.

Поняв, что дело запахло керосином, анархисты отняли у благовещенских речников канонерскую лодку «Орочанин», погрузили на нее свою водку и золото, обстреляли курсантов из корабельных орудий, покричали матом с борта и отправились в веселое плавание вверх по Амуру. К холодам они добрались до Аргуни.

Все было бы хорошо, если бы не японцы. Они оказались такими вредными и злопамятными, что все это время крутились на своих катерах, неизвестно на что рассчитывая, в окрестностях Разгуляевки. Когда на горизонте появилась канонерка с пьяными и счастливыми анархистами, японцы тут же открыли огонь.

Канонерка затонула не сразу. Пережогинцы умудрились пристать к берегу и под огнем вытащить свое золото с горевшего корабля. Побросав немного в японские катера гранатами, они отступили к Разгуляевке, чтобы перегруппироваться и уйти в лес. Но и тут их поджидали неприятности. Упрямые Краснощеков с Носком плюнули на то, что Забайкалье практически целиком уже было под атаманом Семеновым, и тихой сапой прошли с большим отрядом на лошадях, прижимаясь к границе, вдоль реки за канонеркой Пережогина. Местные буряты, впечатленные серьезной сабельной силой, извещали их о продвижении корабля. Если бы анархисты сошли на берег и решили дальше идти пешком, красные об этом узнали бы практически сразу. Молчком двигаясь по берегу в дикой

тайге, они постоянно контролировали Пережогина и его братву.

Теперь они с гиканьем и свистом вылетели на конях из-за большого холма, закрывавшего Разгуляевку от Аргуни, и начали рубить пережогинцев шашками, как капусту. Анархисты ринулись обратно к реке, но там их встретил шквал огня с японских катеров, которые подошли вплотную к берегу. Спрятавшись за корпусом полузатонувшей канонерки, пережогинцы начали огрызаться ружейным огнем в сторону спешившихся красных и, в конце концов, заставили их залечь. Японские пулеметы с реки тоже особенно не разбирали, кто там на берегу был какого цвета. Мели всех под гребенку. Вскоре красные перенесли огонь на катера и вынудили их отойти под китайский берег. Оттуда японцы могли стрелять только из небольших мелкокалиберных пушек, и совсем не прицельно. Пулеметом до русских было уже не достать. Заварушка приобретала домашний характер.

«Сдавайтесь!» — кричали со стороны красных.

«Хер вам!» — летело из-под горящего корабля.

«Перебьем, как котят!»

«Напугал бабу мудями!»

Перестрелка продолжалась до вечера. Когда стемнело, всполохи от выстрелов и от догоравшего топлива еще некоторое время освещали кусок берега и реки, но вскоре все погрузилось в абсолютную темноту. Красные попробовали подползти поближе, но тут же наткнулись на жесткий ответный огонь. Анархисты сдаваться не собирались. Под утро часть из них вместе с самим Пережогиним двинулась вдоль берега вниз по реке. Оставшиеся прикрывали отход из винтовок и двух пулеметов. Крас-

ные кинулись на конях вокруг холма и успели в темноте порубить отползавших, но Пережогину и еще пятерым удалось добраться до леса. Золото они унесли с собой.

Наутро тех, кто остался в ледяной воде у затонувшей канонерки, скрутили действительно как котят. Неизвестно, то ли патроны у них закончились, то ли они рассчитывали, что разгуляевские придут и отобьют их у красных, но факт остается фактом — едва рассвело, они побросали винтовки и крикнули, что воевать больше не хотят. Среди них были и те пятеро мужиков, которые летом ушли с Пережогиним из Разгуляевки.

Егор Михайлов со связанными за спиной руками шел, спотыкаясь и увязая в речном песке, и взглядом выискивал среди сбежавшихся на берег к концу боя свою Наталью.

«Ну чо, Егорка, много золота в Чите набрал? — крикнул кто-то из толпы разгуляевских. — Поделится, может, паря?»

Егор остановился, поднял голову к небу и поймал губами первый снег.

«Припозднился нынче, — подумал он. — Зима теплая будет».

«Давай их туда! — приказал Краснощеков, махнув рукой в сторону вершины холма. — А ну, разойдись! Дай пройти, говорю!»

Красноармейцы, до смерти злые на анархистов за долгий поход, за голодуху в тайге, за комарье, за бессонные ночи, погнали их прикладами с такой силой и остервенением, что те только успевали прикрывать головы.

На обрыве пережогинцев поставили на колени спиной к реке. Егор вертел головой, стараясь вы-

смотреть, куда будет падать. Напротив них, метрах в семи, выстроился взвод красноармейцев с винтовками. Прямо за их спинами толпились взволнованные атамановцы.

«Осади! — кричал на деревенских красный от злости Носок, выхватывая шашку. — Зарублю, на хрен!»

Разгуляевские глухо роптали, но холм с трех сторон был окружен конными.

«Не рыпайся!» — повторял Носок, пока Краснощеков вел допрос анархистов.

«Где золото? — спрашивал тот. — Куда ушел Пережогин?»

«Я знаю куда», — сказал наконец Егор, придерживая левой рукой сломанную красными по дороге на холм правую.

«Куда?»

«Жопой резать провода».

Склонившийся к нему Краснощеков отпрянул, вытянул из ножен шашку и неловко полоснул его по плечу.

«Не казак ты, паря, — сказал Егор. — Кто же так рубит?»

Краснощеков быстрыми шагами отошел к линии красноармейцев и поднял над головой шашку:

«Товсь!»

Егор впился взглядом в толпу разгуляевских за спинами щелкнувших затворами солдат. Он все еще надеялся увидеть Наталью.

«Где ж ты, моя красавица?»

А ей в этот момент удалось наконец протиснуться сквозь деревенских. Она увидела своего Егора, в долю секунды поняла, что это в последний раз, и успела поднять над собой маленького Митьку. Тот

завис в воздухе рядом с шашкой Краснощекова, агукнул от удовольствия, пеленка с него свалилась, и он пустил теплую струю прямо за шиворот одному из прицелившихся красноармейцев.

«Залп!» — махнул шашкой Краснощеков.

«Моя порода», — успел улыбнуться Егор, и его тело, уже без него самого внутри, кувыркаясь, полетело с обрыва в воду.

Пережогина красные так и не нашли. Покрутившись несколько дней вокруг Разгуляевки, они ушли обратно вниз по реке, потому что из Нерчинска в эту сторону уже двинулся 1-й казачий полк. Японцы держали с Семеновым постоянную телеграфную связь и про ночной бой у Разгуляевки в Чите узнали практически сразу. В прямом столкновении с регулярными казачьими частями, прошедшими германский фронт, краснощековским кургантам ловить было нечего. Их поймали бы и перетопили в Аргуни по одному. Белых тоже сильно интересовала судьба читинского золота.

Анархистов и Пережогина нашли потом, уже по холодам, в охотничьем зимовье в тридцати километрах от Разгуляевки. Кто-то порубил их всех во сне топором. Золота ни в зимовье, ни поблизости не оказалось. Говорили, что это семеновские казаки, но Нерчинский полк до тех мест так и не дошел.

* * *

Многие пытались потом отыскать читинское золото, и все же в руки оно никому не далось. В двадцать третьем году несколько мужиков из Разгуляевки и райцентра снарядились в настоящую экспедицию — на все лето и осень, чин по чину. Однако живыми их больше не видел никто. То ли нашли,

что искали, и не сумели разбежаться по-честному, то ли наткнулись в тайге на хунхузов, и те сделали за них то, что они сами бы сделали друг с другом, если бы у них все удалось. После Гражданской много всякого народу бродило по Забайкалью. Золото вроде мыли, но могли и зарезать легко — за ружьишко и снаряжение. Смотря, как попадешь. Под какую руку.

Поэтому раскулаченный старик Брюхов, конечно же, понимал, насколько невелики его шансы, и тем не менее идти к «балаболам да болтунишкам» в услужение он не мог. Ему легче было лечь на лавку и помереть. Во всяком случае, не так обидно.

Полгода он шатался по степи и тайге, расспрашивал о чем-то кочевых бурят, ставил на деревьях непонятные знаки. При этом ни сыновей, ни тем более зятя с собою не брал. Хотел быть один, когда надо будет перепрятывать золото. Не доверял вообще никому. Домой не возвращался по целым неделям. Приходил мрачный, вонючий и злой, как медведь. В доме улыбались, только когда его не было.

Однажды явился весь помятый, изломанный. Сказал, что деревом придавило. Пролежал под ним два дня, пока охотники не нашли. В другой раз пришел с чужой пулей в плече и вообще ничего не сказал. Раскалил нож над печкой и молча расковырял рану. Приходил и с дыркой от ножа в правом боку. Однажды притащил в ведерке какой-то земли, высыпал ее за огородом, и крапива в том месте стала расти выше бани.

Когда семья совсем заголодала, старик Брюхов велел невесткам ходить по домам и за еду выполнять какую попросят работу. Разгуляевским забавно было смотреть, как вчерашние богачи возятся у

них в свиных стайках, поэтому звали их часто. Где свадьба, где похороны — всегда надо чего-то помочь. Постряпать, помыть, поорать, поплакать. Вот и кормились, пока старик Брюхов не нашел наконец в лесу свой разлюбезный слиток.

Но один слиток — не ящик, в Китае на него не проживешь. Все остальное золото продолжало лежать нетронутым, как переспевшая девка, где-то в тайге. Брюхов погрузил месяц дома с ковшиком браги и решил заделаться контрабандистом. Он аккуратно распилил слиток, закопал обрезки в тайных местах, перешел по льду через границу, обменял часть золота на «мунуклатуру» и выгодно продал ее в Разгуляевке. Ситец, фарфоровая посуда, женские украшения, шелковые наряды, спирт — отбою от желающих не было. Все разобрали за два часа. Даже из дома в дом ходить не пришлось. Как зашел к соседям, так и сидел там, пока разгуляевские валили гурьбой.

«Здрасьте! У вас тут чо?»

На второй и на третий раз все прошло даже еще лучше. Старик Брюхов сделал уже список заказов, и «клиенты» ждали его на берегу. Народу не терпелось посмотреть на свои обновки.

После шестой ходки он выкопал все золотые обрезки, взял у соседа лошадь с санями и отправился за большим оптом, чтобы не мотаться без толку туда-сюда.

«Семь — хорошая цифра, — сказал он перед отъездом. — В седьмой раз будет большой фарт».

На обратной дороге его поджидали чекисты из райцентра. Кому-то в Разгуляевке, видимо, жалко стало, что Брюховы наживаются так легко.

Еще с середины реки увидев, как они осторожно

спускаются на конях с разгуляевского берега, старик Брюхов сразу все понял, повернул соседскую лошадь к большой полынье и прыгнул с саней на лед. Потом он стоял и смотрел, как обезумевшая коняга бьется из последних сил, ломая кромку, пытаясь удержать над водой голову с огромными, сверкающими как звезды глазами, но тяжелые сани и течение подо льдом неумолимо тянули ее в черную пропасть.

«Стрельни в голову», — сказал он, когда вокруг захрапели чекистские кони, и было непонятно, кого он просил добить — то ли лошадь, то ли самого себя.

За незаконный переход границы старик Брюхов получил два года. Если бы не успел утопить товар в полынье, сгинул бы в лагерях навечно. Соседу за лошадь с санями велел отдать сруб нового дома.

В лагере он выучился бондарскому ремеслу. Вернувшись в Разгуляевку, стал делать бочки и первую же повез через Аргунь. У него были свои счета с колхозной властью.

Артем, живший уже отдельным хозяйством, состоял в колхозе, но тоже потихоньку начал помогать тестю возить бочки в Китай. Веселые песни петь со временем он разучился, а народившихся детей надо было чем-то кормить. Брюховский скот в разгуляевском колхозе давно съели.

Из-за того, что возил старик Брюхов теперь немного, чекисты его больше не беспокоили. У них хватало своих забот. Через границу в Китай постоянно ходили бывшие красные партизаны, которым после Гражданской войны все не сиделось на месте и у которых руки чесались пограбить осевших на той стороне вдоль железной дороги семеновцев

и староверов. Маньчжурское правительство заявляло протесты, грозило ответными мерами, а отдуваться за все приходилось чекистам и пограничникам. Этих красных партизан остановить было не так-то легко. Время от времени на сопредельную территорию уходили группы до тридцати, а иногда — до пятидесяти сабель. И все они, между прочим, были свои. Но по-хорошему договариваться не хотели. Куда тут гоняться за полоумным дедом? Каждый сотрудник и без того был на счету.

В конце концов, старик Брюхов сам оставил в покое Советскую власть и прекратил свой бесконечный спор с нею, замерзнув однажды насмерть прямо на льду. Вокруг его заочеченвшего тела обнаружили множество волчьих следов, и в Разгуляевке пришли к мнению, что волки настигли его на реке, но почему-то не стали нападать, а просто уселись вокруг него и ждали, пока он замерзнет. Как будто сама Аргунь наконец решила его остановить.

И все же старик Брюхов, уходя, сумел высказать остающимся свое коренное мнение. На правой руке, которую он держал прямо перед собой, застыл твердый, как камень, кукиш. Перед похоронами сыновья пытались разогнуть ему пальцы, но у них ничего не вышло, и, пока не заколотили, Иван Николаевич лежал в гробу, выставив на всеобщее обозрение крепкую казацкую фигу.

НАСТЮХА

Михайловы на людях Петьку не признавали. Им было плевать, что у него такие же черные волосы, как у них, такая же смуглая кожа и такой же узкий, с маленькой горбинкой нос. Чижовы все были ры-

жие, с круглыми лицами и конопушками, но Петька в сельсовете был записан именно как Чижов. Просто такой вот уж получился.

Михайловы усмехались и говорили: «Мало ли что чернявый. В Разгуляевке донских и без нас хватает, и у каждого чуб, как деготь. Всех, что ли, теперь в родню записать? Дураков ищите в другом месте. У вас, у чалдонов, все не как у людей. А Нюрка ваша сама, как коза, по огородам скакала. Вот и допрыгалась. Меньше надо было на завалинках торчать. Следили бы за ней, не маялись бы теперь со своим выблядком. И Митька наш совсем ни при чем».

Но Митька был, конечно, при чем. Иначе его братья не сидели бы дома, когда дядька Юрка и дядька Витька бегали за ним по всей Разгуляевке с кольями в руках. А они сидели. И на подмогу младшему брату не вышли. Потому что у каждого своя семья, потому что серьезные мужики, и, вообще, Митька к тому времени для них был ломоть отрезанный. Да и нож, которым отрезали, был какой-то кривой.

Разгуляевские старики про Митьку с самого начала говорили: «Вырастет гаденыш — житья от него не будет. Намается с ним Наталья. Жалко — отца нету. Было бы кому драть».

Но житья не было уже тогда. Не надо было даже ждать, пока вырастет. То в чужом огороде поймут, то из школы за уши приведут. Носился по Разгуляевке, как Красная конница — рубаха пузырем, глаза ошалелые. Однажды залез в погреб к колхозному счетоводу, выпил все молоко из крынки, а потом в нее взял и нассал.

То есть колотить было за что.

Но и любили его тоже сильно. Надают подзатыльников и говорят: «Не ори. Тащи гармонь свою, змей». И улыбаются. Потому что на гармонии лучше Митьки никто не играл. Девки к нему так и липли. Даже взрослые парни ему завидовали. Даже Костя Чуваш, у которого мать была продавщицей.

И научился-то всего за две ночи. Братья разок отдубасили, за то что после работы спать не давал, но потом сами рты пооткрывали: «Подожди-подожди, а «Цыганочку» можешь? А «Цыганочку с выходом»? Ну, покажи... Н-да, паря... Короче, пойдешь с нами сегодня к девкам. Гулянка у нас».

А Митьке тогда только-только двенадцать исполнилось. Гордый перед другими пацанами ходил — куда деваться.

Потому что Чижовых, например, Юрку с Витькой на гулянки еще никто не звал. С Митькой по Разгуляевке они только днем, башку завернув, вместе носились. Вечерами к большим девкам он ходил без них. Остальным пацанам можно было разве что в окошки заглядывать. Смотреть, как Митька там на гармонии наяривает, а девки его дергают за вихры.

Но с Чижовыми Митька дружил. Соседи, во-первых, а во-вторых, почти с одного года. В школе все втроем на одной лавке сидели. И рядышком Нюрка носом хлюпает. Хоть и на три года младше. В разгуляевской школе малышню отдельно никто не учил.

Анна Николаевна говорила: «А ну-ка, Нюра Чижова, расскажи нам стихотворение великого поэта Демьяна Бедного». Нюрка вскакивала, довольная, глаза блестят, и в двадцатый раз тараторила: «Про землю, про волю, про рабочую долю». Карта-

вила немного, но Анне Николаевне нравилось. Она стояла в углу и кивала на каждую строчку, как лошадь почтальона дяди Игната, когда ей мухи лезут в глаза.

Митька, который со слуха успел уже выучить все наизусть, сидел сзади и передразнивал: «Про Колю, про Толю, про ёблю, про волю». Но Анна Николаевна его не слышала, потому что стояла от него далеко. А Юрка с Витькой все слышали, и Митькины стихи им нравились больше стихов поэта Демьяна Бедного. Они толкали друг друга ногами под лавкой, хихикали и ждали от Митьки продолжения. Нюрка тоже слышала, поэтому сбивалась, начинала опять, и по лицу Анны Николаевны пробегала легкая тень грусти.

Митькина мать, тетка Наталья, хоть и выслушивала постоянно жалобы от других баб, младшего своего сама никогда не лупила. «Хотите, — говорила она соседкам, — бейте. Если догоните». И улыбалась такой же, как у Митьки, щербатой улыбкой. Сдувала опилки с ладоней, отбрасывала прядь волос с мокрого от долгой работы лба. «А мне за ним по заборам скакать некогда. У меня в доме мужика, поди, как у вас, нет. И завестись ему, бабы, неоткуда. От сырости, разве что. Вы бы подбросили одного какого-нибудь на расплод, ненужного. Эй, вы куда, бабы? Я думала — пока с вами болтаю, немного хоть отдохну».

Митьку она любила так сильно, что прощала ему абсолютно все. Даже потом, когда не дождалась с войны двух старших, простила ему то, что он вернулся, а они нет.



Воровать контрабандный спирт у деда Артема начали как раз после Митьки Михайлова, еще в тридцатых годах. Первым заветный жбанчик спер именно он. До него дед Артем спокойно колотил свои бочки, а потом увозил их для обмена на китайскую сторону. Единственной угрозой его торговле до поры до времени был, пожалуй, только он сам. На то, чтобы удержаться и не выпить сладкого китайского зелья, не хватало никаких сил.

Несколько раз он напился так крепко, что в бане из поддувала полезли черти — наглые, жирные — размером, наверное, с петуха. Тонкими бабьими голосами они смеялись над Артемовой наготой и тыкали в него пальцем. Пока затолкал их обратно, едва не угорел. Какая уж тут торговля?

Дарья, взволнованная потерей прибыли, слегка побила его коромыслом и придумала прятать товар в степи. Мотаться туда, чтобы выпить «грамульку», Артему было уже не так просто. Пока запряжешь, пока доедешь — всякое желание пропадет. Да еще дорога назад. Кому интересно, выпив, возвращаться в Разгуляевку трезвым?

А покуражиться?

В общем, идея всем показалась разумной. Артем брал с собой своих пацанов, те носились рыжими шариками по степи, заглядывая в норы к тарбаганам, а он сам тем временем выкапывал ямку для жбанчика, делал приметный знак и сидел потом на земле рядом с телегой, покуривая, глядя на подпрыгивающие невдалеке рыжие, как вечернее солнце, головки, улыбаясь и размышляя о сыновьях, об отцах, об облаках в небе и о загадочной сути всей жизни вообще.

«Вот, ети ж его!» — делал он, в конце концов, вывод и поднимался на ноги.

«Ю-у-урка! Ви-и-итька!»

Ветер разносил его крик по степи, мальчишки застывали на месте, сами на секунду делаясь похожими на испуганных тарбаганов, потом срывались и летели, не разбирая, что там у них под ногами, к машущему рукой отцу, а тот смотрел, как они бегут, щурился на заходящее солнце, приставлял ладонь козырьком ко лбу и опять с задумчивой радостью повторял: «Вот, ети ж его!»

Когда сыновья подросли, Артем возить их с собой перестал. Во-первых, они могли проболтаться, а во-вторых... Во-вторых, тоже было что-то — Артем это чувствовал, но определять для себя в словах не спешил. Наверное, ему хотелось, чтобы Витька и Юрка подольше оставались детьми. И хотя в хозяйстве давным-давно нужны были помощники, он всеми силами старался оттянуть тот момент, когда спирт и все то, что с ним связано, начнет интересовать их по-взрослому, с мужской точки зрения, а уже не как возможность поехать с отцом в степь и натолкать травы в тарбаганьи норы. А потом валяться в телеге у него за спиной, щекотать друг друга, возиться и задирать ноги.

В общем, он их с собой больше не брал.

И правильно делал. Потому что Митьку Михайлова спрятанный в степи спирт стал вдруг интересовать в самой необычайной степени. Он то и дело расспрашивал Юрку с Витькой, куда это со своим жбанчиком ездит дядька Артем, но когда они говорили: «А зачем тебе?» — сам в ответ лишь помалкивал или начинал поглаживать ладошкой гармонь.

Видимо, было надо.

Все эти девки на танцах, где он давно стал главным гармонистом, не обращали на него никакого внимания. Для них он все равно оставался сопливым пацаном, хоть без него гулянок по вечерам в Разгуляевке никто уже себе и не представлял.

А Митька очень обращал на девок внимание.

До того как старшие братья привели его с собой поиграть на гармонии, он даже не задумывался обо всех этих странных вещах. Ему казалось, что вся разница между мужиками и бабами состоит в том, что одни сидят за столом, широко и уверенно расставив ноги, и получают на обед все самое жирное, а другие бегают от печки к столу или тихонько стоят рядом. Поэтому он хотел быть мужиком и радовался, что скоро так или иначе им станет. Но теперь, после всего увиденного и услышанного за полгода на танцах, где его действительно не замечали и особенно не стеснялись, он понял, что в этом вопросе все намного сложнее.

У девок было что-то чрезвычайно важное. Что-то такое, за что взрослые парни могли запросто убить друг друга. Или покалечить до полусмерти.

Приехавший из райцентра агроном бежал однажды до самой реки, а потом еще часа полтора вдоль нее только из-за того, что сказал Машке, дочери дяди Игната, какие у нее красивые косы. А сзади него бежали оба Митькиных брата, и если бы агроном оказался обычным агрономом, а не владельцем знака ГТО первой степени на цепочке и с надписью «ЦИК СССР ВСФК», лежать бы ему на берегу Аргуни с грустным лицом и переломанными костями. Потому что Митькины братья и без него уже знали все про Машкины косы. Объясняльщики были им ни к чему.

И получилось так, что Митьке вдруг все это стало ужасно интересно. Каждый вечер девки кружились вокруг него, стукали в пол каблуками, смеялись, показывали язык, а он все сильнее налегал на гармонь, тискал ее, сжимал и растягивал, как будто хотел вытрясти оттуда неизвестно что. Но девки не обращали на него внимания. И шансов узнать их тайну у него не было никаких.

Пока не появилась Настюха.

То есть в Разгуляевке она была уже давно, а вот на гулянку взрослые парни ее затащили совершенно случайно. Просто решили посмеяться.

* * *

Со станции за несколько месяцев до этого ее привез дядя Игнат. Настюха въехала в Разгуляевку на его телеге, зарывшись от страха в пустые мешки из-под старой почты, которые дядя Игнат никогда не выбрасывал. Но зато она сразу подружилась с собаками. Те вереницей бежали за скрипучей телегой и как угорелые махали хвостами, немедленно признав ее за свою собачью царевну.

«А чо я? — говорил, разгружая почту, дядя Игнат. — У меня сердце-то каменное, что ли? Человек, поди, тоже. Не зверь».

До этого она две недели прожила на станции, ноюя под лавками и питаясь тем, что ей бросали железнодорожники. Настюхой ее назвали как раз они. С какого она сошла поезда, когда и был ли кто с нею — этого никто не заметил. Сама она только мычала, улыбалась от уха до уха и косила глазами.

Освоившись в Разгуляевке, Настюха понемногу начала понимать, что ей говорят, но о себе рассказать ничего не могла.

«По-о-м-м-ерли», — мычала она.

Потом опускалась на землю и выла страшным голосом, успокаиваясь только тогда, когда к ней подбегали собаки и начинали лизать ей лицо.

Дядя Игнат пустил ее жить на сеновал, но она оттуда быстро сбежала. Спала прямо там, где заставлял ее сон. Любила выпрыгивать неожиданно из-за забора и пугать проходящих утробным уханьем и дурацким смехом. Собаки всегда тут же вылетали за ней и без конца лаяли вслед матерящемуся изо всех сил прохожему.

Когда парни притащили ее на гулянку, Настюха оставила собак на крыльце, а сама забилась в угол за печкой и сверкала оттуда темными глазами, время от времени расплываясь в идиотской ухмылке. Митька сперва поморщился, но после того, как кто-то дал Настюхе стакан с остатками самогона, начал посматривать в ее сторону.

Понюхав стакан, она скривила и без того перекошенное лицо и затрясла головой. Потом понюхала еще раз, лизнула край, посмотрела на всех танцующих, подумала о чем-то и сделала судорожный глоток. Выпив, она закашлялась, сникла, потом вдруг вскочила и как бешеная стала кружиться под музыку. Парни оглушительно засвистели, девки нахмурились, кто-то захохотал, а Митька продолжал наяривать «Барыню». Снаружи к окнам прилипли мальчишки, среди которых он успел заметить то ли Юркино, то ли Витькино веснушчатое лицо.

Наконец Митька рванул последние аккорды и опустил гармонь на пол. В этот момент Настюха неожиданно подскочила к нему. Схватив его за голову, она на секунду уставилась ему прямо в глаза, а

потом впилась ртом ему в губы. Митька от испуга закричал, вокруг засмеялись, и в голове у него все поплыло от запаха самогона, от безумных Настюхиных глаз прямо перед его лицом, от неожиданности и от наступившей сразу же вслед за этим одуряющей тишины.

«Горько! — наконец закричал кто-то. — Горько!»

И все остальные сразу же подхватили: «Свадьба! Свадьба! Митьку на дуре женить!»

А когда успокоились, Настюха выпросила еще самогона и потом лезла целоваться уже ко всем подряд, даже к девкам. Митька старался играть как обычно, но то и дело съезжал на черт его знает что.

Слушая на следующий день в школе рассказ Анны Николаевны о круговороте воды в облаках и в лужах, он перегнулся через шмыгавшую носом Нюрку Чижову и в первый раз спросил Витьку о том, где прячет контрабандный спирт его отец.

«А ну-ка, Михайлов! — с досадой тут же крикнула от доски Анна Николаевна. — Встань и расскажи нам про испарения».

Неизвестно, как у него получилось, но Митька все же нашел тайник дядьки Артема и утащил спирт на дальний обрыв — туда, где над Аргунию в начале двадцатых красные расстреляли целый отряд анархистов. Среди расстрелянных был и Митькин отец, Егор Михайлов, сдуру поверивший в мировую анархию.

После расстрела на том месте никто уже не купался, и даже бабы со своим бельем уходили стирать вверх по реке. Говорили, что в лунную ночь под обрывом кто-то стонет.

Но Митьке на стоны было плевать. Митька вооб-

ще ничего не боялся. Кто его знает, может, он втихую рассчитывал на встречу со своим мертвым отцом. Во всяком случае, когда тетке Наталье летом надо было его найти, она знала, в какую сторону кричать: «Если не придешь — захлестну за-сранца!»

Вот туда он и отвел Настюху. Понимал, что никто их там не найдет. Собаки прибежали следом за ними и уселись невдалеке посмотреть, как Настюха будет пить спирт и целоваться. Даже когда на обрыве вдруг показались Витька и Юрка Чижовы, они не зарычали. На секунду лишь перевели взгляд и потом снова уставились на голую Митькину жо-пу. После этого спирт у Артема стали воровать все, кому только не лень. Как прорвало.

* * *

«Ну и чего ты опять пустил ее? — ругалась Анна Николаевна на школьного сторожа деда Семена. — Неужели не видишь — она уроки не дает мне вести. Позавчера занятия сорвала, и вчера, и сегодня».

«Да где за ней уследишь! — виновато чертыхался сторож. — Калитку я вон закрыл, так собаки под забором дыр-то сколько нарыли! Она в них и лазит. А мне кроме школы еще за продмагом надо смотреть. Вас, паря, много, а я один. Бегай тут за вашей косоглазой!»

Они выходили на крыльцо — туда, где солнце, а в классе начинался невообразимый галдеж. Все бросались к окошку, с обратной стороны которого к стеклу прижималось счастливое лицо Настюхи. Пытаясь разглядеть кого-то внутри, она плющила о

стекло нос и губы, делала козырьком ладони над головой.

Через минуту у нее за спиной появлялись Анна Николаевна и сторож. Они тянули ее назад, но Настюха цеплялась за подоконник, заглядывала в окно, хохотала, косила глаза и не сдавалась. Так они боролись, словно три могучих героя Гражданской войны — Чапаев, Буденный и Котовский, о которых без конца рассказывала на уроках Анна Николаевна, а солнце светило на их борьбу, заливая школьный двор, слепя выскочивших на крыльцо мальчишек и девчонок.

«А ну, быстро в класс! — задыхаясь, говорила после победы Анна Николаевна и вытирала со лба блестящие капельки пота. — Марш, я кому говорю!»

Все возвращались, но потом еще долго посматривали на окошки, надеясь, что Настюха придет опять.

Юрка с Витькой больше не сидели с Митькой на одной лавке. Он вообще одно время перестал вдруг ходить в школу, но Анна Николаевна поговорила с теткой Натальей, и та загнала его граблями на чердак.

«Не будешь ходить в школу — жрать больше не дам. Можешь там на чердаке сдохнуть».

И убрала лестницу.

Митька легко мог спуститься оттуда без всякой лестницы — и не с такой высоты летал, — но почему-то сидел тихо. Слушал — чего ему мамка говорила через потолок.

«Ну, ведь четырнадцать уже годов! Совсем сдурил, или чо? Я не знаю. Ну, куда ты без школы? Кому ты нужен со своими железками? В райцентре

скоро МТС откроют. Думаешь, тебя без школы на тракториста учиться возьмут?»

«Давай, мы его сымем оттуда, — говорили старшие братья. — Да хорошенько ему накостылям».

«Я вам накостылям! — отвечала тетка Наталья. — Так накостылям, что садиться не на чо будет!»

Потому что она знала, что Митька совсем другой. Не такой, как его братья. У него голова была устроена совсем не так. И руки.

«Слышь, Наталья, — говорил председатель. — Толкни Митьку ко мне. Молотилка колхозная опять сломалась. Эти ее».

И тетка Наталья толкала. А Митька чинил. Походит вокруг, почешет в затылке, свистнет, дернет за что-то — и она пошла. Застучала, закрутилась, родная, замолотила.

«Ты смотри! — удивляется председатель. — Даром что шарозаворотный такой».

«А ты думал! — усмехается в ответ тетка Наталья. — Иди поищи таких шарозаворотных».

Поэтому на чердаке Митька сидел недолго. К тому же на гулянках по вечерам без его гармони девки почти не давали парням лапать себя. Разве только чуток.

Скучно им было, пока Митька на чердаке без жратвы сидел. Неинтересно.

А как только Митька вернулся в школу, снаружи к окнам Настюха стала прилипать. Почти сразу. Как будто только его и ждала, чтобы позлить Анну Николаевну с дедом Семеном. Знала бы она, как трудно потом успокоить всю эту малышню.

Наверное, тогда бы не лезла.

* * *

Настюха не сразу, но все-таки догадалась, что Анна Николаевна ее не любит. А сторож Семен — вообще плохой человек, потому что закопал своей лопатой все ямы под школьным забором, и теперь ни собаки, ни Настюха не могли туда больше пролезть. Мерзкую лопату Настюха нашла и сломала, но ждатель, пока ее друзья-собаки снова пророчат для нее ход, она не могла. Сказав своим приятелям, что ей туда больше не надо и что если они откопают, то пусть лезут туда без нее, Настюха перебралась на другой конец Разгуляевки. Она уже выяснила, куда Митька ходит еще чаще, чем на гулянки к взрослым парням.

Сначала она просто сидела на земле и смотрела издали на открытую дверь, но потом, когда привыкла к постоянному звону и скрежету, которые доносились оттуда, и поняла, что ни сторож Семен, ни Анна Николаевна не прибегут сюда, чтобы бороться с ней, Настюха стала передвигаться поближе к сараю и наконец заглянула внутрь.

Туда, где возле какой-то большой железяки перепачканный Митька зло и весело колотил молотком.

«Жрать хочешь? — сказал он, поднимая голову. — Видала, что я в речке у обрыва нашел? Починю — мой будет. Настоящий».

Настюхе в сарае у Митьки очень понравилось. Она даже сбегала к своим друзьям-собакам и похвасталась, как там внутри хорошо. Ей так все понравилось, что скоро она даже смогла выучить некоторые волшебные слова. Когда Митька говорил «напильник», она бросалась к напильнику и почти ни разу не ошибалась. А когда он говорил «тис-

ки» — Настюха гудела ртом и закручивала тиски. Потому что она была сильнее, и ей нравилось, что Митька не мог раскрутить тиски после того, как она их закрутила.

А он злился и кричал на нее: «Давай, дура, раскручивай назад!»

Но Настюха знала, что Митька будет злиться недолго. Позлится, потом сходит домой и принесет хлеб. И картошку. Горячая такая еще. Но у Настюхи ладони от тисков уже твердые. Раздавливает картоху в лепешку, смеется и толкает ее в рот.

«Ну, кто так ест, дура! — говорит Митька. — Вот дура! Смотри! Надо вот так».

А Настюха знает — как надо. Просто ей весело, и она хочет, чтобы Митька ей опять показал. Она любит, когда Митька показывает.

Он говорит: «Поняла? Ну-ка, сама давай».

Настюха берет еще одну, заталкивает ее себе под мышку и быстро раздавливает ее там.

Горячо.

«Ну и дура же ты!» — говорит Митька. Но сам смеется.

«А я буду трактористом, — рассказывает он ей. — Понимаешь? На тракторе буду ездить. Ничего не понимаешь, дубина еловая. На тракторе — это как командир дивизии. Или даже — армии. Поняла? Все в говне ковыряются, а я — на рычагах. За полкилометра здороваться будут. Потом вообще уеду отсюда. В Москву хочу. Там, знаешь, как трактористы нужны! Ну, и чего ты лыбишься? Дубина еловая. Ничего ты не понимаешь. Сиди здесь, я скоро приду. Попробуй только еще раз за мной увязаться. Поколочу, как вчера. Поняла? Ну, и чего заревела? На вот, хлеба возьми».

Настюха терпеливо ждала Митьку, изредка выглядывая из дверей, прислушиваясь к далеким переливам его гармони, рассматривая звезды в большом небе и произнося звуки «о». Прибегали друзья-собаки, звали побегать ее с собой, но она каждый раз им отказывала. Настюха не могла пропустить Митькино возвращение.

После гулянки, перед тем как пойти домой, он всегда забегал к ней в сарай, и они ложились на овчинный тулуп, подперев дверь поленом. Настюха закрывала глаза, вытягивала над головой длинные руки, время от времени стучаясь костяшками пальцев о разбитый ствол пулемета, который Митька так и не починил.

А через некоторое время у нее заболел живот. Очень сильно.

* * *

После выкидыша Настюха перестала глупо смеяться, дружить с собаками, косить глазами и выглядывать из сарая по вечерам. Ее глаза теперь смотрели совсем прямо и часто с удивлением останавливались на Митьке, как будто спрашивая: «А это еще что такое?»

Когда он попробовал снова уложить ее на овчинный тулуп, она толкнула его так сильно, что он отлетел к стене, опрокинув по дороге свой неисправный пулемет. Сила у нее осталась прежняя. Но все остальное изменилось.

Даже имя.

Сначала Митька не обратил внимания на то, что она перестала радостно оборачиваться, когда он звал ее Настюхой, и ему приходилось теперь подходить к ней и толкать ее в плечо. Но после того, как

она несколько раз толкнула его в ответ, он начал задумываться. Что-то странное было в этой спине, которую он теперь постоянно видел вместо расплывающегося в тупой улыбке косоглазого лица.

«Настюха», — говорил он, и эта спина даже не шевелилась. Так и продолжала лежать в углу на том самом тулупе, который теперь принадлежал ей одной. «Настюха», — повторял он, но ничего в выражении этой спины не менялось. Она не становилась ни более замкнутой, ни более приветливой. Спине было все равно.

Однажды спина заворочалась, и вместо нее появилось очень усталое и очень печальное лицо.

«Мальчик, — сказала лицо. — А почему ты все время говоришь «Настюха»?»

Оказалось, что Настюха — это не Настюха, и до Разгуляевки ее звали Любой. До того, как она сошла с ума и уехала из своего первого места. Оттуда, где все умерли. Но об этих мертвых она вспомнила не сразу. Только потом. Когда бабы стали расспрашивать ее, поняв, что она вдруг изменилась. К этому времени она уже больше не возвращалась в Митькин сарай. Снова жила на сеновале у дяди Игната.

«Слышь, девушка, — говорили бабы, разглядывая ее новое лицо. — Дак он чего там с тобой делалто, засранец, в сарае? Может, мы того? Сходим к Наталье?»

Люба-Настюха пожимала плечами, потому что она ничего не помнила. Даже то, как приехала в Разгуляевку, она вспоминала с трудом.

«Ну, ты же на станции была, — говорили бабы. — Значит, на поезде ехала. А до этого? Может, ты из Читы? Или с Иркутска? У них там, знаешь, еще Ангара. И озеро большое. Байкал помнишь?»

Но Люба-Настюха не помнила Байкал. Она рассказала, что у нее были брат и сестра и что они оба умерли, потому что очень хотели есть и сварили ежика, но не могли дождаться, пока закипит вода, и съели его вместе с иголками. И от этого у них изо рта пошла кровь, и они кричали, и царапали стены. А братик особенно сильно кричал. И у него были русые волосы. А потом умерли родители, и она сидела с ними в доме одна, потому что в других домах тоже было много мертвых, и она боялась туда ходить. А своих мертвых она не боялась. Она их знала. Но хоронить их никто не пришел. А она ела траву и поэтому осталась живая. Правда, трава была горькая, и от нее она, наверное, сошла с ума.

«Из Самарской губернии она, — сказал председатель. — Там сейчас голод. Я на совещании в районе слышал. Только смотрите у меня! Чтоб никому! Про этот мор слухи распускать запретили».

А еще через две недели Люба-Настюха из Разгуляевки исчезла. Митька сразу побежал на станцию, пытался что-нибудь разузнать, но на железной дороге ее тоже никто не видел.

«Да ты знаешь, сколько за ночь проходит товарняков? — сказали ему мужики, грузившие уголь. — У нас же почти узловая. На любой состав можно сесть. Они притормаживают. Хоть во Владивосток, хоть в Москву. Сел и поехал. Красота. А тебе про нее зачем надо-то?»

В тот вечер Митька на гармони играть не пошел. Вместо этого он снова украл спирт у деда Артема, а утром проснулся у себя в сарае со сломанной рукой. Как он ее сломал и где — он не помнил.

На танцах однорукий гармонист был ни к чему, поэтому взрослые парни Митьку оттуда прогнали.

Разок даже пришлось ему накостылять, чтобы успокоился и больше не лез. Девки пытались его защищать, но парням было весело, и Митька летел на пинках по всей Разгуляевке.

«Ссыкун! — кричали ему взрослые парни. — Куда побежал? А ну, стой, ссыкунишка!»

Когда подошло время отправлять Митьку в райцентр, вместо него учиться на тракториста поехал Юрка Чижов. Председатель решил, что пацана со сломанной рукой на МТС завернут обратно.

«Из Архиповки ведь тогда кого-нибудь учиться возьмут. И будем у них потом каждый год тракториста выпрашивать».

Митька ни словом не выдал, что затаил на Чижовых обиду, но как только Нюрке исполнилось четырнадцать, он заманил ее на станции за пакгауз и уложил на теплые от весеннего солнца шпалы.

«Будет нам с тобой счастье, — пообещал он ей потом, закуривая самокрутку и с усмешкой поглядывая на ее склоненную голову и вздрагивающие плечи. — Не бзди, прорвемся».

МИТЬКИНЫ ЧАСТУШКИ

Митька Михайлов одно время был гармонистом. По возрасту на танцы ходить ему вроде было еще не положено, но взрослые парни пускали его, потому что на гармони лучше Митьки в Разгуляевке играть никто не умел.

Потом получилось так, что он влюбился в приبلудную девушку Настюху, и она ему даже дала. Митька от этого был очень счастлив. Через месяц Настюха из Разгуляевки куда-то исчезла, Митька с горя напился, свалился с обрыва и сломал себе руку.

Когда до него дошло, что без гармониста на танцах он никому не нужен, у Михайловых в доме наступил конец света.

Не такой, про который рассказывала в школе Анна Николаевна, когда учила разгуляевских детей не верить в бога и объясняла почему, например, в Архиповке закрыли церковь, а самый натуральный — с мордобоем, ревом и беготней по чужим огородам.

Морду били в основном самому Митьке — братья кулаками, а тетка Наталья мокрым полотенцем — за то, что он по злости поубивал всех цыплят. Сначала долго сидел у себя на чердаке, смотрел то на гармонь, то на свою сломанную руку, а потом слез оттуда и порубил топором цыплят. За что — неизвестно. Просто, видимо, надо было кого-то убить.

«И главное дело — как он их одной рукой-то всех порешил?» — запыхавшись, удивленно сказала сама себе тетка Наталья.

Сколько могла, она еще бегала по огороду за Митькой со своим только что постиранным полотенцем, а когда тот однорукой молнией перелетел через забор и помчался уже по чужим грядкам, остановилась и, сильно волнуясь грудью, смотрела, как старшие сыновья то и дело валяются в соседский горох, топчут рассаду и все никак не могут поймать «этого черта».

«Куда там! — махнула она рукой. — Бесполезно. Все равно цыплят не воротишь».

То ли от быстрого бега, то ли от яркого солнца, под которым так хорошо зеленели раскинувшиеся перед теткой Натальей разгуляевские огороды, то ли вообще от того, что за чужим забором вот так

вот носились перед ней три больших уже ее сына, выращенных все-таки без мужика и потому только господу богу знамо каких дорогих, — в общем, неизвестно по какой причине, — но злость ее вдруг прошла, почти вся улетучилась, и только жалко было почему-то одного-единственного цыпленка.

Тетка Наталья сама наступила на него в курятнике недели две-три тому назад и сломала ему крыло. Потом возилась с ним как с родным, выкармливала с ладони и даже поселила его у себя на несколько дней под кроватью, отчего, видимо, и привыкла. И этот «переломыш» тоже к ней как будто привык. А вот теперь Митька взял и захлестнул его топором вместе с другими цыплятами.

Тетка Наталья вздохнула, переживая, что в погребке уже тепло и долго всю эту битую птицу там не продержишь — придется как можно быстрее съесть. А едоков-то в доме — раз-два и обчелся.

Соседей, что ли, позвать?

«Эй! — вдруг изо всех сил закричала она сыновьям, увидев, что те наконец сумели подловить Митьку и уже наладились его мутузить. — Кончай, кому я сказала! Совсем доломаете мне пацана. Куда нам потом такой обрубок!»

Вечером, когда подъели уже почти всех цыплят и самогона в баклажке осталось на самом дне, она успела прихватить со стола две последние жареные ножки и отдернула занавеску на холодной печи, где, свернувшись в злой и упрямый клубок, лежал со своей сломанной рукой Митька.

«Слышь, сына, ну ты поешь хоть чуть-чуть. Сожрут ведь цыплят соседи. Я ради них, ли чо ли, горбатилась, ночей не спала?»

«Сказал — не буду, значит — не буду, — отрезал Митька. — Не приставай».

«Вишь ты, какой сердитый, — сказал сосед дядя Миша, успевший не только съесть пару цыплят, но и заныкать, пока никто не смотрел, одного в сенях под пыльные хомуты, с тем расчетом, чтобы прихватить его с собой, когда самогонка закончится и народ, соответственно, заскучает. — Прямо и не Митька, а целый уполномоченный ВЧК. Или как она там теперь называется? Кавэда, что ли? За ими не уследишь. А может, у тебя и наган имеется, товарищ сердитый чекист? Ты гляди не перестреляй нас отсюда с печки. А то мы вон самогонку ишшо не всю допили».

Соседи расхохотались, а Митька подумал, что если бы у него действительно был наган, он бы с удовольствием стрельнул из-за занавески в пьяную голову дяди Миши, а потом с интересом бы наблюдал, как на полу вокруг нее неровным пятном растекается темная дяди-Мишина кровь — загадочная, как девки на танцах, или как полная луна посреди ночи в окне, или как то место, куда исчезла Настюха, или как та непонятная боль, которую он ощущал вовсе не в сломанной руке, а везде — даже почему-то вне своего тела — в темных углах комнаты, за окном, в небе, среди деревьев, но больше всего где-то в груди, и даже, может быть, не в груди, а чуть выше пуза, и еще в горле. Митьке ужасно хотелось сглотнуть эту боль, проглотить ее поскорей, как залетевшую в разинутый на бегу рот муху, но она все не сглатывалась, не проваливалась, а наоборот, мучила, перехватывала дыхание, щипала ему глаза.

«Ты не лезь к нему, дядь Миша, — попросил стар-

ший брат Митьки Егор. — Ему щас хреново. На танцы его больше не зовут. Какой из него, из криворукого, гармонист?»

Дядя Миша выскочил из-за стола, присвистнул и во весь голос врезал частушку:

«Девки в клуб на танцы звали,
А я с ними не пошел.
Пиджачишко на мне рваный,
И хуишко небольшой».

Дяде Мише уже не раз били морду за его частушки, которые он пел и к месту, и не к месту. Но остановиться и не петь их он просто не мог. Для этого ему пришлось бы переменить всю свою жизнь — обзавестись семьей, бросить шляться по чужим домам, не сплетничать на завалинках с бабами, не гулеванить на дармовщинку, не совать свой нос в каждый двор, где случайно приоткрылась калитка, то есть в его случае — вообще не жить. Но дядя Миша все это сильно любил и потому продолжал петь частушки. При этом непонятно было — почему все называют его дядей Мишей. Никаких племянников в Разгуляевке у него никогда не было.

Вся эта пустая беззлобная матерщина, притопы, ужимки и присвисты являлись такой же частью его самого, как хитрая похмельная рожа, стоптанные, на три размера больше и непременно чужие, сапоги, да еще постоянное желание стянуть что-нибудь, раз уж заскочил на огонек. Стоило где-нибудь собраться хотя бы небольшому народу, вынуть семечки, завести разговор, усмехнуться и только чуть-чуть приоткрыть бутылку самогона — как он уже был тут как тут. Сидел в самом центре, командовал, заглядывал во все стаканы и, в конце концов, обязательно пел частушки.

Бывало, что ему не везло. Перепутав однажды оказию, дядя Миша затянул матерную частушку на похоронах. А поскольку хоронили бабушку Ерофееву, которая при жизни была очень серьезной бабушкой и на дух не выносила ни шуток, ни прибауток, ни тем более дядю Мишу, сердитые бабушкины родственники тут же взяли его под бока и сильным пинком запустили с крыльца в воздух, как аэроплан. Дядя Миша, хоть аэропланов не видел, пролетел довольно удачно — до самой калитки, а оттуда уже своим ходом добрался до безопасных мест. День или два он молчал, морщась и потирая задницу, отказывался на ней сидеть, но потом не выдержал, и над Разгуляевкой снова полетело:

«Сидит Коля у ворот
И не пляшет, не поет.
Он сидит ни бэ, ни мэ
Одна ебля на уме».

Теперь Митька с черным от непонятной боли сердцем лежал на печке, думал о том, как он застрелит дядю Мишу, и маялся совершенно новой для него маетой. Он никак не мог понять, почему все несчастья свалились вдруг на него одного. Всем остальным в Разгуляевке, по его мнению, они раздавались вполне одной, ровной мерой, тонким слоем размазывались, как масло на хлеб, а вот ему достались целым комком, как те водяные змеи, которых прошлой весной он нашел на берегу Аргуни и которые переплелись между собой так тесно, что просто не могли расползтись. Митька тогда выудил из воды длинную палку и долго с ненужной злостью колотил по мокрому копошившемуся клубку, пока тот совсем не перестал шипеть и извиваться, но, видимо, поступил неправильно и навел этим са-

мым на себя порчу. Его собственные несчастья с тех пор цеплялись друг за дружку и тянулись, как те убитые змеи, только теперь они были совсем не убитые, и Митька сильно жалел, что вообще наткнулся тогда на этот клубок. Потому что, кто его знает, может, и Настюха бы не исчезла из Разгуляевки, и руку бы он не сломал, и жрать бы сейчас не хотелось так сильно, а если бы и хотелось, то, наверное, смог бы поесть этих несчастных цыплят, которых тоже неизвестно зачем зарубил, но ничего изменить уже было нельзя, и Митька отполз к самой стенке, чтобы смотреть на паутину в щелях между бревнами, а не на то, как дядя Миша, подскочив снова к столу, доедает последний кусок.

Митька колупал указательным пальцем здоровой руки черные от кухонной копоти бревна и продолжал изводить себя мрачными мыслями. Он вспоминал рыжего Леху, который вместо него стал теперь гармонистом и первым сказал: «Гоните, на хрен, этого шкета!» Вспоминал, как смеялись девки, когда он уцепился за лавку рукой, и большие парни прямо на этой лавке вынесли его на улицу, а он попытался заскочить обратно, и ему дали пинка. Вспоминал, как швырнул камень в окно, а потом убегал через всю деревню, но не убежал, потому что поймали и накостыляли по шее. Вспоминал вкус дорожной пыли, набившейся в рот, когда прижали мордой к земле, и запыхавшийся голос кого-то из подоспевших девок: «У него же рука сломана! Осторожней вы, сволочи!» — И свою ненависть к этому голосу, а почему-то не благодарность, и еще кто-то рядом свистел, и топот босых ног, и потом кто-то пнул под ребра.

От всех этих мыслей Митька вертелся теперь на

печке, как черт на сковороде, задевая больную руку, морщась, страдая и стараясь не смотреть на поющего дядю Мишу, который к этому времени уже совсем разошелся и сыпал свои разухабистые частушки одну за другой. Ноги его выбивали бесконечную дробь, голова запрокинулась, руки манерно разлетались по сторонам, а глаза были томно полужакрыты. Все его тщедушное тело от разбитых сапог до слипшихся на висках редких волосиков буквально пело от счастья. Дядя Миша действительно пел не только губами, языком и голосом, но вообще всем, что было в нем, и даже всем тем, что было на нем — и сапогами, и обвисшими шароварами, и застиранной, неизвестно чьей гимнастеркой с темными разводами под мышками и на спине. Дядя Миша, совершенно забывшись, пел свои ничемные песенки всей своей ничемной природой.

«Меня милый не целует
И не домогается.
Выйду замуж за его,
Пусть тада помается!»

* * *

На следующее утро Митька проснулся неожиданно другим человеком. Ночью ему пришла в голову идея. Благодаря дяде Мише и подхватившим его частушки пьяным соседям, которые не угомонились до утра и орали потом в темноте по всей Разгуляевке, он теперь знал, как поправить свою беду и снова оказаться на танцах среди взрослых парней.

На радостях и чтобы скорее провести время до вечера, он взялся помогать мамке по хозяйству, но из-за своей сломанной руки, а больше — по радост-

ной бестолковости, не столько помогал, сколько вертелся под ногами, за что восемь раз схлопотал по шее, но не сильно, а с любовью — просто чтоб знал.

Когда наконец стемнело и парни с девками со всей деревни потянулись на танцы, Митька, подпрыгивая от нетерпения, выскочил за ворота.

«Эй, ты куда?» — успела крикнуть ему вслед тетка Наталья, но он уже мчался мимо соседних домов, барабая по твердой дороге босыми пятками.

Подбегая к дому бабки Верки, где собирался народ, Митька обогнал Юрку и Витьку Чижовых. Те тоже, как на работу, шли на вечерние посиделки. Они, разумеется, знали, что в дом их не пустят, но на завалинке всегда имелись места и можно было за них побороться. В любой другой день Митька ни за что бы не смог обогнать их, потому что на танцы они обычно сами неслись как ошпаренные, но в этот раз с ними увязалась сестра Нюрка, и дома им крепко попало, когда они попытались запереть ее в сарайчике для коз.

Теперь Нюрка ревела, развесив до подбородка зеленые сопли, а Витька лупил ее по макушке большим листом лопуха.

«Ты замолчишь у меня, коза, или нет?!! Видала — Митька Михайлов уже пробежал! Опоздаем из-за тебя! Он наше место займет! Его в дом больше не пускают!»

Но Нюрка не могла замолчать. Тяжелые рыдания сотрясали ее всю, как тростинку, которую вдруг, посреди ясного дня, застиг неизвестно откуда налетевший шквал на реке, и она, перепугавшись, мечется теперь, и гнется, и склоняется до воды, но буря все не проходит.

Нюрка понимала, из-за чего сердится Витька, и сильно боялась его, но при этом ничем не могла ему помочь, потому что сама тоже очень хотела на танцы.

«Хватит, — сказал наконец Юрка, отнимая у младшего брата измочаленный лист лопуха. — Пошли скорей, а то займут всю завалинку».

На самом деле он остановил Витьку вовсе не поэтому. Просто ему стало жалко зареванную, дрожащую Нюрку, но он почему-то не мог об этом сказать.

Витька для порядка еще разок пнул сестру по ноге и умчался вперед, а Нюрка, размазывая сопли по чумазым щекам, подняла голову и благодарно сверкнула полными слез глазами. Она и без того всегда была готова преданно служить старшему брату, но теперь она пошла бы за ним даже на смерть. На свою маленькую, но оттого не менее страшную смерть.

Когда Юрка с сестрой подросли к покосившемуся домику бабки Верки, вся завалинка под окнами действительно была уже занята. Разгуляевские пацаны свисали с нее, как лиловые гроздья чертополоха, пыхтели, толкали друг дружку, некоторые даже кусались и время от времени падали с глухим стуком на землю. Каждому хотелось заглянуть в окно.

Бабка Верка, которая уже много лет пускала к себе в дом разгуляевскую молодежь, за что регулярно получала то мешочек муки, то кусочек сальца, не любила всю эту малышню. Большие парни и девки, приходившие по вечерам на танцы, знали, как себя вести, и если уж обжимались, то культурно: уходили к реке или по крайней мере до баньки,

не говоря уже о том, что никто из них не стал бы справлять у нее в огороде нужду. А эти «засранцы», с которыми бабка Верка не один год сражалась изо всех сил, могли нагадить не только в огороде, но иногда и прямо во дворе. И завалинку из-за них приходилось чинить каждую неделю.

Бабка Верка упорно гонялась за ними с клюкой, бранилась последними словами, плескала из окна кипятком, но все было бесполезно. Они разлетались перед ее напором в разные стороны, расступались, как море перед тем древним жидом, о котором рассказывала в школе Анна Николаевна, высмеивая поповские сказки, а потом снова сбивались в стаю и чумазой глазастой кучей опять свисали с несчастной бабки Веркиной завалинки.

Разгуляевским пацанам нравилась бессильная злость бабки Верки. Она была самой веселой частью всего этого подглядыванья, хихиканья, прижимания носом к стеклу и, если надо, поспешного бегства. А бабка Верка ненавидела их всей душой и мучилась оттого, что не могла запомнить «засранцев», пока они скакали на ее завалинке. Если бы она сумела узнать кого-нибудь из них, когда они потом, гораздо позже, появлялись уже подростками, уже во взрослых рубахах и с девками на уме, она бы, конечно, задала им жару и спросила бы с них за все, что они вытворяли когда-то, но, во-первых, узнать она никого не могла, а во-вторых, смутно догадывалась, что на танцах у нее в доме вообще не было ни одного взрослого парня, который пять или шесть лет назад не висел бы долгими вечерами на этой самой завалинке и не плющил бы сопливый нос о стекло. Но раз так, то выгонять из дому ей пришлось бы практически всех, и значит — ника-

кого больше сальца на дармовщинку и никакого веселья.

А веселиться ей нравилось.

«Витька, — позвал Юрка младшего брата. — А, Витька!»

«Ну чего?» — тот недовольно обернулся от окошка, к которому тут же прилипли две другие головы.

Вообще-то Юрка позвал брата не сразу. Сначала он просто стоял и смотрел на все эти спины, держал Нюрку за руку, а та молча чесалась, шмыгала носом, размазывала по лбу зеленые пятна от лопуха и временами неожиданно всхлипывала, содрогаясь всем телом, и это напоминало отголоски грозы, которая уже отгремела и ушла за Аргунь, на тот берег, на китайскую сторону, но все еще слышно — рокочет там и никак не может совсем перестать.

Юрка некоторое время смотрел на спину младшего брата и на спины других пацанов, а когда понял, что Витька сам не обернется, просто позвал его.

«Витька, — сказал он, сжимая вспотевшую Нюркину ладошку. — А, Витька».

«Ну чего?»

Глядя на сестру и брата, которым не досталось места на завалинке и которые стояли теперь у него за спиной, взявшись за руки, как будто только они были брат и сестра, а он был им чужой, Витька почему-то вдруг вспомнил, что никогда не таскал сестру на закорках. Это всегда делал старший брат. Пять или шесть лет назад, когда Нюрка была еще совсем маленькая, стоило ей устать от долгой беготни по деревне, Юрка тут же подставлял ей спину, и она заползала на него, как таракан. Витька

привык к тому, что за Юркиным плечом постоянно болтается Нюркина голова, и даже представить себе не мог, что может быть по-другому. Непонятно откуда возникшее, а скорее всего, даже и не возникшее, а всегда бывшее в нем чувство отчетливо говорило, что так и должно быть, что, очевидно, таков закон природы, и поэтому сам он никогда Нюрку на спине не носил, а только орал на нее, стучал, пинался и, когда появлялась возможность, сразу от нее убегал.

Однако теперь, глядя на них, он вдруг испытал совершенно новое для себя чувство. Ему показалось, что если он спрыгнет сейчас с завалинки и уступит это с трудом отбитое у других пацанов место своему брату или, кто его знает, может быть, даже своей сестре, то это почему-то будет правильно и хорошо.

Злость на Нюрку в его сердце мгновенно прошла, он повертел головой, о чем-то еще подумал, а потом изо всех толкнул своего соседа Кольку Нестерова:

«А ну, давай слазь! Насмотрелся уже! Видишь — людям тоже охота посмотреть!»

«Сам слазь!» — ответил тот, и между ними немедленно началась потасовка.

Витька обычно любил подраться и дрался весьма хорошо, но в этот раз ему навалили. Быстро получив два раза в левое ухо и стараясь не обращать внимания на сильный звон в голове, он скатился с завалинки прямо к ногам Нюрки.

«Убью гада», — пробормотал он и, вскочив с земли, вцепился в рубаху своего обидчика.

Юрка тоже не мог уже стоять просто так. Вдвоем они быстро восстановили справедливость, и пока

Витька гнался за Колькой до самой калитки, а потом швырял ему в спину комками сухой грязи, Юрка подсадил на освободившееся место сестру. Вернувшийся после победы Витька предпочел бы увидеть на этом месте брата, но почему-то сдержался и ничего не сказал. Теперь они вдвоем стояли перед завалинкой и время от времени подпрыгивали, пытаясь заглянуть через Нюркину голову в окно.

«Ну, говори — чего там? — напрыгавшись, сказал наконец Витька. — Залезла, е-мое, и молчит!»

Нюрка обернулась на братьев, снова слегка вздрогнула от замирающего в ней, уходящего плача и, уже блестя глазами от счастья, сказала:

«У бабки Верки котенок».

Витька засопел, а потом, сцепив зубы, медленно проговорил:

«Какой, на хрен, котенок! Ты куда смотришь?»

«На печку смотрю, — Нюрка перевела на него взгляд своих круглых от огромного желания услужить, зареванных глаз. — Она с ним на печке сидит и молочком кормит».

«Каким, на хрен, еще молочком!»

В этот момент гармонь, на которой в доме играл рыжий Леха, неожиданно смолкла. Все остальные пацаны буквально влипли в окно.

«Туда смотри! Туда!» — зашипел Витька и ткнул Нюрку лицом в стекло.

Нюрка гулко стукнулась лбом и зажмурилась от страха.

«Ну чего там?» — спросил Витька.

Она открыла глаза.

«Митька Михайлов стоит, а на гармонии никто не играет».

«Да мы слышим, что никто не играет! Чего Митька-то делает?»

«Ничего. Просто стоит, и на него все смотрят. А у Маринки Косых новый сарафан».

«Да е-пэ-рэ-сэ-тэ! — взвился Витька. — Давай слезай, дура!»

«Он частушки поет», — вмешался в их разговор вернувшийся из изгнания Колька, который хоть и пробрался тихой сапой обратно во двор бабки Верки, но близко к завалинке и братьям Чижовым подходить пока не спешил. Стоял, прижавшись к поленнице, и растирал кулаком здоровенный синяк на правой скуле.

У всех этих Нестеровых был такой слух, что соседи про важные дела у себя дома старались громко не говорить. Специально Нестеровы вроде бы и не слушали, но если их вдруг спросить, много интересного могли рассказать, это уж точно.

«Чиво?» — удивленно протянул Витька.

«Частушки, — повторил Колька, который слегка осмелел и даже отклеился от безопасной поленницы. — Про полосатую рубаху и полосатые портки... Теперь про семечки».

«А эту частушку я знаю, — радостно сказал Андрюха Щербатый, вертевшийся на завалинке рядом с Нюркой. — Там еще про скамеечку...»

«Нет, другая», — покачал головой Колька.

«Тихо вы! — заорал на них Витька. — Он зачем их поет, частушки-то? Я чо-то никак не пойму».

Колька пожал плечами:

«А я почему знаю?.. Теперь вот про золотые часики».

Нюрка, которая по Витькиному приказу к этому моменту уже почти слезла с завалинки, сообрази-

ла, что Витька злится теперь не на нее, а на чужих пацанов. Ее правая нога не доставала до земли каких-нибудь пяти сантиметров. Нюрка задумчиво пошевелила пальцами на этой ноге, как будто сама нога, а не Нюрка размышляла — опускаться ей совсем на землю или еще повисеть, — а потом незаметно начала подтягивать эту ногу назад на заваulinку. Забравшись туда, она снова заглянула в окно.

«Большие парни Митьку схватили, — сказала Нюрка, расплющив нос об стекло. — И тащат его к двери».

При этих ее словах все пацаны во дворе и на заваulinке замерли как один. Колька остановился на полушаге в двух метрах от поленницы, так и не приблизившись к дому. Витька вытаращился на своего брата, а тот приоткрыл рот, как будто хотел то ли что-то сказать, то ли засмеяться, но так и не решил, что он хотел сделать, и поэтому просто стоял с открытым ртом. Витька зачарованно смотрел ему в рот и ждал, что будет дальше.

«Вытаскивают», — сказала Нюрка.

Дверь шумно распахнулась, из дома послышался хохот.

«Как в прошлый раз будет», — прошептал кто-то из пацанов.

Большие парни смеющейся кучей вывалились на крыльцо. Двое крепко держали отчаянно державшегося Митьку.

«Пинается гаденыш! — крикнул один из них. — Запускаем в стратосферу!»

После успешного полета первого советского стратостата «СССР-1» под командованием Георгия Алексеевича Прокофьева, сумевшего побить

рекорд проклятого империалиста Пикара, стратосфера в Разгуляевке была в большой чести.

«Раз! Два! Три!»

Толпа расступилась, и те двое, раскачав Митьку на руках, подбросили его высоко в воздух.

«Летит», — тихо сказала Нюрка, и Митька упал лицом в пыль.

«Ну вы что, совсем дураки? У него же рука сломана!» — закричала одна из девок, тоже выскочивших на крыльцо.

Там собралась уже такая большая толпа, что рыжий Леха, который был теперь гармонистом вместо Митьки, не удержался и под общий хохот свалился с крыльца. Быстро сообразив, что народу понравилось его смешное падение, он еще несколько раз нарочно повторил его, выкрикивая всякую чепуху. Парни громко смеялись, девки им вторили, и народу на крыльце становилось все больше. Наконец оно не выдержало, закрипело, качнулось и со страшным грохотом развалилось на части, а все, кто на нем стоял или висел на перилах, с визгом полетели на землю.

«Это чего это тут?!» — истошно завопила бабка Верка, выскакивая из дома и тут же цепляясь за дверь, чтобы не свалиться в общую кучу.

Увидав на своей завалинке выпучившую глаза пацанву, она ловко соскочила с порога, перешагнула визжавших девок и бросилась к мальчишкам, как будто это они были во всем виноваты и как будто из-за них развалилось крыльцо.

«Захлестну!»

«Полундра!» — закричал Андрюха Щербатый, у которого отец в Первую мировую служил матросом на Балтике.

Пацаны, как зайцы, бросились врассыпную. Юрка успел стащить с завалинки онемевшую от страха сестру и выскочил с ней за ворота. По дороге Нюрка сильно треснулась ногой об калитку. Витька бежал чуть позади, делая вид, что хромает, и отвлекая от них мчавшуюся на всех парах бабку Верку. Так вчетвером они пробежали до самого конца улицы, и только после этого старуха устала вилять то за одним, то за другим братом и сбавила ход.

А Митька так и остался сидеть в пыли рядом с развалившимся крыльцом и кучей-малой из копошащихся парней и девок, которые продолжали тискаться, визжать и смеяться и, казалось, вовсе не собирались вставать.

Митька сидел, опустив голову, тяжело уставившись на свои исцарапанные колени, и крепко прижимал к груди сломанную руку.

КУДА ПРОПАДАЮТ ОТЦЫ

О том, куда они пропадают, Петька имел довольно смутные представления. То есть он знал, что в основном они были все на войне, но куда они могли деться до нее — вот это вот был вопрос.

Впрочем, он редко задумывался о том, что куда пропадает. Его больше волновало, что откуда берется.

Дождь — из неба, спирт — из Китая, солдаты — с войны, дети — из пуза. В своем собственном появлении на свет он тоже не видел ничего исключительного. Все из пуза, значит, и он. Тут все было понятно.

Неясным оставалось только одно — как оно все

туда попадало. С войной и солдатами — еще более-менее. Со спиртом в Китае — тоже можно было себе представить, но вот каким образом дождь оказывался на небе, а ребенок в пузе — вот это было да. Это было совсем непонятно.

Иногда Петька задумывался над такими вещами, и лицо у него становилось серьезным и сосредоточенным, как при мысли о еде или как в тот момент, когда он собирался отмочить какую-нибудь новую пакость. Бабка Дарья не любила у него такого лица и не трудилась особенно разбирать — чего это он там вдруг притих, поэтому Петьке временами доставалось не по делу, а как бы вперед, на всякий случай.

Так почтальон дядя Игнат всю войну старался почаще заходить ко всем подряд, чтобы к нему привыкли и не испугались, когда он постучит в дверь и войдет наконец с похоронкой.

У Митьки Михайлова с Нюркой все началось именно из-за дяди Игната. Если было, правда, чему начинаться. Потому что для неожиданного появления Петьки на свет хватило, в общем-то, одного раза. Нюрка потом на станцию с дядей Игнатом уже больше не ездила. Сидела дома, перепуганная, как мышь.

Но сначала сама напросилась.

«Можно, — говорит, — дядя Игнат, я с вами буду на станцию ездить, почту возить?»

А у дяди Игната к тому времени дочь Маня как раз вышла замуж, и ему было скучно одному на телеге сидеть.

Поэтому он сказал: «Можно».

И Артем с Дарьей не возражали. Про Митьку да-

же не вспомнил никто. Что он там сидит на станции, как Змей Горыныч, и караулит свою добычу.

Хотя, может, и не караулил. Может, само все придумалось, как только Нюрку на станции увидел. Как она там ходит по рельсам в своем сарафане, ножкой постукивает.

«Здорово. Ты тут чего?»

«Дяде Игнату помогаю».

«А-а. Молодец. Ну, а дома-то как? В Разгуляевке?»

Митька болтался на станции уже, наверное, полгода. Помогал обходчикам, чего-то грузил. Но больше его видели с блатной шпаной. Те наезжали сюда из Читы, из Приморья и втихую кумекали на проходящих поездах. Кто в карты играл, кто просто так по карманам шастал. Митька сперва с ними в кровь передрался, а потом таким другом заделался — хоть убей. Домой в Разгуляевку даже и не заглядывал.

«Ну, так чо? Как там?»

А Нюрке было странно, что он с ней вообще разговаривает. После того как ее брата отправили вместо Митьки учиться на тракториста и тот стал в Разгуляевке важней чуть ли не агронома и председателя, к Чижовым на двор Митька больше ни разу не заходил. Даже на улице не здоровался. Щурился только и в другую сторону куда-то смотрел.

А теперь сам заговорил. Первый. Поэтому Нюрке вдруг сильно захотелось извиниться перед ним сразу за всех. Она ведь еще помнила, какие они раньше все были друзья. И в школе на одной лавке сидели.

«Ты это... Не злишься больше, что Юрка в райцентр тогда уехал?»

«Да нет. А чо мне?»

«Я думала — ты злишься».

«Уехал и уехал. Сломанная же у меня была рука».

Нюрка опустила глаза на Митькин локоть.

«Болит еще?»

«Дура, что ли? Почти два года прошло. А хочешь посмотреть, как новые шпалы укладывают? Вон там, за пакгаузом. От них стружкой пахнет».

Короче, во второй раз Нюрка с дядей Игнатом на станцию уже не поехала. Сказала: «Не хочется что-то» — и быстро закрыла дверь.

Вот так Митька отомстил Чижовым. А те через полгода начали за ним бегать и пытаться убить его тяжелыми кольями, которые колхозный пастух Миша Якуб приготовил для строительства изгороди. Потому что им было обидно за свою сестру. В четырнадцать лет рожать — кому это надо? Да еще раньше были такие друзья.

Но не догнали.

Митька бежал от них всю дорогу от станции до Разгуляевки, и потом еще немного, пока не добрался до своего сарая. Убегал он не потому, что боялся, а потому, что признавал за ними право убить себя. И уважал это право. Однако при всем уважении умирать ему было неохота.

В сарае он разворошил кучу тряпья, вытащив из нее найденный давным-давно в Аргуни и отремонтированный наконец ручной пулемет, а когда в конце улицы появились Чижовы, вышел из распахнутой двери, расставил пошире ноги и сказал:

«Ложись, ребзя!»

Юрка с Витькой завалились в снег как подкошенные и тихо лежали там, пыхтя от долгого бега, прислушиваясь то к себе, то к Митьке, то к звезд-

ному небу, то вообще неизвестно к чему. Им обоим казалось, что все это только снится.

«Слышь, Митька!»

«Чо?»

«А у тебя патроны-то есть?»

«Хошь — проверь!»

«Да пошел ты!»

И потом еще, наверное, через минуту:

«Мы чо, так и будем здесь лежать?»

В это время добежала блатная шпана, которая кинулась со станции выручать Митьку. Они подобрались сзади к Чижовым, вынули свои ножики и нацелились их колоть.

«Вы, суки, тоже на землю!» — крикнул им Митька.

Те замерли, не поверив своим ушам.

«Ты чо, Митя, совсем опупел? Мы ж за тебя!»

«Бросай ножи, я сказал! И харями — в снег!»

Блатные немного посомневались, но потом все-таки начали опускаться на коленки.

«Мы тебя, Митя, уроем, — забубнили они. — Ты сам, Митя, не знаешь, чо ты творишь. Мы за тебя хотели фраеров на пику поставить, но теперь ты сам у нас на пике будешь сидеть. Это неправильно, Митя. Хоть у кого спроси — так делать нельзя».

«Заткнулись!» — сказал Митька и пощелкал для убедительности затвором.

Несколько минут все лежали молча. Митька смотрел на них, морщился, потом поднимал голову к темному небу, выдыхал облачко пара и разглядывал сквозь него звезды.

«Мы тоже тебя убьем, — пообещал Витька, отрывая от сугроба залепленное снегом лицом. — Не надо было тебе нашу Нюрку трогать. Кабздец тебе на этом пришел».

«Это Юрке не надо было в райцентр вместо меня ехать! Я должен был трактористом стать!» — закричал Митька.

«У тебя же рука была сломана!»

«Ну и чо? Тебе-то какое дело? Сломалась, потом срослась!»

Витька о чем-то задумался.

«Не, мы тебя все равно захлестнем, — наконец сказал он. — Потому что ты кобель драный. Когда тебя гармонистом сделали, мы с Юркой терпели, нам было ничо. А когда его на тракториста отправили, ты на нашу сеструху прыгнул. Нет, сука, мы тебя за это убьем».

«И мы тоже», — глухо откликнулись из другого сугроба блатные.

«А ну, всем лежать тихо! — заорал Митька. — А то сейчас садану! Жопы всем продырявлю!»

Чижовы и блатная шпана вдавили головы в снег, ожидая выстрелов, а через две-три минуты, когда они осмелились посмотреть, Митьки с его пулеметом уже нигде не было. Только приоткрытая дверь сарая поскрипывала на ветру.

Блатные поднялись первыми, отряхнули с себя снег, подобрали ножики и сказали Витьке с Юркой, чтоб те им больше не попадались. Чижовы ответили, что сбегают сейчас за своими, и на этом все разошлись.

На следующую ночь у Чижовых кто-то снял ворота и утащил их к самой реке. Утром Артем с сыновьями вез на санях ворота обратно, изо всех сил стараясь глядеть ухмылявшимся соседям прямо в глаза

«Не плачь, папка, — сказал ему Юрка уже у самого дома. — Все равно мы с Витькой его найдем».

Но чижовские ворота Митька Михайлов не снимал. Он в это время был уже далеко. Пройдя в ту ночь по снегу около тридцати километров, к утру он был в деревне Архиповка, а к полудню напросился в отряд Степана Водяникова, который на следующий день уходил пощипать китайцев и староверов за Аргунь.

* * *

Этот Водяников был самый известный в Забайкалье милиционер. К середине тридцатых годов его мрачная слава пошла на убыль, но в первое время после Гражданской о нем тут знали практически все. Кто ненавидел, кто боялся, кто гордился личным знакомством — было по-разному.

Известен он стал, когда командовал 4-м кавалерийским партизанским отрядом. Воюя с атаманом Семеновым, Водяников не всегда отличал мирное население от вооруженного противника и временами так зверствовал, что после Гражданской ему опасались давать большую власть. Максимум, на что решились, — должность районного милиционера.

Правда, он и здесь сумел отличиться. Родившись в семье старообрядцев, он почему-то не только не веровал, но вообще люто ненавидел всех «семейских», как забайкальские староверы всю жизнь называли сами себя. Во время войны его отряд выбивал их целыми селами. После ухода Семенова в Маньчжурию Водяников свой отряд не распустил, а продолжал воевать — теперь уже набегам — на чужой территории. Чтобы остановить его, красным пришлось однажды направить на границу крупные воинские соединения. Оружие партиза-

ны побросали только под прицелом своих же родных советских пулеметов и пушек. Мирная жизнь давалась им нелегко.

Оставшись без дела, Водяников уже в одиночку продолжил свою личную войну со староверами. Видимо, в детстве крепко досталось от отца. Запомнил на всю жизнь.

В начале двадцатых годов в Мухоршибири был большой старообрядческий храм. «Семейские» приезжали туда молиться со всего Забайкалья. Водяников однажды явился в этот храм во время богослужения и выстрелил из своего милицейского нагана дьякону прямо в живот. Староверы похватили лавки и забили бы его тут же до смерти, но он умудрился заскочить в чью-то баню, из которой потом отстреливался два дня. Повезло, что патронов прихватил с запасом. В конце концов, приехали конные чекисты и арестовали всех, кто был неспокоен. Водяников за стрельбу получил выговор по партийной линии.

После убийства дьякона в Мухоршибири «семейские» стали волноваться по всему Забайкалью. В селе Борохоево пожгли дома местных активистов. В деревне Кочун разгромили сельсовет. В Хоринске поймали и утопили в проруби милиционера.

Водяников на этот раз появился уже не один, а с отрядом губернской «чрезвычайки». Не разбираясь, он с ходу расстрелял двух священников, а когда перед сельсоветом свалили в кучу иконы и поднесли к ним огонь, из толпы вдруг выскочил какой-то человек. Он голыми руками выхватил из огня образ Богородицы и с криком: «Возрадуйся, Ирод!» — ткнул пылающей доской Водяникову прямо в лицо.

Пока этого человека убивали и гасили вспыхнувшие на милиционере волосы, кто-то из духовенства подхватил с земли обгоревший образ и убежал.

Через год несколько староверов построили в тайге скит, единственной иконой в котором была та самая почерневшая от копоти и обуглившаяся доска. Водяников с тех пор остался без глаза.

Со временем эти волнения улеглись. Староверам даже разрешили устраивать отдельные кладбища, а одноглазый Водяников занялся своей непосредственной милицейской работой — ловил хунхузов, конокрадов и тех, кто ушел на ту сторону с атаманом Семеновым, а потом вдруг передумал и теперь шлялся с ружьишкой по родной советской тайге. Жизнь незаметно принимала свои обычные неспешные очертания, но тут грянула коллективизация, и все закружилось по новой. Война Водяникова со староверами пошла на второй заход.

«Семейские» всегда были лучшими работниками, поэтому зажиточных среди них оказалось даже больше, чем среди казаков. Раскулачивать и загонять в колхоз в Забайкалье начали именно с них. Вот тут и наступил звездный час Степана Водяникова.

Он не спал ночами, он сутками напролет скакал на коне, он кричал до потери голоса, до красноты натрудил единственный уцелевший глаз и в короткие сроки сумел отправить в Казахстан несколько сотен единоверцев.

«Семейские» со своими узлами усаживались на телеги, прижимали детишек к груди, хмурились и в ответ на матерщину лишь повторяли: «Котора вера гонима, та и права».

К тридцать третьему году нераскулаченных ста-

роверов на Аргуни уже практически не осталось. Водяников мог наконец перевести дух. Но тут подоспели приморские старообрядцы. До них коллективизация докатилась попозже, и часть из них сумела собраться и вовремя уйти за кордон. Водяников злился на своих коллег из Приморья, но сам до поры до времени поделаться с этим ничего не мог.

Теперь же он узнал, что староверы из деревень Каменка и Петропавловка не смогли найти приют на северо-востоке Маньчжурии и двинулись со всем своим скарбом западнее — к самой границе с Забайкальем — туда, где японские власти разрешили им основать поселок, названный Романовкой в честь замученного царя.

Такой возможности Водяников упускать не хотел. Недолго думая, он принял решение идти за Аргунь. Староверов надо было либо вернуть, либо — уж как там пойдет по ситуации. Живыми, да еще в поселке с таким названием, Водяников оставить их просто не мог. К тому же в одной старой книге он своим собственным глазом прочитал, что русских старообрядцев еще при Екатерине силой возвращали из Польши, Украины и Белоруссии.

«Расползались», — шипел он, и шрамы от ожогов у него на лице розовели — нежные, как кожа ребенка после бани.

Отряд он собрал довольно легко, приспособив под лагерь свою родную деревню. Многим из тех, кто воевал под его командой в 4-м кавалерийском, было очень интересно по старой памяти пограбить на той стороне. Мужики с удовольствием побросали надоевшую до смерти колхозную лямку, пообещали домашним скорых гостинцев и сняли шашки да карабины со стен.

Когда Митька оказался в Архиповке, трехдневная пьянка уже подходила к концу. Отряд готовился к выступлению.

* * *

«Слышь, паря, — окликнул Митьку чей-то сильный голос на входе в деревню. — Ты постой-ка. Куда так спешишь?»

Митька остановился как вкопанный, сообразив, что дело военное и вокруг часовые, которые могут просто взять и убить.

«Дяденька, не стреляйте! Я к вам!»

Он повертел головой в поисках того, кто его окликнул, но ни в кустах у дороги, ни за деревьями, ни рядом с поленницей никого не было. Голос шел со стороны завалившегося набок старого зимовья.

«Иди сюда. Где ты там? Я тебя из-за поленницы не вижу».

Митька осторожно сделал два шага вперед, поднялся на цыпочки и посмотрел вверх засыпанных снегом сосновых плашек.

Из окна зимовья свисал человек в овчинном тулупе, но без шапки. Шапка валялась под окном.

«Ты где?» — повторил человек, пытаясь поднять голову и взглянуть вверх.

«Я здесь, — отозвался Митька. — За поленницей».

«Ну так выдь оттуда. Я как с тобой должен разговаривать?»

Митька приблизился к свисавшему человеку и опустился рядом с ним на корточки.

«Помоги, — сказал человек. — Не видишь, помираю я. Не дотянусь».

Митька с готовностью подхватил с земли шапку и вложил ее в безжизненную руку.

Человек слабо заматерился.

«Чего?» — Митька изо всех сил старался уловить причину гнева этого непонятного человека.

«Ковшик, — теперь уже более внятно повторил тот. — Ковшик, ети его. Помираю».

Митька оглянулся вокруг себя и увидел отлетевший к поленнице деревянный ковш. На снегу рядом с ним темным кружком застыла ледяная корка.

«Щас, дяденька!» — радостно закричал он и метнулся в сторону от зимовья.

Вынув из вялой руки шапку, он осторожно заменил ее на ковш и по одному загнул чужие непослушные пальцы, чтобы они смогли удержать покрытую льдом ручку.

«Все, дяденька», — сказал он, и свисающий человек, слегка вздрогнув, начал медленно, как огромная больная змея, задним ходом заползать к себе в зимовье.

Шапка его так и осталась в руках у Митьки.

С полминуты изнутри не доносилось ни звука. Как будто тот, кто только что свисал из окна, просто исчез, растворился в своем страшном похмелье, или наоборот — остался, но воспарил и от этого перестал производить уже любой шум.

«Слышь, — донеслось наконец из открытого по-прежнему окна. — А ты бражки-то хочешь?»

«Нет», — сказал Митька.

«Ну, смотри», — еле слышно прошелестело из темноты.

Вслед за этим раздался стук ковшика, потом густой хлюпающий звук, нежная, едва уловимая матерщина, еще раз стук ковшика — и тишина. Мить-

ка сидел под окном на снегу и слушал, как в стене зимовья у него за спиной возится мышь. Где-то на другом конце деревни протяжно залаяли собаки.

«Н-да, — сказал уже совсем другой голос у него над головой. — Никак, бляха-муха, зачерпнуть без него не мог. Глубоко. А ладошкой — не помогает».

Митька поднялся на ноги и увидел перед собой все того же самого человека. Только теперь он стоял более-менее прямо, и в руках у него покачивался укороченный кавалерийский карабин.

Посмотрев еще немного на Митьку, он тяжело вздохнул, неуверенно повел головой в сторону, как бы проверяя — выдержит ли ее шея, и наконец сказал:

«На самом донышке, ети его, оставалось. Думал, помру. Ты кто?»

«Я — Митька. Из Разгуляевки к вам пришел».

Тот помолчал.

«А это у тебя там чего?»

«Пулемет».

Снова молчание.

«Чей?»

«Мой».

Человек поморщился, вздохнул и пожал плечами:

«Тогда тебе к командиру. Я то здесь, бляха-муха, при чем?»

* * *

В отряд Митьку взяли без разговоров. Даже не спросили, откуда у него пулемет. Есть — и очень даже прекрасно.

«Вот патронов тебе тоже на, — сказал ординарец Водяникова. — Куда тебе пулемет без патронов? Стрелять из него умеешь?»

«Могу», — сказал Митька.

«Покажь».

Митька вышел за ворота, лег в снег, прицелился и снес верхушку самого дальнего дерева.

«Молодца», — одобрил вышедший следом за ним ординарец.

«Кто стрелял?» — крикнул высунувшийся из окна ближней избы опухший от долгой пьянки Водяников.

«Ты же сам хотел пулеметчика! — закричал в ответ ординарец. — Вот я тебе и нашел. Всю ночь не спал, пока вы там самогон жрали».

Но Водяников определил Митьку к лошадям. Когда тот заикнулся, что хотел бы остаться при своем пулемете, он посмотрел на него заплывшим глазом, помолчал, и Митька сам сказал, что лучше пойдет к лошадям.

«Попробуй потеряй у меня хоть одну, — предупредил Водяников. — На тебя вместо коня верхом посажу человека. Без лошадей нам с той стороны не уйти. Головой отвечаешь за каждую, понял?»

«Хорошо».

«Не хорошо, а так точно. Еще раз спрошу — понял?»

«Понял, так точно!»

«Да нет, ничего ты не понял. Отвечать головой — это значит, я тебе ее просто отрежу. Сам. Если что. Вот теперь понял?»

Митька прищурился и медленно кивнул.

«Вижу, что понял, — сказал Водяников. — Иди хвосты им крути. Завтра выступаем».

До вечера Митька бродил по деревне, пересчитывал лошадей и отнекивался, когда ему предлагали выпить. Время от времени он вспоминал про

Разгуляевку, про мать, про Нюрку, про свою жизнь на станции и думал — не вернуться ли, но мысль о Юрке с Витькой и о станционной шпане тут же отрезвляла его, делала сосредоточенным. Он хлопал ладонью по очередному лошадиному крупу и громко говорил:

«Двадцать шесть!»

Когда дошел до самых последних дворов, счет у него приближался к пятидесяти. К этому времени сумбур в его голове постепенно улегся, и перед ним со всей очевидностью предстала очень простая, но при этом очень неприятная мысль. Поход с отрядом Водяникова на ту сторону в его ситуации ничего не решал. Митька знал, что даже если он вернется оттуда героем, то в Разгуляевке это абсолютно ничего не изменит, и ему все равно придется отвечать как перед Чижовыми, так и перед блатной шпаной. И тем, и другим на маньчжурских староверов было глубоко наплевать. Это не староверы прошлым летом затащили их тринадцатилетнюю сестру за пакгауз, а потом заставили их самих вместе с блатными полчаса валяться в снегу.

Под дулом пулемета, в котором, кстати, даже не было патронов.

От всех этих мыслей Митька опять начинал злиться, а коня номер сорок девять даже слегка стукнул кулаком в морду, когда тот потянулся к его ладони, подумав, наверное, что там овес.

* * *

В первую же ночь после перехода границы Митька потерял двух лошадей. Вечером, когда отряд спешился и встал на привал, он согнал их всех на открытый пригорок и, задав им овса, присел ря-

дом с мужиками к костру. Ему дали поесть, напоили горячим чаем, а потом сказали, чтобы он шел ночевать с лошадьми.

«Там же никого нет, — возразил Митька. — Чего им будет? И как мне там спать, на снегу?»

«А ты думал — пирожки за печкой трескаться приехал? Давай, паря, двигай. Никто тебя с нами силком не тащил. Если командир увидит, что ты не при лошадях, считай — конец тебе. Он человек серьезный».

Митька выпросил на ночь тяжелый тулуп, пинками разогнал сгрудившихся для тепла лошадей, забрался в самую середину табуна и постарался закрыться их крупами от резкого ветра, который гулял на пригорке туда и сюда. Стоять в этой постоянно движущейся массе было непросто, но Митька постепенно приноровился и переступал с ноги на ногу как раз в те моменты, когда начинали беспокоиться ближние к нему кони. Их огромные теплые бока мягко давили на Митьку со всех сторон, иногда поддерживая его так крепко, что он мог даже поджимать ноги и висеть некоторое время, поглядывая на звезды и думая о чем-то своем.

Вскоре усталость от дневного перехода и от предыдущей бессонной ночи все-таки одолела его. Митька сам не заметил, как задремал, закинув руку и положив голову на спину притихшей, наконец, а может быть, догадавшейся, что человек сильно устал, лошади. Ему снилось лето и мамка — снилось, как он играет ей на гармонии, а она стоит в сенях и смеется. Потом приснилась Нюрка, которая почему-то косила глаза и лаяла как собака.

«Я тебя, сучонок, кончу прямо сейчас!» — кри-

чал Водяников, размахивая наганом, с рукоятки которого уже капала Митькина кровь.

Сам Митька, ничего не соображая, лежал между уходящих куда-то вверх, в темноту, длинных и тонких лошадиных ног, и пытался нащупать рукой у себя во рту недостающие передние зубы. Боли он еще не испытывал, но чувствовал, как под неловкими пальцами что-то хрустит.

«Убью! — повторял Водяников. — Сколько лошадей должно быть? Сколько?»

«Пятьдесят четыре», — пробормотал Митька, еле ворочая в кровавом месиве языком.

«Пятьдесят четыре! — заорал одноглазый. — Пятьдесят четыре! А сейчас сколько?»

«Я... я не знаю».

«А кто знает? Кто знает, огрызок паршивый!»

Митька приподнялся со снега и потряс головой.

«Кто знает — я тебя спрашиваю!»

Водяников снова склонился над ним и приставил свой наган ему к затылку.

«Сейчас бабахнет, — вяло подумал Митька. — Улечу».

«Встал быстро!»

Сплюнув кровавый сгусток на снег, Митька с трудом поднялся на ноги. Ночь со своей луной и звездами плыла вокруг него, как затянувшееся вступление к «Цыганочке с выходом».

«Товарищ командир...»

«Отставить! Слушать меня!»

«Так точно...»

«Смотри! — Водяников схватил его за шиворот и ткнул наганом в сторону светящихся за деревьями костров. — У меня там пятьдесят два бойца. Двоих ты только что приговорил к смерти. Без лошадей по

снегу отсюда домой не уйти. Понял? А значит, утром можно просто выбрать двух человек и расстрелять. Они все равно, считай, что покойники...»

«Товарищ командир!»

«Молчать!.. Но я расстреливать их не буду. Одного посажу кому-нибудь за спину, а второй поедет на твоей лошади. И для этого утром я расстреляю тебя, сволочь! Понял? Чтобы ее освободить».

«Так точно».

«Вот из этого вот нагана».

Митька втянул обжигающий воздух разбитым ртом и облизнул спекшиеся от крови губы.

«Так что, если хочешь жить, давай чеши в лес, сучонок, и верни мне коней. Быстро!»

Он сильно толкнул Митьку в сторону темной стены деревьев, а сам, не оглядываясь, пошел туда, где горели костры.

«Попробуй потеряй мне еще одну!» — крикнул он, по-прежнему не оборачиваясь.

Митька постоял немного на месте, подумал и потом медленно, как будто уже на смерть, побрел к темному лесу.

* * *

Обе пропавшие лошади оказались совсем близко. Они отошли от табуна всего на сто метров. Просто из-за густого кустарника с пригорка их не было видно. Митька тихо подошел к ним, погладил одну по шее, опустился на снег и осторожно потрогал языком опухшие десны. Потом зачерпнул полную пригоршню снега и, застонав, набил им горячий рот. Над головой у него перемигивались яркие звезды.

Весь следующий день он то и дело падал с коня.

На открытых безлесных пространствах снег под ярким февральским солнцем блестел так сильно, что Митьке все время приходилось зажмуриваться, и это зажмуривание как-то незаметно переходило у него в сон. Кони по целине шли неспешно, мягким убаюкивающим шагом, поэтому шансов справиться с обволакивающей дремой у не спавшего две ночи подряд Митьки не было никаких.

«Соскальзывает! — кричали задние. — Опять соскальзывает!»

«А ты плеткой ему подсоби!» — отвечали откуда-то из головы растянувшейся конной колонны, и со всех сторон гремел смех.

«Я щас, — виновато бормотал Митька, выныривая уже почти из-под брюха своего коня. — Щас, щас. Все, больше не буду».

Он покрепче усаживался в седле, вытягиваясь и неестественно выпрямляя спину, стаскивал варежку и пытался укусить покрасневшую от мороза ладонь, чтобы проснуться, но просыпался не от ожидаемой боли в руке, а от внезапной боли во рту, потому что вспоминал о выбитых ночью зубах только после того, как уже становилось больно.

Впрочем, и эта боль приводила в чувство совсем ненадолго. Митька морщился, натягивал варежку, щурился на снег, невольно подстраивался своим внутренним покачиванием под удобный конский шаг, спина его горбилась, и через пять минут он засыпал снова.

Ближе к вечеру, когда солнце слепило уже не так нещадно, Водяников остановил колонну посреди леса и, собрав вокруг себя командиров взводов, отъехал с ними чуть в сторону. Они спешили метрах в пятидесяти от основного отряда и начали

что-то обсуждать. Водяников горячился, орал на своих помощников, хватал их за ремни и бил по седлам коней рукояткой плети.

«Заблудились, на хрен», — сказал кто-то рядом с Митькой.

«Что?» — переспросил тот, с трудом поворачиваясь на голос.

Несмотря на туман в голове, сквозь который разобрать было уже почти ничего невозможно, он все-таки узнал человека, просившего у него в Архиповке подать ковшик.

«Что-чо! — раздраженно повторил человек. — Заблудились, вот чо!»

«А-а», — сказал одуревший Митька, пытаясь удержаться в седле.

«К обеду должны были выйти на них, — продолжал человек. — А где она, ети ее, эта Романовка? Опять будем ночевать в лесу. Говорили же, надо брать с собой бурятов! Сами, на хрен, дороги не знают никто! Командиры, ети иху мать!»

Когда отряд снова тронулся, Митька оказался в самом хвосте колонны, потому что крепко уснул, пока Водяников ругался со взводными. Конь, на котором он уже сладко спал, пошел с места, только поняв, что все остальные лошади впереди, а сзади совсем ничего — один пустой лес, и в нем волки. Бойцы, злые оттого, что опять придется спать на снегу, проезжали мимо Митьки, не обращая на него никакого внимания.

Внезапно весь отряд встал, и впереди что-то началось. Те, кто ехал ближе к голове колонны, ринулись, ломая строй, куда-то вбок, а задние, не понимая, что происходит, пришпорили коней, переходя с шага на рысь, и стали выхватывать шашки. Когда

они навалились на головных, которые как вкопанные стояли перед каким-то препятствием, над лесом пролетел страшный крик Водяникова:

«Осади! Стоять всем! Застрелю!»

От этого крика, как будто от выстрела, в небо взмыла целая стая птиц. Митька вздрогнул и окончательно проснулся. Конь под ним всхрапнул, приподнимаясь от испуга на задние ноги, и понес его туда, где сбились в кучу все остальные.

«Что там? — спрашивал Митька, вытягивая шею и даже пытаясь залезть с ногами на седло. — Ну, что там такое? А, дяденька?»

Из-за плотной стены конных ему ничего не было видно.

«Пристрели его, — раздался впереди чей-то голос. — Пошто будет мучиться? И сыми карабин».

От выстрела кони присели и резко сдали назад, едва не опрокинув Митькиного коня навзничь.

Пока он вертелся на месте, укорачивая уздечку, отряд пошел вокруг него врассыпную. Через минуту все уже снова выстроились попарно в колонну, а перед Митькой открылась глубокая яма, на дне которой в темном от крови снегу лежал всадник и его конь. Голова коня была разбита выстрелом с близкого расстояния, а человек лежал лицом вниз. Прямо сквозь его шею проходил вкопанный в дно ямы заостренный кол. Вокруг валялись ветки и толстые сучья, которыми яма, очевидно, была прикрыта сверху.

«А чо, дяденька, — сказал Митька, догоняя замыкающую отряд пару всадников, — на медведя, что ли, яму китаезы вырыли?»

«Может, на медведя, — мрачно откликнулся один из них. — А может, и нет».

«Медведи, паря, верхом не ездят, — прибавил второй. — А яма эта на верховых копана. Сильно глубокая».

«Ну и чо?»

«Да ничо. Ждут нас».

На ночь Водяников приказал усилить караулы. В секретах на этот раз сидело уже не по одному, а по два человека. Митьке выдали карабин, и он долго пытался счистить с ремня снегом чужую кровь. Не сумел.

«Чтобы сегодня у меня без приключений, — предупредил его Водяников, проверяя место, куда тот согнал лошадей. — Если что...»

«Вы меня шлепнете», — договорил за него Митька.

Водяников на секунду удивился и чуть внимательнее посмотрел ему в лицо, но, впрочем, тут же потерял интерес. Уходя к расположившемуся на ночь отряду, он неловко проваливался в глубокий снег, матерился и уже грозил кулаком куда-то в другую сторону, где, очевидно, заметил беспорядок.

Митька, умудрившийся подремать днем в седле, теперь смог бороться со сном дольше, чем в предыдущую ночь. Реальность он перестал воспринимать только под утро, когда из темно-синего лес превратился в серый, а потом — уже где-то во сне — в ярко-красный, как кровь, которая растекалась огромной лужей вокруг простреленной лошадиной головы. Митька не хотел видеть в своем сне эту голову, но она никак не исчезала. Кровь становилась то снова кровью, то вдруг огнем, и Митька все ждал, когда из этого пламени начнут выпрыгивать девки и парни, которые не захотели слушать

на танцах его частушки, а потом свалились в кучу рядом с крыльцом бабки Верки.

Неожиданно его что-то начало беспокоить. Какие-то тени мелькали вокруг лошадей, и он никак не мог сообразить — во сне они мелькают или на самом деле.

От этой тяжелой и какой-то напрасной неразберихи он наконец проснулся, подхватил карабин и начал стрелять куда попало.

* * *

Днем Митька снова оказался в одной паре с тем мужиком, который свисал в Архиповке из окошка. Часов до десяти утра они не обменялись ни словом, настороженно прислушиваясь только к лесу вокруг и ходу своих коней. Потом первым заговорил мужик.

«Слышь, паря, ну ты чо? Ты как?» — спросил он.

«Да я нормально, — ответил Митька. — А чо?»

«Не заладилось у нас».

Митька промолчал, поняв, что речь идет не о ночной стрельбе, и рассчитывая, что мужик от него отстанет.

«Сегодня ведь эту Романовку тоже не найдем, — продолжал тот. — Кружим и кружим, как кобель вокруг сучки. Дороги толком, на хрен, не знает никто. На эту сторону лет десять уже, наверное, не ходили. Елки какие-то повыврастали везде».

Митька молчал, глядя прямо перед собой.

«А ты, паря, чего молчишь?»

«Я не молчу».

«А чо ты тогда делаешь?»

«Еду».

«А-а, ну едь-едь. Вчера один тоже так ехал. Лежит теперь с колом в горле, и ничо ему уже не надо».

Кони, высоко взбрасывая копытами снег, прошли еще с полкилометра, и мужик заговорил опять.

«Ты сам-то чего домой повезешь?» — спросил он.

«Откуда?» — удивился Митька.

«Из Романовки, ети ее! Откуда еще? Если найдем, конечно. Или ты просто так поехал? Староверок память?»

«Я?.. Нет... Мне на эту сторону надо было...»

Мужик покосился на него и обмахнул рукавицей иней с усов.

«Поцапался с кем?»

«Но», — Митька с неохотой кивнул.

«Понятно. А когда вернешься — чо тогда будет?»

«Не знаю. Убьют, наверное».

«Во! Крепко поцапался».

«Ну да».

«Дак не возвращайся».

«А как?»

Мужик на мгновение задумался и потом кивнул:

«Тоже верно. Никак не выходит».

Минут пять ехали молча.

«Слышь, паря, — снова первым заговорил мужик. — Я тут соображаю. Дак если тебе самому ничо в этой Романовке не надо... Или все-таки надо?»

«Нет, не надо».

«Ну, вот видишь. Если тебе ничо не надо, дак, может, ты мне поможешь кое-чего найти. А то там, знашь, стрельба, беготня начнется. Ребята баб ихних будут мять».

«Ну?»

«Чего ну? Поможешь или нет?»

«Так чо помогать-то?»

«Вот бестолковый! Уходить мы оттуда быстро будем. Второпях. У япошек Квантунская армия тут под боком. А мне надо кое-чего присмотреть. Я один не успею».

«Ну, хорошо, помогу. А чего надо?»

Мужик оживился.

«Значит, так. Тесть просил...»

Когда он дошел в своем списке до пчелиных ульев, Митька удивился, как он все это собирается увезти на одной лошади.

«Дак, и на твою, паря, нагрузим. Ты же обещал вроде помочь».

«Не, дядя. Я обещал поискать».

«Чо, не повезешь, что ли?»

«Нет».

Мужик замолчал, насупился, а потом зло буркнул:

«Правильно тебе командир этой ночью расквасил морду. Мало еще, гаду. Казенную лошадь, ети ее, пожалел».

* * *

Когда Водяников под утро бил Митьку за то, что своей внезапной и неоправданной стрельбой он мог выдать расположение отряда, сам Митька закрывал руками голову и удивлялся непонятной ему бестолковости командира. На его месте он лично наградил бы себя, Митьку, именовым оружием или, на худой конец, часами за внимательность на боевом посту, а вовсе бы не колотил зоркого часового почем зря.

Потому что тени в лесу, из-за которых поднялся переполох, действительно были. В этом Митька мог

покаяться на чем угодно. Просто ему не повезло, и он не попал в них, но наутро, до выступления, он все же полез в сугробы и нашел на том месте, где что-то мелькало, следы. И следы эти были совсем не волчьи. Теперь Митька знал, что их отряд тут действительно ждут.

Но Водяников не стал его слушать.

«Пошел вон! Еще раз сунешься ко мне — пристрелю».

Митька понял, что ему нужны доказательства, и на следующую ночь, как только вокруг лошадей опять закружилось что-то невнятное, он не стал открывать пальбу, а постарался тихонько подкрасться поближе.

Не удалось.

Когда он очнулся, голова у него раскалывалась от боли, а на затылке, по которому сзади, очевидно, ударили чем-то тяжелым, проступила липкая кровь. Но самое страшное было не это.

Не поднимаясь на ноги, Митька тупо вертел во все стороны головой и просто не мог поверить тому, что он видел. Вернее, тому, чего он как раз не видел. В первую секунду его мозг вообще отказался соображать.

На поляне, от края до края залитой голубым лунным светом, никого не было. Ни своих, ни посторонних, ни каких-то теней. Все исчезло. Остались одни кусты, за ними деревья и везде снег. Над снегом осталось черное небо. А между ними — то есть между небом и снегом — не было ничего.

Ни одной лошади.

Весь лес и эта поляна были погружены в изумительную, абсолютную тишину. Ни шорохов, ни всхрипываний. Никаких переступаний на месте.

Митька со стоном поднялся, без всякой мысли побродил по изрытому парой сотен копыт снегу и подождал.

Лошади не появились.

* * *

К утру он был уже далеко. Он шел, не разбирая дороги, вовсе не собираясь преследовать угнанных лошадей, потому что все равно не знал, как с одним карабином отнять их обратно, а просто старался подальше уйти от Водяникова — от его противного одинокого глаза, от его ненависти и от его тяжелого, как кувалда, нагана.

При мысли об этом самом нагане у Митьки странным образом начинали болеть оставленные где-то в тайге зубы, а во рту возникал отчетливый металлический вкус. Как в детстве, когда он лизнул на морозе дверную ручку в разгуляевской школе и стоял потом на крылечке, не разгибаясь, минут десять, пока изнутри кто-то резко не открыл дверь.

Поэтому он шел и шел теперь, стараясь, чтобы между ним и Водяниковым оказалось как можно больше всего этого — снега, деревьев, кустов, каких-то зверушек. Он вытирал заливавший глаза пот и смотрел на их следы. За спиной у него петляла цепочка своих собственных. Митька оборачивался, качал головой и посматривал на небо. Снега, чтобы засыпать эту предательскую цепочку, совсем не предвиделось. Солнце сияло еще ярче обычного.

Прислушиваясь к своему дыханию, Митька пытался сообразить — куда ему теперь двигать. Выходило, что он снова в бегах, и бега эти грозили затянуться надолго. Сначала возня в Разгуляевке, те-

перь — история с лошадьми. В мокрой от пота и страха Митькиной голове все эти мысли роились, как осы. Они жалили его в мозг, заставляли сжиматься, нашептывали ему: «Быстрее, быстрее!»

Часам к двум где-то в бескрайнем поле все силы, какие он накопил к своим шестнадцати с половиной годам, в его теле закончились. Митька попытался сделать еще хотя бы несколько шагов, что-то промышчал, потом зашатался и рухнул в снег. Небо у него над головой гостеприимно распахнулось, как ворота в синее никуда. Перед глазами замелькало лицо и дурацкая улыбка Настюхи, кто-то рыжий с гармонью, Нюркин сарафан. После этого все закружилось, и Митька, видимо, потерял сознание.

Очнулся он от того, что кто-то кричал. Митька с трудом поднял из снега облепленную уже ледяной коркой слипшихся волос голову и увидел трех человек. Они приближались, двигаясь по его следам.

Митька негнущимися руками вытащил из-под спины карабин, еле-еле передернул обжигающий даже сквозь рукавичку затвор и навел дрожащую мушку на того, кто шел первым.

«Я тебе, сука, поцелуюсь! — закричал Водяников. — Опустил быстро карабин! Кому говорю! Быстро!»

Митька беззубым ртом стянул заскорузлую рукавичку, задержал дыхание, чтобы унять мушку, и нажал на курок. Пуля, вжикнув, взбила фонтанчик снега у ног одноглазого.

«Ах ты, сука!» — закричал тот.

Митька еще раз дернул затвор, но в нем что-то заело.

«Убью!» — орал Водяников, выхватывая наган.

Митька с тоской посмотрел на лес, до которого он не дошел всего метров сто — сто двадцать, и, уже закрывая глаза, неизвестно зачем снова потянул затвор. Тот щелкнул и неожиданно плавно лег на место, досылая патрон куда надо.

Первая пуля ударила Водяникова в грудь. Вторая разбила ему ключицу. Еще одна угодила в живот, и только последняя убила его совсем, ворвавшись ему в голову через нерабочую пустую глазницу и разворотив на выходе напрочь затылок.

На всякий случай Митька выстрелил еще раз в упавшее тело, которое дернулось от этого ненужного выстрела, как будто все еще могло испытывать боль. Снова нажав на курок, Митька отдачи уже не почувствовал. Из-под скрюченного, сведенного судорогой пальца раздавались одни щелчки. Обойма в карабине закончилась.

Те двое, что шли с Водяниковым, на мгновение склонились над рухнувшим телом, а потом бросились к Митьке, высоко взбрасывая ноги и проваливаясь в глубокий снег. Один из них уже стаскивал с плеча карабин.

Все, что случилось дальше, Митька помнил как будто в тумане. Такой бывает иногда над Аргунью, особенно в самом начале лета, когда ночи стоят молчаливые, а под утро оба берега погружаются в белую мглу.

Из такого вот точно тумана, откуда-то сзади, стали вываливаться на снег перед Митькой кричавшие конные. Разобрать, что они кричат, он не мог, а может, они и вообще не кричали. Может, их рты были так широко открыты, потому что из-за тумана в Митькиной голове им нечем было дышать, а он по ошибке принял это дело за крик, неизвестно. Но

те оставшиеся в живых двое замахали руками и начали плавно уезжать по нестерпимо-белому снегу куда-то вбок, пока один из них не подпрыгнул, почти взлетел в воздух, а потом уткнулся лицом в снег, и Митька подумал: «Убили. Но это не я. У меня и патронов нету». И потом он еще пытался подняться, чтобы его заметили и не оставили тут помирать, но колени совсем не слушались, и он падал и падал обратно в снег, пока не успокоился и не остался уже лежать там тихо, и пока вокруг не замаячили длинные и тонкие лошадиные ноги, уходящие куда-то вверх.

Вот так закончился Митькин побег из Разгуляевки.

Староверы, которые увели из-под Митькиной охраны лошадей, а потом отогнали от него в поле стрелков из отряда Водяникова, подобрали его, промерзшего до костей, уже насквозь больного, и долго лечили в своей Романовке медом, и травами, и большими горячими булыжниками, нагретыми до особой температуры в бане. Как только он чуть-чуть оклемался, ему рассказали о том, что произошло в том заснеженном поле и что назад, на ту сторону, дороги ему теперь, видимо, нет.

А еще через месяц, уже почти в мае, в Романовку тихо прошел конный отряд НКВД, который без особого шума забрал Митьку, не тронув никого из приютивших его староверов, поскольку сопротивления они не оказывали. Связанного по рукам и ногам, его перекинули, как мешок, через седло и быстро доставили на советскую сторону, где он получил десять лет лагерей, но при этом считал, что легко отделался. Про убийство Водяникова чеки-

сты так ничего и не узнали. Митьку судили за то, что он проворонил колхозное имущество.

В сорок втором году, когда по приказу номер 227 на фронте стали формировать штрафные роты и батальоны, Митька написал письмо начальнику лагеря и попросил дать ему возможность искупить кровью. Просьба была удовлетворена.

Его сыну к тому времени исполнилось восемь лет...

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕПНЫЕ БОГИ	5
РАЗГУЛЯЕВКА	301

Литературно-художественное издание

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Геласимов Андрей Валерьевич

СТЕПНЫЕ БОГИ

Ответственный редактор *Л. Михайлова*
Выпускающий редактор *Ю. Качалкина*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *И. Домбровская*
Корректор *Т. Павлова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 26.12.2009. Формат 84×108^{1/32}.
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,16.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 214

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-38718-2



9 785699 387182 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо»
зарубежными оптовыми покупателями**
обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,**
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н,
г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5.
Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс: (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12.
Тел.: 937-85-81, 780-58-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12.
Тел. 346-99-95.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Поиски национальной самоидентификации, возрождение — давайте назовем его так — имперского мышления, очевидно, предполагают некую внутреннюю агрессию. Интеллектуальную агрессию в том числе. И самая сильная по агрессивности тема — это, конечно, тема войны. Попытка исследования войны (по крайней мере у меня) есть явный отклик на то, что происходит сейчас с Россией. Она усиливается. Мне очень нравится нынешняя стабилизация ситуации. Хотя и пугает возможность вернуться в те времена, когда в нашей стране было очень стабильное правительство, то есть в советскую эпоху. Но то, что эти процессы происходят, — это факт. И то, что художники на них реагируют, — это уже художественная реальность. Мой роман — реакция на усиление государства.

*Андрей Геласимов
из интервью «Частному корреспонденту»*

ISBN 978-5-699-38718-2



9 785699 387182 >